К новой свободе: Либертарианский манифест

Мюррей Ротбард

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Книга одного из ведущих представителей австрийской школы экономической мысли Мюррея Ротбарда «К новой свободе» представляет собой манифест либертарианства – современного извода классического либерализма, выступающего за радикальное ограничение государственных функций во всех областях общественной и экономической жизни. Обосновывая тезис о моральных и практических преимуществах частной деятельности перед государственной, в своей книге Ротбард последовательно рассматривает широкий круг проблем современного общества – от образования и социального обеспечения до устройства судебной системы и полиции.

- Мюррей Ротбард
  - Часть I. Кредо либертарианства
    - 1. Истоки либертарианства: Американская революция и классический либерализм
    - 2. Собственность и обмен
    - 3. Государство
  - Часть II. Либертарианский подход к современным проблемам
    - 4. Проблемы
    - 5. Принудительный труд
    - 6. Личная свобода
    - 7. Образование
    - 8. Социальное обеспечение и «государство всеобщего благосостояния»
    - 9. Инфляция и экономические циклы: крах кейнсианской парадигмы
    - 10. Государственный сектор I. Правительство как предприниматель
    - 11. Государственный сектор II. Улицы и дороги
    - 12. Государственный сектор III. Полиция, закон и суды
    - 13. Сохранение ресурсов, экология и рост
    - 14. Война и внешняя политика
  - Часть III Эпилог
    - 15. Стратегия свободы
- notes
  - 1.
  - 2.
  - 3.

- 4.
- 5.
- 6.
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 1.
- 2.
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.

- 28.
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.
- 34.
- 35.
- 36.
- 37.
- 38.
- 39.
- 40.
- 41.
- 42.
- 43.

- 44.
- 45.
- 46.
- 1.
- 2.
- 3.
- 1.
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.

- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

- ○ 8.
- ○ 9.
- ○ 10.

Мюррей Ротбард
К новой свободе: Либертарианский манифест

Часть I. Кредо либертарианства

1. Истоки либертарианства: Американская революция и классический либерализм

На президентских выборах 1976 года кандидат от Либертарианской партии Роджер Л.Макбрайд и его кандидат в вице-президенты Дэвид П. Бергланд собрали 174 000 голосов в 32 штатах страны. Даже столь умеренное издание, как Congressional Quarterly, было вынуждено назвать еще неоперившуюся Либертарианскую партию третьей главной политической силой Америки. О темпах роста этой новой партии можно судить по тому, что в 1971 году, когда она была создана, горстка ее учредителей собралась в гостиной частного дома в Колорадо. В следующем году она сумела зарегистрировать своего кандидата в двух штатах. А сегодня она уже стала третьей по популярности партией Америки.

И, что еще поразительнее, она достигла такого роста, сохраняя приверженность новому идеологическому кредо — либертарианству. Впервые за сто лет на американской политической сцене появилась партия, которую интересуют идеи, а не высокие посты и казенные деньги. Политологи и эксперты наперебой убеждали нас, что дух Америки, ее партийной системы состоит в отсутствии идеологии и прагматизме (эвфемизм, адресованный легковерным налогоплательщикам и скрывающий под собой заинтересованность исключительно в деньгах и продвижении по карьерной лестнице). Но как же тогда объяснить поразительный рост популярности новой партии, которая откровенно и с жаром следует своей идеологии?

Дело в том, что американцы не всегда были прагматиками, сторонящимися идеологии. Напротив, историки только сейчас осознали, что сама Американская революция была явлением не просто идеологическим, но исполненным преданности либертарианским убеждениям и принципам. Американские революционеры были пронизаны верой в истины либертарианства — идеологии, побуждавшей их отдавать свою жизнь и достояние борьбе с посягательствами на их права и свободы со стороны правительства Британской империи. Историки давно спорят об истоках Американской революции. Были ли они конституционными, экономическими, политическими или идеологическими? Сегодня мы понимаем, что, будучи либертарианцами, революционеры не видели противоречия между моральными и политическими правами, с одной стороны, и экономической свободой — с другой. Напротив, они

воспринимали гражданскую и нравственную свободу, политическую независимость, свободу торговли и производства как части единой и стройной системы. Той самой, которую в год подписания Декларации независимости Адам Смит назвал «очевидной и простой системой естественной свободы». Мировоззрение либертарианства восходит к классическим либеральным движениям, возникшим на Западе в XVII–XVIII веках, а если говорить точнее, то к Английской революции XVII столетия. Это радикальное либертарианское движение, добившееся лишь частичного успеха у себя на родине, в Великобритании, все же смогло проявить себя в ходе Промышленной революции, освободив производство и предпринимательство от удушающих ограничений и контроля со стороны государства и городских цеховых корпораций. Для западного мира классическое либеральное движение стало мощной освободительной революцией, направленной против того, что можно назвать Старым порядком *ancien régime*, который столетиями господствовал над обитателями Европы. На заре Нового времени, в XVI столетии, этот Старый порядок выродился в централизованное абсолютистское государство, где главное место в древней сдерживающей и регулирующей сети феодальных земельных монополий и цеховых корпораций занимал король, правивший с Божьего соизволения. Европа оказалась опутана искажающей все сетью регулирования, налогов и монопольных привилегий на производство и продажу, раздававшихся (и продававшихся) центральными и местными властями доверенным производителям. Этот союз нового бюрократического, воинственного, централизованного государства с доверенными торговцами (позднее названный системой меркантилизма) и с на деленными властными полномочиями феодальными землевладельцами и был тем Старым порядком, против которого в XVIIи XVIII столетиях выступили классические либералы и радикалы. Целью классического либерализма было достижение личной свободы во всех ее взаимосвязанных аспектах. В экономике надлежало резко понизить налоги, устранить регламентирование и регулирование, высвободить творческую энергию и предприимчивость людей, предоставить свободным рынкам возможность удовлетворять запросы потребителей. Надлежало, наконец, предоставить предпринимателям возможности для свободной конкуренции, развития и созидания. Следовало снять путы регламентирования с земли, труда и капитала. Необходимо было защитить личную и гражданскую свободу от хищничества и деспотизма короля и его фаворитов. Религию, которая веками была источником кровавых войн между

конфессиями за контроль над властью, предстояло освободить от государственного давления или вмешательства, чтобы перед всеми религиозными — и нерелигиозными — группами открылись перспективы спокойного сосуществования. Идеалом новых классических либералов была и мирная внешняя политика. Их целью стала замена вековечной борьбы государств за золото и территории на спокойную и вольную торговлю между всеми странами. Поскольку считалось, что войны порождаются регулярной армией и флотом — профессиональными вооруженными силами, стремящимися к постоянному увеличению своей численности, было решено, что их следует заменить добровольными отрядами местного ополчения, состоящими из граждан, которые захотят воевать только для защиты своих домов и поселений.

Таким образом, известная мысль об отделении церкви от государства стояла в ряду других взаимосвязанных идей, таких как свобода слова и независимость прессы, отделение экономики, земельной собственности и вопросов войны и безопасности от государства. Словом, отстранения государства буквально от всех вопросов.

Короче говоря, государство надлежало превратить в чрезвычайно компактную организацию с крайне ограниченным, почти мизерным бюджетом. Классические либералы не создали своей теории налогообложения, но они ожесточенно сражались против любого повышения существующих податей и введения новых — в Америке дважды налоги становились непосредственными предпосылками революции (гербовый сбор и чайная пошлина).

Первыми теоретиками классического либерализма в его либертарианском варианте были левеллеры в период Английской революции и философ Джон Локк в конце XVII века, а их последователями оказались «истинные виги» — радикальные борцы за свободу XVIII столетия, не принявшие Конституционного соглашения вигов 1688 года.Джон Локк выдвинул концепцию естественного права каждого человека распоряжаться своей жизнью и собственностью, а задачей правительства он считал защиту этих прав. Как сказано во вдохновленной идеями Локка Декларации независимости, «для обеспечения этих прав людьми учреждаются правительства, черпающие свои законные полномочия из согласия управляемых. В случае, если какая-либо форма правительства становится губительной для самих этих целей, народ имеет право изменить или упразднить ее и учредить новое правительство, основанное на таких принципах и формах организации власти, которые, как

ему представляется, наилучшим образом обеспечат людям безопасность и счастье».Хотя работы английского мыслителя и были популярны в американских колониях, его абстрактная философия не была рассчитана на то, чтобы поднять народ на революцию. Эту задачу выполнили в XVIII веке радикальные последователи Локка, писавшие более доступным, язвительным и страстным языком и взявшиеся за философское рассмотрение текущих проблем правления, прежде всего в Британии. Важнейшим документом, созданным в рамках этого направления, были «Письма Катона» — серия газетных статей, опубликованных в начале 1720-х годов в Лондоне «истинными вигами» Джоном Тренчардом и Томасом Гордоном. Если Локк писал о революционном воздействии, которое может быть уместно, когда правительство покушается на гражданские свободы, то Тренчард и Гордон доказывали, что правительство всегда тяготеет к уничтожению личных прав. В соответствии с «Письмами Катона» человеческая история — это летопись непрерывной борьбы между властью и свободой, в которой власть всегда готова к посягательствам на права и свободы людей. Именно поэтому, декларировалось авторами «Писем», общество должно с бдительной враждебностью следить за тем, чтобы власть оставалась ограниченной и никогда не преступала положенных ей узких границ:

> Из бесконечного числа примеров и из собственного опыта нам известно, что люди, обладающие властью, не только не расстанутся с нею, но сделают все, в том числе все самое злое и подлое, чтобы сохранить ее; и редко когда на земле кто-либо отходил от власти, если мог ее сохранить… Представляется несомненным, что ни благо мира, ни благо народа не принадлежали к числу мотивов, по которым эти люди либо сохраняли власть, либо отказывались от нее.
>
> Природа власти в том, чтобы всегда преступать положенные ей границы и превращать временные полномочия, даруемые в особых случаях, в полномочия постоянные, используемые обыденно, когда нет для того никаких особых оснований, и никогда по доброй воле не расставаться ни с какой частью полученных привилегий…
>
> Увы! Власть ежедневно, и со слишком очевидным успехом посягает на свободу. Баланс между ними уже почти утрачен.Тирания завладела едва ли не всей землей и, нанося смертельные удары человечеству, превращает

> мир в бойню и, конечно же, продолжит его губить, пока либо он сам не погибнет, либо, что вероятнее всего, в нем не останется ничего, что еще можно было бы уничтожить [1].

Такого рода предостережения были горячо восприняты американскими колонистами, которые многократно переиздавали у себя «Письма Катона» вплоть до начала революции. Это глубоко укорененное мировоззрение вылилось в то, что историк Бернард Бейлин очень удачно назвал «преобразованием радикального либертарианства» Американской революцией.

Ведь революция оказалась не только первой в Новое время удачной попыткой сбросить ярмо западного империализма, представленного самой могучей на тот момент мировой державой. Существеннее было то, что впервые в истории американцы ограничили свое правительство многочисленными правилами и запретами, которые были зафиксированы в Конституции и, прежде всего, в Билле о правах. Во всех новых штатах церковь была последовательно отделена от государства, что стало надежной гарантией религиозной свободы. Остатки феодализма были выкорчеваны с отменой майората и права первородства.(Майорат позволял наследодателю навсегда закрепить земельную собственность за своей семьей, так как лишал всех наследников права ее продать; право первородства — это требование правительства передавать всю собственность старшему сыну.) Новому федеральному правительству, сформированному на основании Статей Конфедерации [2], не было позволено облагать население какими-либо налогами, а любое существенное расширение его полномочий могло осуществляться только на основании единогласного одобрения правительствами всех вошедших в Конфедерацию штатов. А самое главное, право федерального правительства содержать вооруженные силы и объявлять войну было обставлено всевозможными ограничениями, поскольку либертарианцы XVIII века понимали, что война, регулярные армии и милитаризм издавна были главным инструментом усиления государственной власти [3].

Бернард Бейлин следующим образом обобщил достижения американских революционеров:

> Модернизация американской политики и системы правления во время и после революции приняла форму стремительной и радикальной реализации программы, которая была полностью сформулирована оппозиционной интеллигенцией… в период правления

Георга I. Там, где английская оппозиция, прокладывавшая себе дорогу в условиях самоуверенного общественного и политического порядка, могла только стремиться и мечтать, американцы, движимые теми же стремлениями, но жившие в обществе, которое и до этого во многих отношениях было современным, а теперь политически раскрепостилось, неожиданно получили возможность действовать… Американские лидеры без промедления, почти не будоража общество, взялись за систематическую реализацию самых крайних вариантов целого ряда радикальных либеральных идей.

В ходе этого процесса они… привнесли в американскую политическую культуру… главные идеи радикального либертарианства XVIII века, попавшие здесь на благодатную почву. Первой такой идеей была уверенность в том, что власть — это зло, возможно, и необходимое, но всегда и непременно зло, что она бесконечно порочна, а потому ее нужно контролировать, ограничивать и сдерживать везде, где это совместимо с поддержанием минимального правопорядка. Писаные конституции, разделение властей, билли о правах, ограничение полномочий исполнительной, законодательной и судебной властей, ограничение права применять насилие и объявлять войну — все это есть выражение глубокого недоверия к власти, ставшего идеологической основой Американской революции и сохранившегося в качестве основы нашей культурной традиции[4].

Таким образом, хотя классический либерализм зародился в Англии, с наибольшей последовательностью и радикализмом он сумел развиться и с наибольшей полнотой реализоваться на практике именно в Америке. Все дело было в том, что американские колонии были свободны от феодальной монополии на землевладение и от правящей аристократии, столь прочно укоренившейся в Европе. В Америке власть принадлежала британским колониальным чиновникам и горстке привилегированных купцов, от которых было нетрудно избавиться, когда началась революция и британскому правлению пришел конец. Поэтому классический либерализм обрел в американских колониях массовую поддержку и встретился с менее сильным и организованным сопротивлением, чем у себя на родине. К тому же, будучи географически изолированными, американские повстанцы могли не опасаться вторжения армий

соседних контрреволюционных правительств, как это было, например во Франции.

После революции

Таким образом, Америка, в отличие от всех других стран, была рождена в ходе несомненно либертарианской революции. Революции против империи, против налогообложения, против монополии на торговлю и против регламентирования, а также против милитаризма и привилегий исполнительной власти. Результатом ее стало правительство, полномочия которого оказались беспрецедентно ограниченными. Но, хотя в Америке натиск либерализма почти не встретил организованного сопротивления, здесь с самого начала были могущественные элиты, особенно среди крупных купцов и плантаторов, желавшие сохранить британскую меркантилистскую систему высоких налогов, регламентирования и раздаваемых властью монопольных привилегий. Эти группы мечтали о сильном центральном и даже имперском правительстве. Короче говоря, они хотели воссоздания британской системы, но только без Великобритании. Эти консервативные и реакционные силы впервые заявили о себе в ходе революции, а позднее, в 1790-е годы, сформировали Федералистскую партию и федеральную администрацию. В XIX веке, однако, либертарианские идеи продемонстрировали свою действенность. Сторонники Джефферсона и Джексона, Демократическая республиканская, а затем — Демократическая партия, открыто стремились к буквальному вытеснению государства из американской жизни. Целью было государство без регулярной армии и флота, без государственного долга и прямых или косвенных федеральных налогов, без каких бы то ни было ввозных пошлин. Иными словами, государство с ничтожным уровнем доходов и расходов, которое не организует общественные работы и не заботится о прогрессе, не контролирует и не регламентирует, не покушается на свободу денежного обращения и банковской деятельности. Или, говоря словами Генри Луиса Менкена, «государство, которое уже почти и не государство».

Кампания Джефферсона по созданию минималистского государства выдохлась, когда он стал президентом, сначала в результате сделки с федералистами (возможно, ради привлечения их голосов в коллегии выборщиков), а потом — когда в нарушение Конституции была куплена территория Луизианы. Но главный ущерб она потерпела из-за империалистического

стремления к конфликту с Британией во второй срок президентства Джефферсона, стремления, все же приведшего к войне и к однопартийной системе, которая реализовала буквально всю программу федералистской партии: большие военные расходы, центральный банк, протекционистские таможенные тарифы, прямые федеральные налоги и общественные работы. Придя в ужас от всего этого, ушедший на покой Джефферсон уединился в своем поместье Монтиселло, где и вдохновил двух посещавших его молодых политиков Мартина Ван Бурена и Томаса Харта Бентона на создание новой — Демократической — партии. Партии, которая увела бы Америку от нового федерализма и взялась бы за выполнение старой программы Джефферсона. Когда же эти два молодых политика увидели в Эндрю Джексоне своего спасителя, была основана Демократическая партия.

У джексоновских либертарианцев был план: сначала восемь лет на посту президента будет Эндрю Джексон, потом его на восемь лет сменит Ван Бурен, а потом еще восемь лет президентом будет Бентон. В результате двадцатичетырехлетнего триумфального правления джексоновской демократии будет создано идеальное «почти не государство».В этой мечте не было ничего невозможного, поскольку Демократическая партия быстро стала партией большинства. Массы людей были готовы бороться за либертарианские идеи. Джексон пробыл на посту президента восемь лет, ликвидировал центральный банк и выплатил государственный долг, а Ван Бурен за четыре года сумел отделить федеральное правительство от банковской системы. Но выборы 1840 года оказались неудачными для Ван Бурена. Он потерпел поражение в ходе беспрецедентно демагогической кампании, организованной первым великим современным политтехнологом Терлоу Уидом, который начал использовать привычные нам приемы политической агитации — броские лозунги, песни, парады и значки. Уид сумел пропихнуть на пост президента никому не известного откровенного вига, генерала Уильяма Генри Гаррисона, который умер от простуды через месяц после вступления в должность. На 1844 год демократы наметили вернуть себе Белый дом и были готовы использовать столь же бойкие агитационные методы. Триумфальный джексоновский марш должен был продолжить, разумеется, Ван Бурен. Но тут случилось роковое событие: Демократическая партия раскололась по вопросу о рабстве, а точнее по вопросу о распространении рабства на новые территории. Повторное выдвижение Ван Бурена в кандидаты на пост президента от Демократической партии столкнулось с разногласиями среди демократов по вопросу о

приеме в союз республики Техас в качестве рабовладельческого штата: Ван Бурен был против, Джексон — за, и этот раскол стал символом более серьезной трещины в рядах демократов. Рабство, совершенно несовместимое с либертарианской программой Демократической партии, стало причиной крушения партии и ее программы.

Гражданская война оказалась не только беспрецедентно кровавой и разрушительной, но к тому же была использована победившим в ней и, в сущности, однопартийным республиканским режимом для реализации своей этатистской, заимствованной у вигов программы, подразумевавшей усиление федерального правительства, протекционистские тарифы, субсидии большому бизнесу, порождающие инфляцию бумажные деньги, восстановление федерального контроля над банками, широкомасштабные усовершенствования государственной системы, высокие косвенные налоги, а также призыв в вооруженные силы в военное время и подоходный налог. Более того, штаты утратили право выхода из союза и многие другие права. После войны Демократическая партия опять встала под знамя либертарианства, но на этот раз путь к свободе оказался более долгим и трудным.

Таким образом, мы узнали, как сложилась в Америке глубокая либертарианская традиция, которая до сих пор составляет основу нашей политической риторики и находит выражение в характерном для большинства американцев индивидуалистическом отношении к государству. В Соединенных Штатах у либертарианства до сих пор куда больше шансов на возрождение, чем где-либо еще.

Сопротивление свободе

Теперь понятно, что быстрый рост либертарианского движения и Либертарианской партии в 1970-е годы связан непосредственно с тем, что Бернард Бейлин назвал мощным наследием Американской революции. Но если это наследие столь жизненно важно для американской традиции, что же пошло не так? Почему для возрождения американской мечты потребовалось новое либертарианское движение?

Чтобы ответить на этот вопрос, сначала нужно вспомнить, что классический либерализм представлял собой серьезную угрозу для политических и экономических интересов правящих классов, бывших оплотом Старого порядка, — королей, знатных землевладельцев, привилегированных торговцев, военной и

гражданской бюрократии. Несмотря на три большие революции, подготовленные либералами, — Английской в XVII веке, Американской и Французской в конце XVIII века, достижения либерализма в Европе носили только частичный характер. Сопротивление оказалось достаточно сильным, чтобы успешно сохранить земельную аристократию, привилегированную церковь, воинственную внешнюю политику и избирательное право, охватывавшее только состоятельные слои населения. Либералам пришлось сосредоточиться на расширении избирательного права, потому что обеим сторонам было ясно, что объективные экономические и политические интересы масс требуют укрепления личной свободы. Любопытно отметить, что в начале XIX века политики, стоявшие за принцип *laissez-faire* (политику невмешательства государства в экономику), были известны как «либералы», самые последовательные из которых стали называться «радикалами». А их противники, стремившиеся сохранить Старый порядок или вернуться к нему, получили наименование «консерваторов». В самом деле, консерватизм возник в начале XIX века как сознательная попытка разрушить результаты деятельности ненавистного ему классического либерализма, воплотившиеся в достижениях Американской, Французской и Промышленной революций. Возглавляемый двумя реакционными французскими мыслителями — де Бональдом и де Местром, консерватизм стремился утвердить на месте равенства прав и равенства перед законом иерархическое правление привилегированных элит, заменить личную свободу и минималистское государство абсолютизмом вездесущего большого правительства, религиозную свободу — теократическим господством государственной церкви, мир и свободу торговли — милитаризмом, меркантилистскими ограничениями и войной за интересы национального государства, а новую промышленность — ремесленными гильдиями и господством аграрной экономики. В общем, они намеревались повернуться спиной к новому миру массового потребления и повышения уровня жизни ради сохранения Старого порядка с его живущей впроголодь основной частью населения и купающейся в роскоши правящей элитой.

Начиная с середины XIX века консерваторы стали осознавать, что обречены на поражение, если продолжат и дальше призывать к отмене результатов Промышленной революции и обеспеченного ими грандиозного роста жизненного уровня населения, если будут и впредь упорствовать в борьбе с расширением избирательного права, открыто противопоставляя себя таким образом интересам общества. Поэтому «правое крыло» (название, напоминающее о месте сторонников Старого порядка в зале

заседаний Национального собрания во время Французской революции) решило, что пора скорректировать позицию и отказаться от прямого отрицания индустриализации и демократических выборов. Новые консерваторы взяли на вооружение лицемерную и демагогическую риторику. Чтобы привлечь массы на свою сторону, они заняли следующую позицию: «Мы тоже сторонники индустриального развития и повышения уровня жизни. Но для достижения этих целей необходимо регулировать развитие промышленности так, чтобы оно отвечало интересам общества и государства; мы должны заменить ожесточенную рыночную конкуренцию системой организованного сотрудничества, и, самое главное, вместо губительных для нации и государства либеральных принципов мира и свободы торговли нужно утвердить отвечающие национальным традициям и интересам принципы протекционизма, военного могущества и национального величия». Для всего этого, разумеется, необходимо не компактное и слабое, а напротив, как можно более сильное государство.

Итак, в конце XIX века этатизм и большое правительство вернулись, но на этот раз они старались выглядеть дружественными к промышленному развитию и росту материального благосостояния. Старый порядок возвратился, но на этот раз его приверженцы выглядели несколько иначе, поскольку теперь это были не столько аристократы, крупные землевладельцы, верхушка военной и гражданской бюрократии и привилегированные торговцы, сколько армия, бюрократия, обедневшие феодальные землевладельцы и привилегированные промышленники. По примеру Бисмарка в Пруссии, новые правые подняли знамя коллективизма, основанного на войне, милитаризме, протекционизме и принудительном объединении производителей в картели. Таким образом, появилась возглавляемая крупным бизнесом гигантская сеть регламентирования, регулирования, субсидирования и привилегий, ставшая надежным союзником большого правительства.

Что-то нужно было сделать и с новым явлением, выразившимся в возникновении большого числа промышленных рабочих пролетариев. В XVIII и начале XIX века, а вообще-то и до самого конца XIX столетия, основная масса рабочих отдавала предпочтение системе *laissez-faire* и конкурентных рынков, поскольку это было лучше для их заработков и условий труда и поскольку для них был выгоден дешевый и быстро расширяющийся ассортимент потребительских товаров. Даже первые профсоюзы, например, в Британии, были твердыми

сторонниками системы *laissez-faire*. Новые консерваторы, лидерами которых стали Бисмарк в Германии и Дизраэли в Британии, ослабили либертарианский здравый смысл рабочих, проливая крокодильи слезы по поводу условий труда в промышленности и вводя меры по созданию картелей и регулирования, далеко не случайно сковывавших свободную конкуренцию. Наконец, в начале XX века возникло новое консервативное корпоративное государство, ставшее с тех пор господствующей политической системой в западном мире. Оно вобрало в себя ответственные организованные профсоюзы в качестве младших партнеров большого правительства и наделило крупный бизнес привилегией участия в новой государственно-корпоративной системе принятия решений.

Для утверждения этой новой системы, для создания нового порядка, который на деле был модернизированной и приукрашенной версией *ancien régime*, существовавшего до Американской и Французской революций, новым правящим элитам пришлось много потрудиться над одурачиванием публики, и этот обман длится по сей день. Поскольку существование *любого* правительства — от абсолютной монархии до военной диктатуры — опирается на согласие большинства населения, то уж демократическому правительству приходится работать над достижением такого согласия не покладая рук. А для этого новым консервативным правящим элитам необходимо всячески водить публику за нос. Теперь ведь нужно убедить массы населения в том, что тирания лучше свободы, что организованный в картели и наделенный привилегиями промышленный феодализм для потребителя лучше, чем свободный конкурентный рынок, что монополизм картелей нужно насаждать *во имя борьбы* с монополизмом, что война и повышение престижа вооруженных сил в интересах правящих элит на деле отвечают интересам призываемого в армию, платящего налоги, а нередко и проливающего кровь населения. Как же была решена эта задача?

Общественное мнение во все времена определялось образованными классами. Ведь большинство людей не создают и не распространяют идеи и концепции, напротив, обычно они принимают идеи, распространяемые теми или иными интеллектуальными группами, профессиональными торговцами идеями. На протяжении большей части истории, как мы увидим далее, диктаторы и правящие элиты гораздо больше нуждались в услугах интеллектуалов, чем мирные граждане свободного общества. Государства всегда нуждались в людях, способных убедить публику в том, что «король красиво одет»,что все в

государстве хорошо, разумно и ничего лучше придумать нельзя. До наступления Новейшего времени роль таких интеллектуалов играло духовенство, а еще раньше — знахари и колдуны. Это древнее партнерство между церковью и государством представляло собой тесный союз: церковь оповещала свою легковерную паству, что король правит по милости Божьей, и потому ему следует повиноваться. Король же в ответ делился с церковью налоговыми доходами. Именно поэтому классические либералы придавали такое значение отделению церкви от государства. Новый либеральный мир стал миром, где интеллектуалы могут быть светскими лицами, т.е. могут зарабатывать себе на жизнь в условиях свободного рынка, не заботясь о государственных субсидиях.

Для создания нового этатистского порядка, неомеркантилистского корпоративного государства, был необходим новый союз между интеллектуалами и властью. В эпоху ослабления роли церкви это означало союз с интеллектуалами светскими, а не церковными, точнее, с новым поколением университетских профессоров, историками, учителями и технократически мыслящими экономистами, социологами, врачами и инженерами. Создавался этот союз в два этапа. В начале XIX века консерваторы уступили интеллектуальную сферу своим либеральным противникам, опираясь по большей части на сомнительные достоинства иррационализма, романтизма, теократии и традиции. Подчеркивая преимущества традиции и иррациональных символов, консерваторы достаточно успешно убеждали публику в оправданности иерархического правления, а также в преимуществах и необходимости нации-государства с ее военной машиной. В конце XIX века новые консерваторы приспособили к своим теориям понятия рациональности и науки. Теперь наука требовала, чтобы экономикой и обществом управляли технократические эксперты. За эту услугу новое поколение интеллектуалов было вознаграждено престижными постами апологетов нового порядка, а также планировщиков и управляющих картелизированной экономикой и обществом.

Чтобы обеспечить новому этатизму господство над общественным мнением и гарантировать себе поддержку общества, правительства западных стран в конце XIX и начале XX века взяли в свои руки контроль над умами людей, над университетами и учреждениями общего образования, посещение которых было сделано обязательным. Чтобы уже в самом юном возрасте внушить человеку повиновение власти и прочие гражданские добродетели, были использованы государственные

школы. Более того, огосударствление образования стало залогом того, что одна из самых массовых и влиятельных профессиональных групп — учителя и работники сферы образования — заинтересована в усилении государства. Одним из приемов, использовавшихся интеллектуалами, которые встали на службу государству, было манипулирование словами и, соответственно, эмоциональными реакциями публики. Например, сторонники системы *laissez-faire* издавна были известны как «либералы», а самые последовательные из них — как «радикалы», а также как «передовые люди», потому что были ориентированы на промышленный прогресс, распространение свободы и повышение общего уровня жизни. Новое поколение государственно мыслящих профессоров и интеллектуалов присвоило себе названия «либерал» и «передовой человек», а своих либеральных оппонентов заклеймило как старомодных «неандертальцев» и «реакционеров». Классических либералов даже записали в «консерваторы».

Как мы видели, новые этатисты сумели присвоить даже концепцию «рациональности».Либералов сбило с толку уже само новое появление этатизма и меркантилизма в одеянии «прогрессивного» корпоративного этатизма. Еще одной причиной упадка классического либерализма в конце XIX века стало возвышение специфически нового движения — социализма. Социализм зародился в 1830-е годы, а его бурный рост начался после 1880-х годов. Своеобразие социализма заключалось в том, что это было запутанное и разнородное движение, испытавшее влияние *обеих* существовавших до него полярных идеологий — либерализма и консерватизма. У классических либералов социалисты взяли искреннее восхваление промышленности, Промышленной революции, науки и разума, а кроме того, преданность, по крайней мере на словах, таким идеалам классического либерализма, как мир, личная свобода и повышение уровня жизни. На самом деле, социалисты задолго до позднейших сторонников корпоративизма бездумно присвоили идеи науки, разума и индустриального развития. При этом социалисты не только восприняли у либералов их приверженность демократии, но и украсили ее пышным именем «развитая демократия», в рамках которой люди должны управлять экономикой — и друг другом.

У консерваторов же социалисты позаимствовали тягу к насилию и этатистские методы достижения либеральных целей. Подъема и гармонизации промышленности предполагалось достичь превращением государства во всемогущую организацию, которая от имени «науки» управляет экономикой и обществом.

Авангард технократов должен был получить в свое полное распоряжение жизнь и собственность каждого — и все это во имя народа и демократии. Неудовлетворенное тем, что либералы обеспечили свободу научных исследований, социалистическое государство отдаст власть в руки ученых. Неудовлетворенное тем, что либералы дали рабочим свободу для достижения неслыханного благосостояния, социалистическое государство поставит рабочих у руля правления, вернее, править от имени рабочих и ученых будут политики, бюрократы и технократы. Неудовлетворенное либеральным лозунгом равенства прав, равенства перед законом, социалистическое государство вытопчет эту свободу во имя недостижимого равенства *результатов*, а если быть более точным, под лозунгом достижения такого немыслимого равенства создаст новую привилегированную элиту, новый правящий класс.

Социализм представлял собой запутанное и разнородное движение, потому что пытался с помощью старых консервативных инструментов: этатизма, коллективизма и иерархических привилегий, достичь либеральных целей — свободы, мира и гармоничного развития промышленности. Целей, которые могут быть достигнуты только в условиях свободы и выведения государства практически из всех сфер общественных отношений. Социализм был обречен на провал, и вполне закономерно, что он потерпел самую жалкую неудачу в тех странах, где в XX веке ему случилось захватить власть — только для того, чтобы окунуть массы в беспрецедентный деспотизм, голод и мучительное обнищание.

Но худшим в подъеме социалистического движения было то, что оно смогло обойти классических либералов на левом фланге и предстать как партия надежды, радикализма и революции в Западном мире. Ведь так же как защитники *ancien régime* во время Французской революции сидели в правой части зала, где собирались народные представители, и навсегда остались правыми, так либералы и радикалы сидели в левой части зала, и до подъема социалистического движения классические либералы оставались в идеологическом спектре левыми, даже крайне левыми. Еще в 1848 году такой воинственный французский либерал и сторонник *laissez-faire*, как Фредерик Бастиа, в Национальном собрании сидел не где-нибудь, а слева. Классические либералы в свое время воспринимались на Западе как радикальная революционная партия, как партия надежды и перемен в области свободы, мира и прогресса.

Либералы совершили непростительную стратегическую ошибку, позволив социалистам обойти себя с левого фланга и

предстать в качестве «левой партии», потому что в итоге социалисты и консерваторы заняли полярные позиции, а либералы остались где-то посредине. Поскольку либертарианство — это не что иное, как партия реформ и движения к свободе, отказ от этой роли означал отказ от своего права на существование — в действительности или в умах публики.

Но этого бы не случилось, если бы классические либералы не допустили внутреннего упадка. Они могли бы продемонстрировать (и некоторые из них так и сделали),что социализм — это внутренне противоречивое, квазиконсервативное движение, эквивалент абсолютной монархии и феодализма с современным лицом и что только они являются единственными подлинными радикалами, бесстрашными людьми, которые требуют не меньше, чем полной победы либертарианского идеала.

Внутреннее разложение

Достигнув впечатляющих частичных побед в борьбе с этатизмом, классические либералы начали терять свой радикализм, свое настойчивое желание продолжать битву с консерватизмом вплоть до окончательной победы. Вместо того чтобы использовать тактические победы, чтобы наращивать давление и дальше, классические либералы начали терять пылкое стремление к изменениям и ревностное отношение к чистоте своих принципов. Они сочли, что достаточно защищать уже завоеванное, и в результате из радикалов превратились в консерваторов — в том смысле, что стали заботиться лишь о сохранении статус-кво. Короче говоря, либералы предоставили социалистам все возможности для превращения в партию надежды и радикализма, так что даже появившиеся позднее сторонники корпоративизма смогли представить себя либералами и сторонниками прогресса, сражающимися против крайне правого крыла консервативных либертарианцев, поскольку последние позволили себе занять позицию удовлетворенности достигнутым, когда мечтать можно только об отсутствии перемен. В нашем изменчивом мире такая стратегия заведомо непригодна и проигрыша.

Но вырождение либерализма не ограничилось вопросами места в политическом спектре и стратегии, а охватило и его принципы. Ведь либералы согласились на то, чтобы военная машина осталась в руках государства, равно как образование, власть над банками и денежным обращением, над дорогами и

многими другими сферами. Короче говоря, они смирились с тем, что государство сохранило контроль над всеми существующими рычагами власти. В отличие от либералов XVIII века с их непримиримой враждебностью к исполнительной власти и к бюрократии, либералы XIX века проявили терпимость, даже доброжелательность к укреплению исполнительной власти и олигархической власти государственного бюрократического аппарата.

Более того, в ходе угасания в конце XVIII — начале XIX века преданности либералов идее аболиционизма их принципы и стратегия свелись к мнению, что институт рабства или любой другой аспект этатизма, о чем бы ни шла речь, следует упразднять как можно быстрее, поскольку хоть на практике достижение такого результата и маловероятно, но стремиться к этому должно, потому что такова *единственная нравственно оправданная позиция*. Однако отказ от немедленного уничтожения тлетворного, держащегося на насилии института и выбор в пользу постепенного его устранения означает *одобрение* и санкционирование существующего зла и, соответственно, отказ от принципов либертарианства. Как объяснил великий борец с рабством либертарианец Уильям Ллойд Гаррисон, необходимо «со всей возможной настойчивостью требовать немедленной отмены рабства, но оно, увы, будет отменено лишь постепенно. Мы никогда не говорили, что рабство будет сметено одним ударом, а вот что так должно быть — да, это мы всегда утверждали» [5].

В философии и идеологии классического либерализма произошли два критически важных изменения, способствовавших его упадку и свидетельствовавших о том, что оно перестало быть живой, прогрессивной и радикальной силой Западного мира. Первым, и самым значительным, был отказ в начале XIX века от философии естественных прав и замена ее технократическим утилитаризмом. Свободе, основанной на бесспорной нравственности прав каждого человека на самого себя и свою собственность, свободе, опирающейся прежде всего на право и справедливость, утилитаризм предпочел свободу как лучший способ достижения смутно определяемого общего блага или общего благосостояния. Вытеснение принципа естественных прав утилитаризмом имело два тяжких последствия. Во-первых, неизбежно было покончено с чистотой цели, с последовательностью принципа. Ведь если либертарианец с его идеей естественных прав, стремящийся к нравственности и справедливости, сохраняет воинственную приверженность чистому принципу, то утилитарист оценивает свободу лишь по ее

целесообразности в каждом конкретном случае. Ну, а раз целесообразность зависит от малейшего дуновения ветра, утилитаристу с его холодным расчетом издержек и выгод легко раз за разом высказываться в пользу этатизма, и так пока он вовсе не откажется от изначального принципа. Именно это и случилось с примкнувшими к Бентаму английскими утилитаристами: начав с симпатий к либертарианству и принципу *laissez-faire*, они почти незаметно для себя перешли на позиции этатизма. Примером может служить кампания за эффективный и, соответственно, сильный государственный аппарат, за исполнительную власть, которая установила прецедент эффективности, успешно вытеснивший концепции права и справедливости.

Во-вторых, и это было не менее важно, на свете не найти утилитариста столь радикального, чтобы он жаждал немедленного уничтожения зла и насилия. Утилитаристы с их преданностью идее целесообразности не приемлют никаких резких или радикальных перемен. Никогда еще не было революционеров с утилитаристскими принципами. Поэтому утилитаристы не бывают аболиционистами, никогда не требуют немедленной отмены рабства или чего-либо другого. Аболиционист — это тот, кто хочет как можно быстрее избавить мир от зла и несправедливости. Выбрав такую цель, он лишает себя возможности холодно взвешивать издержки и выгоды в каждом отдельном случае. Потому-то вставшие на позиции утилитаризма классические либералы и отбросили радикализм, превратившись в сторонников постепенных реформ. Но став реформаторами, они вполне закономерно сделались советниками государства и экспертами по вопросам эффективности. Иными словами, они неизбежно пришли к отказу от своих принципов и опирающейся на них стратегии либертарианства. Закончили утилитаристы тем, что превратились в апологетов существующего порядка и статус-кво, тем самым дав повод для обвинений со стороны социалистов и прогрессивных сторонников корпоративизма в том, что являются всего лишь ограниченными и консервативными противниками любых изменений. Таким образом, начав как радикалы и революционеры, классические либералы в конце концов получили клеймо консерваторов.

Утилитаристская разновидность либертарианства существует и по сей день. Так, например, на заре развития экономической науки на нее оказали влияние утилитаристы Бентам и Рикардо, это влияние ощущается и до сих пор. В современной теории рыночной экономики слишком много призывов к постепенности, слишком сильно презрение к морали, справедливости и верности принципам и слишком сильна готовность отказаться от

принципов свободного рынка из соображений выгоды. Поэтому интеллектуалы обычно видят в современной теории рыночной экономики всего лишь апологетику слегка модифицированного статус-кво, и эти обвинения слишком часто бывают справедливы.

Второе пагубное изменение идеологии классических либералов произошло в конце XIX века, когда они на несколько десятилетий приняли доктрину социальной эволюции, часто именуемую социальным дарвинизмом. Историки, стоящие на этатистских позициях, клеймят либералов, требовавших невмешательства государства в экономику и вставших на позиции социал-дарвинизма, например, Герберта Спенсера и Уильяма Грэма Самнера, как безжалостных апологетов уничтожения или, по меньшей мере, вымирания социально «неприспособленных». В значительной степени все это было лишь формой подачи здравых экономических и социологических теорий свободного рынка под модным тогда соусом эволюционизма.

Хуже всего в социал-дарвинизме было ничем не обоснованное перенесение в сферу социальных наук идеи о том, что биологические виды (или позднее — генотипы) изменяются очень медленно, что на это требуются тысячелетия. В силу этого пришедшие к социал-дарвинизму либералы полностью отвергли идею революции или радикальных изменений в пользу терпеливого ожидания того, что принесут эволюционные изменения в отдаленном будущем. Короче говоря, игнорируя тот факт, что либерализм взялся избавить мир от власти правящих элит путем радикальных изменений и революций, социал-дарвинисты превратились в консерваторов, выступающих против любых решительных мер и готовых одобрить только самые постепенные реформы [6].

Собственно говоря, великий либертарианец Герберт Спенсер (так же как Уильям Грэм Самнер в Америке) служит превосходной иллюстрацией именно такого резкого изменения классического либерализма. В известном смысле Спенсер проделал тот же путь к упадку, что и либерализм XIX века. Дело в том, что начинал Спенсер как радикальный либерал, можно даже сказать, как истинный либертарианец. Но когда в его душе появился вирус социологии и социал-дарвинизма, Спенсер отвернулся от динамичного и радикального либертарианства, сохранив, впрочем, верность чистой теории. Занявшись поиском признаков грядущей победы свободы, победы договора над статусом, промышленности над милитаризмом, Спенсер увидел, что эта победа неизбежна, но только в результате тысячелетней эволюции. Тогда Спенсер отказался от воинственного радикализма, сведя на практике весь свой либерализм к вялым,

консервативным, арьергардным выпадам против происходившего в его время натиска коллективизма и этатизма.

Но если утилитаризм, поддержанный социал-дарвинизмом, был главным инструментом философского и идеологического разложения либерального движения, то самой значительной и даже катастрофической причиной падения последнего стал отказ от обязательных прежде идеалов борьбы против войны, империализма и милитаризма. Идея национального государства и империи уничтожала классический либерализм в одной стране за другой. В Великобритании в конце XIX — начале XX века либералы отказались от идеологии «малой Англии» (Little Englandism), которую исповедовали Кобден, Брайт и манчестерская школа. Отказавшись от своего рода изоляционизма, они попали в объятия либерального империализма и присоединились сначала к консерваторам (в вопросе о расширении империи), а потом и к правым социалистам (в разрушительном империализме и коллективизме Первой мировой войны). В Германии Бисмарк сумел расколоть казавшихся прежде почти победителями либералов, соблазнив их перспективой объединения страны мечом и кровью. В обеих странах результатом стал крах либерального движения.

В Соединенных Штатах партией классического либерализма долгое время была Демократическая партия, известная в конце XIX века как «партия личной свободы». Причем провозглашала она идеалы свободы не только личной, но и экономической. Стойко боровшаяся с сухим законом, с пуританскими установлениями, запрещавшими работать и развлекаться в воскресные дни, с обязательным школьным образованием, партия стояла на позициях свободы торговли, стабильности денежного обращения и его независимости от создаваемой правительством инфляции, отделения банковского дела от государства, ограничения правительства. Она призывала к тому, чтобы сделать государственную власть по возможности малозаметной, а федеральную власть — практически несуществующей. В области внешней политики Демократическая партия, хотя и менее последовательно, была партией мира, антимилитаризма и антиимпериализма. Но либертарианские убеждения в области личной и экономической свободы были отброшены, когда в 1896 году Демократическая партия выдвинула Уильяма Брайана на пост президента, а спустя два десятилетия Вудро Вильсон грубо отверг политику изоляционизма. Война и вмешательство государства в экономику открыли дверь в столетие смерти и разрушения, войн и нового деспотизма, когда во всех воюющих странах утвердился новый корпоративный тип власти —

социальное милитаристское государство (welfare-warfare state), которое, как уже было отмечено, составляют большое правительство, большой бизнес, профсоюзы и интеллектуалы.

Последним проявлением старого экономического либерализма в Америке оказались отважные немолодые либертарианцы, попытавшиеся в самом конце XIX века сформировать Антиимпериалистическую лигу в знак протеста против войны с Испанией и последующего захвата Филиппин, пытавшихся отстоять свою национальную независимость от посягательств как Испании, так и Соединенных Штатов. Для современного человека антиимпериалист, не являющийся при этом марксистом, — это странность, но ведь борьбу с империализмом начали именно либералы и борцы за экономическую свободу Кобден и Брайт в Англии и Эйген Рихтер в Пруссии. Собственно говоря, Антиимпериалистическая лига, возглавляемая бостонским промышленником и экономистом Эдвардом Аткинсоном вместе с социологом и публицистом Уильямом Грэмом Самнером, состояла по большей части из радикальных борцов за экономическую свободу, которым пришлось повоевать в свое время за отмену рабства, свободу торговли, стабильную валюту и ограничение полномочий правительства. Для них эта последняя битва против нового американского империализма была лишь очередным эпизодом растянувшейся на всю жизнь борьбы против насилия, этатизма и несправедливости — против участия государства во всех сферах жизни, как внутри страны, так и на мировой арене.

Мы проследили довольно мрачную историю упадка и краха классического либерализма после того, как в предыдущие столетия он знал значительный подъем и почти полный триумф. Но как можно объяснить возрождение либертарианской мысли и активности в последние годы, особенно в Соединенных Штатах? Чего ради грандиозные силы и коалиции этатистов уступают даже столь малую территорию воскресшему либертарианству? Разве победный марш этатизма в конце XIX и в XX веке мог привести не к окончательному забвению, а к оживлению бывшего на последнем издыхании либертарианства? Почему оно не было погребено окончательно? Мы уже говорили о том, почему либертарианство могло бы в полной мере возродиться в Соединенных Штатах, где все пропитано давней либертарианской традицией. Но мы еще не ответили на вопрос, откуда вообще взялось это возрождение в последние несколько лет? Что привело к этому поразительному результату? Нам придется отложить ответ на этот вопрос до конца книги. А сначала мы займемся исследованием того, в чем состоит кредо либертарианства и как

эта доктрина может способствовать разрешению основных проблем нашего общества.

2. Собственность и обмен

Постулат о ненападении

Кредо либертарианства опирается на центральный постулат: ни один человек или группа людей не должны осуществлять агрессию против чьей-либо личности или собственности. Его можно назвать постулатом о ненападении. Агрессия определяется как применение или угроза применения насилия против личности или собственности какого-либо другого человека. Таким образом, агрессия является синонимом вторжения.

Если никто не имеет права совершать акт агрессии против другого человека, если у каждого есть абсолютное право на свободу от агрессии, то следует сделать вывод, что либертарианцы твердо стоят за то, что называется гражданскими свободами: свобода слова, печати, собраний и участия в таких «преступлениях без потерпевшего», как порнография, сексуальные извращения и проституция (которую либертарианец вообще не рассматривает как преступление, поскольку для него преступление – это насильственное покушение на неприкосновенность чьей-либо личности или собственности). Более того, либертарианец считает воинскую повинность разновидностью массового рабства. Поскольку война, особенно современная, влечет за собой массовую гибель гражданского населения, либертарианец рассматривает подобные конфликты как массовое убийство, а потому ставит их вне закона.

На языке современной идеологии все эти позиции считаются левацкими. Однако, поскольку либертарианец не согласен с нарушениями прав частной собственности, он столь же решительно выступает против действий правительства, которое посредством запретов, контроля, регулирования или субсидий нарушает права частной собственности или свободу хозяйственной деятельности. Ведь если каждый человек имеет право на защиту своей собственности от агрессивных поползновений, то у него есть и право без чьего-либо вмешательства отдать свою собственность (актом дарения или завещания) и обменять ее на другую собственность (по добровольному соглашению). Либертарианец одобряет неограниченное право частной собственности и добровольного обмена, иными словами, систему *laissez-faire*, или либерального капитализма.

В современной системе координат позицию либертарианцев в

вопросе о собственности и экономике называют крайне правой. Но ***либертарианец не видит никакой непоследовательности в том, чтобы быть левым в одних вопросах и правым – в других. Напротив, он считает свою позицию единственно последовательной – она последовательна в подходе к свободе каждого отдельного человека***. Да и как сторонник левых может быть против насилия войны и воинской повинности и в то же время поддерживать насилие налогообложения и правительственного контроля? И как правый может трубить о священном праве частной собственности и свободы предпринимательства и при этом поддерживать войну, воинскую повинность и преследование ненасильственных видов деятельности, которые ему кажутся аморальными? И как правый может выступать в поддержку свободы рынков и при этом не видеть ничего плохого в огромных субсидиях, структурных искажениях и неэффективности производства, характерных для военно-промышленного комплекса?

Выступая против любой частной или коллективной агрессии в отношении прав личности и прав собственности, *либертарианец видит, что на протяжении всей истории вплоть до сегодняшнего дня существовал один главный, преобладающий и доминирующий над всеми агрессор* – ***государство***. В отличие от всех других мыслителей – левых, правых и центристов, либертарианец отказывается предоставлять государству моральное право на действия, которые, если бы их совершило какое-либо частное лицо или группа лиц, были бы однозначно признаны аморальными, незаконными и преступными. Короче говоря, ***либертарианец настаивает на том, что нравственный закон применим в равной мере к каждому, и не делает особых исключений для каких-либо лиц или коллективов***. Но если посмотреть на государство непредубежденным взглядом, мы увидим, что ему позволены – и, более того, находят одобрение у общества – действия, которые даже с позиции нелибертарианца являются предосудительными и преступными.

Все привыкли к тому, что государство совершает массовые убийства, именуемые войной или подавлением мятежа, что государство порабощает тех, кого призывает на военную службу и называет военнообязанными, что оно живет за счет регулярного грабежа, именуемого налогообложением. ***Либертарианец настаивает, что природа всех этих действий государства не зависит от того, поддерживает их большинство населения или нет, потому что никакое общественное мнение не может отменить того факта, что война есть массовое убийство, воинская повинность – рабство, а налогообложение –***

воровство. Короче говоря, либертарианец почти в точности похож на маленького мальчика из андерсеновской сказки, который настаивал на том, что король-то – голый.

Во все эпохи у этого короля были разные псевдонаряды, которые поставляли ему состоявшие на государственной службе интеллектуалы. В прошлые века интеллектуалы сообщали публике, что государство и его правители имеют божественное происхождение или, по меньшей мере, облечены властью свыше, а поэтому все то, что простодушному и необразованному взгляду может показаться деспотизмом, массовым убийством и широкомасштабным воровством,– это всего лишь благие и неисповедимые пути Господни на поле политики. Со временем Божий промысел поизносился, а потому в последние десятилетия «придворные интеллектуалы» вынуждены прибегать к еще более утонченным одеяниям. Публику учат, что все, что делает правительство, – это для общественного блага и всеобщего благосостояния, что государство, собирая и расходуя налоговые средства, удерживает посредством таинственного «мультипликатора» экономику в равновесии. Да и в любом случае граждане, действующие на рынке или в обществе, не в состоянии обеспечить себя всем тем многообразием услуг, которые им предоставляет государство. Либертарианец отметает все эти аргументы: для него все это есть лишь попытка жульническим образом заручиться общественной поддержкой, а потому он настаивает, что любые действительно предоставляемые государством услуги могут с куда большей эффективностью и *нравственной безупречностью* быть предоставлены частными и кооперативными предприятиями.

Поэтому ***либертарианец считает одной из своих главных задач в области образования сорвать с действий государства пелену тайны и нравственной оправданности. Его задача состоит в том, чтобы вновь и вновь убедительно демонстрировать, что не только король, но и демократическое государство лишено одежд, что все правительства существуют лишь за счет того, что они господствуют над обществом и эксплуатируют его*** и что в этом господстве нет ничего объективно необходимого. Он стремится продемонстрировать, что само существование государственного налогообложения порождает классовое расслоение на правящих эксплуататоров и эксплуатируемых подданных. Он стремится показать, что задачей придворных интеллектуалов, которые всегда поддерживали государство, неизменно было плетение таинственной словесной пряжи, призванной побудить общество принять правление государства, в награду за что эти

интеллектуалы получают долю во власти и доходах, извлекаемых правителями из своих оболваненных подданных.

Возьмите, например, институт налогообложения, который, по утверждению государственников, в определенном смысле «доброволен». Любого, кто действительно верит в «добровольность» налогообложения, я приглашаю отказаться от уплаты налогов и посмотреть, что с ним будет. Присмотревшись к налогообложению, мы обнаруживаем, что только правительство – единственный из всех общественных институтов – получает доход в результате силового принуждения. Все остальные участники общественной жизни получают доход *либо* в виде добровольных даров (масонская ложа, благотворительное общество, шахматный клуб), *либо* в виде платы за добровольно приобретаемые товары или услуги. Если кто-либо кроме государства попробует взимать налог, он будет немедленно объявлен насильником и бандитом. Но мистические завесы суверенитета настолько затуманили суть дела, что ***только либертарианец готов назвать налогообложение его настоящим именем – узаконенным и организованным широкомасштабным грабежом***.

Права собственности

Главный постулат либертарианской доктрины – это отказ от агрессии против личности и собственности других. Но как получен этот постулат и как он может быть обоснован? В этом вопросе нет согласия даже между либертарианцами разных поколений. Грубо говоря, есть три разных типа обоснования либертарианского постулата, соответствующие трем типам этической доктрины – эмоциональному и утилитарному подходам, а также подходу с позиции естественных прав. Сторонники эмоционального подхода утверждают, что берут свободу или отказ от агрессии в качестве своей главной предпосылки исключительно из субъективных соображений. Для них собственные эмоциональные переживания могут показаться достаточной основой для политической философии, но вряд ли это может убедить кого-то другого. Выбрав позицию за пределами рационального дискурса, сторонники эмоционального подхода таким образом гарантируют, что взлелеянная ими доктрина не будет иметь общего успеха.

Утилитаристы заявляют, что они изучили последствия свободы и альтернативных систем. Это позволило им сделать вывод, что свобода скорее приводит к желанным для большинства целям – миру, гармонии, процветанию и т.д. Никто и не спорит,

что нужно изучать и сравнивать последствия применения разных доктрин. Но утилитаристская этика сама по себе ставит нас перед множеством проблем. Скажем, утилитаризм предполагает, что мы в состоянии сопоставлять альтернативы по их вредным или полезным последствиям и в соответствии с результатом сравнения выбирать ту или иную политику. Но если законно выносить ценностное суждение о *последствиях X*,почему нельзя выносить такое же суждение относительно *самого X*? Неужто в самом действии, в его природе нет ничего, что можно было бы оценить как зло или благо?

Кроме того, утилитаристы довольно редко понимают свои принципы как абсолютные и постоянные критерии, применяемые в конкретных ситуациях. В лучшем случае они используют принципы как общее направление, как *тенденцию*, от которой в любой момент можно отказаться. В этом и заключался главный порок английских радикалов XIX века, которые переняли от либералов XVIII столетия идеал *laissez-faire*, но при этом сделали основой этой философии не мистическую концепцию естественных прав, а якобы научный утилитаризм. Поэтому либералы XIX века пришли к тому, что начали использовать принцип *laissez-faire* не как безукоризненный критерий, а как смутную тенденцию, чем роковым образом скомпрометировали либерализм. Кому-то может показаться грубым утверждение, что утилитаристам нельзя доверить защиту либертарианского принципа во всех возможных случаях, но дело обстоит именно так. Убедительным примером является профессор Милтон Фридман, который, подобно предшествовавшим ему экономистам-классикам, в теории считает свободу экономики от государственного вмешательства необходимой, но на практике допускает массу пагубных исключений, которые искажают этот принцип почти до неузнаваемости, особенно в таких областях, как армия и полиция, образование, налогообложение, социальное обеспечение, «эффекты квартала», антимонопольное законодательство, регулирование денежного обращения и банковской деятельности.

Рассмотрим следующий абстрактный пример: представим себе общество, члены которого убеждены, что все рыжие – это слуги дьявола, а потому подлежат немедленному уничтожению. Теперь предположим, что в каждом поколении появляется лишь незначительное число рыжих, статистически пренебрежимое число. Утилитаристски мыслящий либертарианец будет рассуждать следующим образом: «Об убийстве каждого рыжего можно только сожалеть, но такого рода случаев немного, подавляющее большинство населения является либо блондинами,

либо брюнетами, и они получают огромное удовольствие от зрелища того, как публично убивают рыжих. Социальные издержки пренебрежимо малы, а психологическая польза для общества в целом очень велика, потому нельзя не одобрить подобного обращения с рыжими». Либертарианец, стоящий на позиции естественных прав и учитывающий в силу этого только *справедливость* действия, придет от такой ситуации в ужас и однозначно выступит против подобного обращения с рыжими как против неоправданного убийства и агрессии в отношении людей, не делающих ничего дурного. *Последствием* прекращения убийств будет то, что подавляющая часть общества лишится любимого развлечения. Но это ни малейшим образом не повлияет на суждение абсолютного либертарианца. Приверженный принципу справедливости и логической последовательности, выступающий с позиции естественных прав либертарианец спокойно согласится, что да, он доктринер, иными словами, верный сторонник исповедуемого им учения.

Поговорим теперь о концепции естественных прав как основе либертарианского кредо, основе, которая в той или иной форме была принята многими либертарианцами в прошлом и настоящем. Естественные права – это краеугольный камень политической философии, которая, в свою очередь, является неотъемлемой частью грандиозного здания естественного права. Теория естественного права опирается на интуитивное понимание, что мы живем в мире, в котором существует более чем одна – а на самом деле огромное множество – сущностей, каждая из которых обладает собственными отдельными и достаточно специфическими свойствами, отдельным естеством, которое можно исследовать с помощью разума, чувственного восприятия и умственных способностей. Медь, например, обладает особой природой и ведет себя иначе, чем железо, соль и т.д. У человека как вида, следовательно, есть своя особая природа, как и у окружающего его мира, и у способа взаимодействия между ними. Если быть очень кратким, деятельность каждой органической и неорганической сущности определяется ее природой и природой других сущностей, с которыми она вступает во взаимодействие. Точнее говоря, если поведение растений и, по меньшей мере, низших животных определяется их биологической природой или инстинктами, то природа человека такова, что каждому отдельному человеку для того, чтобы действовать, приходится выбирать собственные цели и использовать соответствующие методы их достижения. Не имея автоматических инстинктов, каждому приходится изучать самого себя и окружающий мир, использовать свой ум для выбора

ценностей, собирать знания о причинах и следствиях, действовать целесообразно, чтобы сохранить и продолжить себя и свою жизнь. Поскольку люди способны мыслить, чувствовать, оценивать и действовать только как индивиды, для выживания и процветания каждого из них жизненно необходима свобода изучения, выбора, развития своих способностей и действий в соответствии со своими знаниями и ценностями. Это необходимая часть человеческой природы. Насилие над этим процессом, его искажение глубоко противоречат тому, что в соответствии с природой человека необходимо для его жизни и процветания. В силу этого насильственное вмешательство в то, как человек учится и принимает решения, является делом глубоко антигуманным – это нарушение естественного закона человеческих потребностей.

Противники всегда обвиняли индивидуалистов в атомизме – в том, что, согласно их постулатам, каждый человек живет в своего рода вакууме, мыслит и принимает решения в отрыве от всех остальных членов общества. Но авторитаристы лгут: если среди индивидуалистов и были атомисты, то их было очень немного. Напротив, совершенно очевидно, что люди всегда учатся друг у друга, сотрудничают и взаимодействуют друг с другом. Все это необходимо для выживания человека. Но дело в том, что каждый принимает собственное окончательное решение о том, какие влияния принять и какие отвергнуть или какие принять вначале, а какие – потом. Либертарианец одобрительно смотрит на процесс добровольного обмена и сотрудничества между свободно действующими людьми и питает отвращение лишь к использованию насилия для искажения такого добровольного сотрудничества и принуждения действовать иначе, чем выбрал бы сам человек.

Лучший подход к исследованию естественных прав – разделить вопрос на части и начать с базового постулата о праве на самого себя. ***Право на самого себя – это абсолютное право каждого человека, вытекающее из того факта, что он является человеком, имеющим право владеть собственным телом***, т.е. быть защищенным от насильственного угнетения. Поскольку для того, чтобы выжить и жить хорошо, каждому нужно мыслить, учиться, выбирать ценности, цели и средства, право на самого себя дает человеку возможность заниматься всем этим без помех и ограничений со стороны других.

Рассмотрим, например, последствия того, что людям отказывают в праве на себя. В этом случае есть только две альтернативы: либо 1) определенный класс людей, *A*, имеет право владеть людьми другого класса, $<B$; либо 2) у каждого есть право

владеть определенной для него по квоте долей любого другого человека. Первая альтернатива предполагает, что класс A заслуживает человеческих прав, а класс *B* состоит из недочеловеков и подобных прав не заслуживает. Но поскольку они на самом деле *тоже люди*, первая альтернатива противоречит себе в том, что отказывает некоей группе людей в естественных правах человека. Более того, как мы увидим, разрешение классу *A* владеть классом *B* означает, что первому позволено эксплуатировать второй и паразитировать на нем, т.е.жить за его счет. Но такой паразитизм нарушает базовое экономическое требование: производить и обмениваться.

Вторая альтернатива, которую можно бы назвать «коммунализмом прямого участия» (participatory communalism) или «коммунизмом», исходит из того, что каждый должен иметь право на свою долю в каждом другом. Если на планете живут два миллиарда человек, тогда каждый владеет одной двухмиллиардной долей любого другого человека. Прежде всего следует отметить абсурдность этого идеала: каждый имеет право на долю в любом другом человеке, но при этом *не имеет права на самого себя*. Кроме того, несложно оценить жизнеспособность подобного общества, где никто не волен предпринимать никаких действий без предварительного одобрения или даже приказа со стороны *каждого* члена общества. В таком коммунистическом мире никто не сможет даже начать никакого дела, и род человеческий быстро вымрет. Но если общество, в котором никто не принадлежит себе, но зато на сто процентов принадлежит всем остальным, обречено на вымирание, то любой шаг в этом направлении идет вразрез с естественным правом, которое устанавливает критерии того, что хорошо для человека и его жизни.

Наконец, подобный коммунистический порядок просто нереализуем на практике. Ведь для человека физически невозможно постоянно вести расчеты по каждому другому, чтобы осуществить свое право на владение его частью. В действительности концепция всеобщего и равного владения всеми другими утопична и нереализуема, а потому надзор и, соответственно, само право собственности на других оказывается в руках специализированной группы людей, которые превращаются в правящий класс. Таким образом, на практике коммунистическое правление автоматически превращается в классовое правление, и мы автоматически возвращаемся к первой альтернативе.

Поэтому либертарианец отвергает эти альтернативы и приходит к тому, что принимает в качестве главного постулата

всеобщее право собственности каждого на самого себя, которое принадлежит любому в силу того, что он рожден человеком. Труднее с теорией собственности на другие объекты, не являющиеся людьми, на земные вещи. Сравнительно легко опознается ситуация агрессии против личности: если *A* нападает на *B*, он нарушает права *B* на собственное тело. Но с материальными объектами все несколько сложнее. Например, мы видим, что *X* завладел часами, принадлежащими *Y*. В этом случае нельзя автоматически заключить, что *X* совершил агрессию против права собственности *Y* на часы, потому что есть вероятность, что *X* и был первоначальным, настоящим собственником часов. Тогда можно предположить, что он просто возвращает себе свою законную собственность. Чтобы принимать решения в подобных ситуациях, нам нужна теория справедливой собственности, которая скажет нам, кто же является законным владельцем часов – *X,Y* или кто-то третий.

Пытаясь решить эту проблему, некоторые либертарианцы предположили, что тот, кого существующее правительство наделит правом собственности, и будет ее законным владельцем. Мы пока еще не углублялись в природу правления, но некая аномальность здесь просто бросается в глаза: действительно странно, что некая группа, в целом подозрительно относящаяся ко всем функциям правительства, неожиданно предлагает именно ему передать решение важнейших вопросов о собственности, которая представляет собой фундамент всего общественного устройства. Особенно странно, что либертарианцы утилитаристского толка считают разумным начинать обоснование нового либертарианского мироустройства с подтверждения всех существующих прав собственности, т.е. правовых титулов и прав, установленных указом того самого правительства, которое проклинается как постоянный агрессор.

Рассмотрим гипотетический пример. Предположим, что либертарианская агитация и давление стали настолько невыносимыми, что правительство и его всевозможные ветви готовы сдаться. Но они придумали хитрую уловку. Прямо перед тем, как сложить полномочия, правительство штата Нью-Йорк принимает закон, по которому вся территория штата становится частной собственностью семьи Рокфеллеров. Законодатели Массачусетса отдают весь штат в собственность семье Кеннеди. И так в каждом штате. После этого правительство может сложить полномочия и объявить о ликвидации налогов и всех законов, предполагающих применение насилия, но победившие либертарианцы окажутся перед дилеммой: должны ли они признать законной эту новую частную собственность?

Утилитаристы, не имеющие своей теории справедливости прав собственности, сохраняя последовательность в принятии прав собственности, установленных правительством, должны будут принять новый общественный строй, при котором Америкой владеют полсотни новых сатрапов, собирающих налоги в форме односторонне установленной ренты. Дело в том, что *только* либертарианцы, стоящие на позиции естественных прав, *только* либертарианцы, располагающие теорией справедливости прав собственности, не опирающихся на указы правительства, в состоянии поднять на смех притязания новых правителей на то, что вся территория страны теперь является их частной собственностью, и отвергнуть их как безосновательные. Великий либерал XIX века лорд Актон отчетливо понимал, что естественное право является единственной надежной почвой для постоянной критики правительственных законов и указов[1].

Теперь же нам необходимо понять смысл подхода к правам собственности с позиции теории естественного права.

Мы решили вопрос о праве каждого на самого себя, о праве собственности на свое тело и личность. Но человек – это не вольный сын эфира, он не есть нечто самодостаточное – для выживания ему приходится держаться за землю. Например, чтобы выжить, людям нужно *стоять на земле*, они должны перерабатывать природные ресурсы в потребительские блага в предметы, необходимые и пригодные для жизни. Нужно выращивать продукты питания, добывать полезные ископаемые и превращать их в капитал и потребительские блага и т.д. Иными словами, человек должен владеть не только самим собой, но и материальными объектами, которые он использует. Но как же распределить права собственности на предметы материального мира?

Возьмем в качестве первого примера скульптора, работающего с глиной и другими материалами, и на время отвлечемся от вопроса о том, кому принадлежат глина и инструменты скульптора. Возникает вопрос: *кому* принадлежит создаваемое скульптором произведение искусства? Это ведь творение скульптора не в том смысле, что он создал глину или камень. Но он придает им форму в соответствии со своими идеями, создает ее своими руками. Нет никаких сомнений в том, что скульптор имеет право собственности на свои работы. Ведь если каждый имеет право на собственное тело и при этом должен пользоваться материальными объектами этого мира, чтобы выжить, то скульптор имеет право на то, что создано его трудом и энергией, на то, что является, по сути дела, материальным *продолжением* его личности. Он запечатлел свою личность в

сыром материале, смешал свой труд с глиной, как сказал в свое время Джон Локк, великий теоретик прав собственности. И глина, преобразованная его энергией, стала материальным воплощением идей и видения скульптора. Вот что говорит об этом Джон Локк:

> …каждый человек обладает некоторой собственностью, заключающейся в его собственной личности, на которую никто, кроме него самого, не имеет никаких прав. Мы можем сказать, что труд его тела и работа его рук по самому строгому счету принадлежат ему. Что бы тогда человек ни извлекал из того состояния, в котором природа этот предмет создала и сохранила, он сочетает его со своим трудом и присоединяет к нему нечто принадлежащее лично ему и тем самым делает его своей собственностью. Так как он выводит этот предмет из того состояния общего владения, в которое его поместила природа, то благодаря своему труду он присоединяет к нему что-то такое, что исключает общее право других людей. Ведь, поскольку этот труд является неоспоримой собственностью трудящегося, ни один человек, кроме него, не может иметь права на то, к чему он однажды его Присоединил[2].

Как и в случае с собственностью на тело человека, перед нами снова возникают три логические альтернативы: 1) автор имеет право собственности на свое творение; 2) право на это творение имеет другой человек или группа людей, т.е. они имеют право силой присвоить произведение без согласия автора;3) каждый человек в мире имеет свою долю прав собственности на скульптуру – коммуналистское решение. Говоря откровенно, трудно назвать конфискацию собственности скульптора одним человеком или всем обществом иначе, чем чудовищной несправедливостью. По какому праву возможно совершить такое? По какому праву возможно присвоить себе продукт творческой энергии и воображения художника? В этом случае право создателя на то, во что он вложил жар своей личности и свой труд, будет присвоено всеми. Здесь, как и в случае коммунальной собственности на личность человека, итогом будет олигархия *немногих*, присваивающих работы творца от имени человечества.

Главное, однако, состоит в том, что скульптор принципиально ничем не отличается от *всех* случаев производства. Те, кто извлекли глину из земли и продали ее скульптору, возможно, занимаются менее творческим трудом, чем скульптор, но они тоже производители. Они также соединили

свои идеи, знания и технологии с данным природой материалом, чтобы получить полезный продукт . Эти люди также имеют право собственности на продукт своего труда. Где же начинается процесс? Еще раз обратимся к Локку:

> Тот, кто питается желудями, подобранными под дубом, или яблоками, сорванными с деревьев в лесу, несомненно, сделал их своей собственностью. Никто не может отрицать, что эта еда принадлежит ему. Я спрашиваю, когда они начали быть его? когда он их переварил? или когда ел? или когда варил? или когда принес их домой? или когда он их подобрал? И совершенно ясно, что если они не стали ему принадлежать в тот момент, когда он их собрал, то уже не смогут принадлежать ему благодаря чему бы то ни было. Его труд создал различие между ними и общим; он прибавил к ним нечто сверх того, что природа, общая мать всего, сотворила, и, таким образом, они стали его частным правом. И разве кто-нибудь сможет сказать, что он не имел права на эти желуди или яблоки, которые он таким образом присвоил, поскольку он не имел согласия всего человечества на то, чтобы сделать их своими? Было ли это воровством – взять себе таким образом то, что принадлежало всем вместе? Если бы подобное согласие было необходимо, то человек умер бы с голоду, несмотря на то изобилие, которое дал ему Бог. Мы видим в случаях общего владения, остающегося таким по договору, что именно изъятие части того, что является общим, и извлечение его из состояния, в котором его оставила природа, кладут начало собственности, без которой все общее не приносит пользы. А изъятие той или другой части не зависит от четко выраженного согласия всех совместно владеющих. Таким образом, трава, которую щипала моя лошадь, дерн, который срезал мой слуга, и руда, которую я добыл в любом месте, где я имею на то общее с другими право, становятся моей собственностью без предписания или согласия кого-либо. Труд, который был моим, выведя их из того состояния общего владения, в котором они находились, утвердил мою собственность на них.
>
> Если бы требовалось ясно выраженное согласие каждого совладельца на то, чтобы кто-либо взял себе любую часть того, что дано в общее владение, то дети или слуги не могли бы разрезать мясо, которое их отец

> или хозяин дал им всем, не выделив каждому его особой доли. Хотя вода, бьющая из ключа, принадлежит каждому, но кто же станет сомневаться, что вода, находящаяся в кувшине, принадлежит только тому, кто ее набрал? Его труд взял ее из рук природы, где она была общей собственностью… и тем самым он присвоил ее себе.
>
> Таким образом, этот закон разума делает оленя собственностью того индейца, который его убил; разрешается, чтобы вещи принадлежали тому, кто затратил на них свой труд, хотя до этого все обладали на них правом собственности. И среди тех, кого считают цивилизованной частью человечества… этот первоначальный закон природы, определяющий начало собственности на то, что прежде было общим, все еще существует; и в силу этого закона любая рыба, которую кто-либо выловит в океане – в этом огромном совместном владении всего человечества, каким он все еще остается, – а также любая куропатка, которую кто-либо поймает, становятся благодаря труду того, кто извлекает их из состояния общего владения, в каком они были оставлены природой, собственностью того, кто над этим потрудился[3].

Если каждый является собственником своей личности и, соответственно, своего труда, а в конечном счете – и всего того, что он создал из прежде никем не использовавшихся и никому не принадлежавших природных ресурсов, то как решить самую значительную проблему, в которую в итоге все упирается, – о праве владения землей? Короче говоря, если собиратель имеет право владеть собранными им желудями или ягодами, если фермер имеет право владеть своим урожаем пшеницы или персиков, то кому принадлежит право владения землей, на которой все это выросло? Именно в этом пункте Генри Джордж и его последователи разошлись с либертарианцами, отвергнув право человека владеть землей, которой он пользуется. Они утверждали, что даже если каждый является собственником тех вещей, которые он производит, земля создана Богом или природой, а следовательно, никто не имеет права претендовать на владение ею. Если же мы хотим, чтобы земля представляла собой производственный ресурс и использовалась эффективно, нужно, чтобы ее контролировал *какой-то человек* или группа людей. Перед нами опять возникают все те же три альтернативы: либо земля принадлежит тому, кто первым начал ее

обрабатывать, либо она должна принадлежать группе людей, либо – человечеству в целом, так чтобы любой владел некой долей каждого акра. Генри Джордж выбрал последний вариант, вряд ли решив этим выбором свою этическую проблему: если земля должна принадлежать Богу или природе, то почему более морально приемлемо, чтобы каждый акр принадлежал всем людям, чем чтобы он находился в личной собственности? На практике очевидна невозможность такого положения, чтобы каждый человек в мире был эффективным собственником своей одной четырехмиллиардной доли (если население планеты, скажем, четыре миллиарда) каждого акра земной поверхности. На практике, конечно, контролировать и владеть будет горстка олигархов, а не человечество в целом.

Но, помимо этих трудностей, обоснование собственности на землю в рамках концепции естественных прав ничем не отличается от того, как обосновывается владение любой другой собственностью. Ведь как мы уже видели, ни один производитель *в действительности не «создает» материи*, он берет то, что находит в природе, и своей трудовой энергией преобразует это в соответствии со своими идеями и видением. Это же делает и пионер-первопоселенец, когда берет прежде неиспользовавшуюся землю в частную собственность. Человек, выплавляющий сталь из руды, знанием и энергией преобразует эту руду, и то же самое делает человек, извлекающий руду из земли. Так же действует и первопоселенец, который расчищает, огораживает участок земли и возводит на нем постройки. Своим трудом и знаниями первопоселенец преобразует характер созданной природой почвы. Первопоселенец является столь же законным владельцем собственности, как скульптор или промышленник, и он в той же мере является «производителем», как все другие.

Более того, если первоначально земля дана природой или Богом, то точно так же даны людям их таланты, здоровье и красота. И все эти качества даны отдельным людям, а не обществу в целом. То же происходит с землей и другими природными ресурсами. Все они даны отдельным людям, а не обществу, которое представляет собой не существующую в действительности абстракцию. Сказать, что общество должно сообща владеть землей или какой-либо другой собственностью, означает только одно: группа олигархов – на практике, правительственных бюрократов – должна получить эту собственность в результате ее экспроприации у создателя или первопоселенца.

Более того, никто *не может что-либо произвести без использования земельных ресурсов*, хотя бы в качестве места, где

можно стоять. Ничто не может быть произведено без использования земли в том или ином виде.

Человек приходит в мир нагим, а все, что его окружает – это земля и природные ресурсы. Человек берет эти ресурсы и преобразует их – своим трудом, умом и энергией – в полезные для него вещи. Так что если человек не может владеть землей, он не может в полном смысле слова владеть и результатами своего труда. Фермер не может владеть выращенным урожаем зерна, если он не может владеть той землей, на которой это зерно растет, и когда его труд неразрывно связан с землей, его нельзя лишить одного, не лишая одновременно и другого.

Более того, если производитель не имеет права на плоды своего труда, то кто же имеет? Трудно понять, почему пакистанский младенец должен иметь моральное право претендовать на пропорциональную долю собственности в земле Айовы, которую кто-то недавно осушил, чтобы выращивать пшеницу, – и, разумеется, наоборот, младенец из Айовы не может заявлять права на землю пакистанского фермера. В своей первоначальной форме земля никем не используется и никому не принадлежит. Генри Джордж и ему подобные могут сколько угодно говорить о том, что земля принадлежит всем людям, но если ее никто не использует, значит в реальности она еще никому не принадлежит. Первопоселенец, первый пахарь или пастух– это человек, который первым вовлекает эту бесполезную вещь в производство и заставляет ее приносить общественную пользу. Непонятно, почему морально приемлемо отказать в собственности ему и отдать землю тем, кто никогда и на тысячу миль не приближался к этому участку и может даже не знать о существовании того, на владение чем он гипотетически может претендовать.

Вопрос о моральной приемлемости и естественных правах собственности станет еще нагляднее, если рассмотреть пример с животными. В экономическом плане животные подобны земле, потому что это ресурс, данный природой. Но станет ли кто-нибудь отрицать, что тот, кто поймал и приручил лошадь, является ее хозяином. Чем она в этом случае отличается от желудей и ягод, которые, по общему согласию, принадлежат собирателю? Но ведь и первопоселенцы берут прежде дикую, неприрученную землю и одомашнивают ее, приспосабливают к производительному использованию. Соединение своего труда с землей дает человеку столь же несомненное право собственности, как и в случае с животным. Как заявил Локк, «участок земли, имеющий такие размеры, что один человек может вспахать, засеять, удобрить, возделать его и потребить его продукт,

составляет собственность этого человека. Человек как бы отгораживает его своим трудом от общего достояния»[4]. Либертарианскую теорию собственности красноречиво изложили два французских экономиста XIX века:

> Человек приобретает права на разные вещи, потому что он одновременно активен, разумен и свободен; благодаря своей активности он распространяется по свету, разумность дает ему господство над землей и возможность использовать ее в своих интересах, а, будучи свободным, он устанавливает между собой и вещами отношения причины и следствия и делает их своими.
>
> Найдется ли в цивилизованной стране хоть клочок земли, лишенный отпечатка личности человека? В городах мы окружены плодами его трудов. Мы ходим по мощеным мостовым или по проторенным дорогам – это человек сделал пригодными для жизни малярийные болота, он замостил их камнем, добытым в далеких горах. Мы живем в домах – это человек добыл камень в каменоломнях, выровнял и обтесал его, распилил бревна, продумал все нужное и построил города из того, что прежде было скалами и лесом. И в сельской местности во всем видны следы рук и мысли людей: люди возделали почву, поколения тружеников добились, чтобы она стала мягкой и плодородной, своим трудом человек запрудил реки и сделал плодородными прежде затопленные местности… Повсюду явлены его мощная рука и разум, которые всему дают форму и… приспосабливают к удовлетворению потребностей. Природа признала своего хозяина, и человек чувствует себя в природе как дома. Природа была **присвоена** им ради своей пользы, она стала его **собственностью**. Эта собственность законна; она образует право столь же священное, как право свободно использовать свои способности. Они – его, потому что у них нет другого источника, потому что они есть не что иное, как излучение его бытия. До него здесь вряд ли что было, кроме косной материи; после него и благодаря ему существуют пригодные для обмена богатства, иными словами, вещи, приобретшие ценность в результате чьего-то труда, упорства, обработки, добычи или просто транспортировки. От картины великого художника, в которой, пожалуй, материальная составляющая играет

наименьшую роль, до ведра воды, которую зачерпывают в реке, чтобы доставить потребителю богатства, чем бы они ни были, приобретают ценность только благодаря тем достоинствам, которые может придать им деятельность, разум и сила человека. Производитель запечатлевает частицу собственной личности в вещи, которая в силу этого обретает ценность, а потому может рассматриваться как продолжение способностей человека, воздействующего на внешний мир. Будучи свободным существом, он принадлежит самому себе, он одновременно и причина, т.е. производящая сила, и следствие, т.е.произведенное богатство. Кто рискнет оспорить его право собственности, столь очевидно носящее отпечаток его личности?..

Нам следует вернуться к человеку, к создателю всего богатства… своим трудом человек запечатлевает свою личность в материи. Своим трудом он возделал землю и превратил неиспользуемые пустоши в плодородные поля; это его труд преобразовал непроходимые чащи в просторные леса; это благодаря его труду из семян выросла конопля, это он превратил коноплю в нити, из которых можно делать ткани и одежду; это он превращает бесформенный пирит, добываемый в руднике, в элегантную бронзу, служащую украшением зданий и доводящую до людей мысль художника.

Собственность, возникающая в результате труда,– это частица прав человека, эманацией которого она является; подобно ему, она нерушима ровно до тех пор, пока, расширяясь все дальше и дальше, не столкнется с другим таким же правом; подобно ему, она индивидуальна, потому что ее источник – в независимости индивида и потому что, когда в ее формировании сотрудничают несколько человек, последний владелец приобретает вместе с плодом своего личного труда труд всех предшествовавших ему людей: именно так обстоит дело с изделиями промышленности. Когда в результате продажи или наследования собственность переходит из одних рук в другие, ее статус остается неизменным, она все также остается плодом человеческой свободы, нашедшей выражение в труде, и обладатель имеет такое же право на нее, как и производитель, права которого несомненны[5].

Мы подробно обсудили права личности, но возможен вопрос: а как насчет прав общества? Разве они не выше прав отдельного человека? Либертарианец, однако, является индивидуалистом, и он убежден, что одна из главных ошибок теории общества заключается в том, что оно трактуется как некое реально существующее единство. Порой об обществе говорят как о высшей или почти божественной сущности, обладающей собственными правами, доминирующими над всеми остальными, а иногда оно предстает как абсолютное зло, на которое можно взвалить все грехи этого мира. Индивидуалист считает, что только индивид существует, мыслит, чувствует, принимает решения и действует, а общество живым существом не является и представляет собой просто обозначение для множества взаимодействующих индивидов. Рассматривая общество как нечто, что способно выбирать и действовать, мы только затрудняем себе понимание реально действующих сил. Если десяток человек собрались для того, чтобы ограбить трех других, вот вам группа индивидов, которые согласованно действуют против интересов другой группы. Если эти десять решат назвать себя обществом, действующим в своих интересах, суд поднимет их на смех, да и вряд ли у десятка грабителей достанет наглости и бесстыдства для использования подобного аргумента. Но если их станет действительно много, такого рода помрачение сознания станет делом обычным и сможет одурачить публику.

На ошибочное использование коллективных существительных, таких как «нация»,которая в этом отношении подобна «обществу»,язвительно указал историк Паркер Т.Мун:

> Когда произносят слово «Франция», возникает мысль о стране как о некоем едином организме. Когда… мы говорим «Франция послала свои войска для завоевания Туниса», мы наделяем страну не только целостностью, но и личностью. Сами слова скрывают факты и превращают международные отношения в эффектную драму, героями которой выступают персонифицированные нации, и при этом мы с готовностью забываем живых мужчин и женщин, которые и являются настоящими действующими лицами… если бы не было таких слов, как «Франция»… мы описали бы тунисскую экспедицию более точно, и тогда это выглядело бы примерно так: «Небольшая группа из числа тридцати восьми миллионов лиц послала тридцать тысяч других на завоевание Туниса». При подобном изложении фактов немедленно возникает вопрос, вернее целый ряд

> вопросов. Что это за «небольшая группа»? Почему она послала тридцать тысяч человек в Тунис? И почему те согласились? Империи создают не народы, а люди. Проблема в том, чтобы выявить этих людей, это активное меньшинство в каждом народе, которое непосредственно заинтересовано в империализме, и проанализировать причины, по которым большинство оплачивает соответствующие расходы и ведет войну, возникшую из-за империалистической экспансии[6].

Индивидуалистический взгляд на общество можно выразить так: ***общество – это все, кроме меня***. При такой прямоте подхода появляется возможность проанализировать не только те случаи, когда общество рассматривается как супергерой, но и те, в которых оно предстает как сверхнегодяй, на плечи которого можно взвалить любую вину. Возьмите типичный случай, когда в преступлении виновен не сам преступник, а все общество. Вот, скажем, Смит убил или ограбил Джонса. Старомодный взгляд заключается в том, что Смит виновен. Современный либерал возражает, говоря, что ответственность лежит на обществе. Это звучит гуманно и научно до тех пор, пока мы не взглянем на дело с позиций индивидуализма. Тогда становится очевидным, что *на самом деле* либералы называют виновными в преступлении *всех, кроме* Смита, в том числе, разумеется, и Джонса, ставшего его жертвой. Если представить дело с такой прямотой, каждый поймет абсурдность этого подхода. Но все попадают в тупик, когда к делу подключают вымышленное существо – общество. Как сказал социолог Арнольд У.Грин, «если считать, что общество отвечает за преступление, а преступники ответственности не несут, оказывается, что ответственность может лежать только на тех членах общества, которые преступления не совершили. Подобная чушь может получиться только в том случае, если представлять общество в виде дьявола, потустороннего зла, существующего отдельно от людей и того, что они делают»[7].

Этот взгляд на общество подчеркнул великий американский либертарианец Фрэнк Ходоров, заявивший, что «общество – это люди».

> Общество – это просто коллективное понятие и ничего больше, удобный способ обозначения группы людей. Точно так же используются слова «семья», «толпа», «артель» и любые другие, пригодные для обозначения совокупности людей. Общество… это не сверхличность; если перепись насчитала ровно сто миллионов, их столько и ни на одного больше, потому

что общество может прирастать только за счет рождения детей. Концепция общества как метафизической личности рассыпается, когда замечаешь, что общество исчезает при рассеянии его составных частей, как это происходит в случае городов-призраков или исчезнувших цивилизаций, о которых мы знаем только по грудам черепков. Когда исчезают люди, исчезает и целое. Целое не имеет самостоятельного существования. Использование собирательного существительного с глаголом единственного числа ведет нас в ловушку воображения – мы склонны персонализировать коллектив и мыслить о нем как о чем-то, имеющем собственную тело и душу[8].

Свобода обмена и свобода договора

Основой либертарианской идеи является абсолютное право каждого человека на частную собственность: во-первых, на собственное тело, и, во-вторых, на не использовавшиеся прежде природные ресурсы, которые он преобразил своим трудом. Два этих постулата – право на самого себя и право первопоселенца – образуют полный набор принципов либертарианства. Учение либертарианства представляет собой лишь развитие этой центральной доктрины и применение выводов из нее на практике. Например, некому *X* принадлежит его собственная личность, труд и ферма, территорию которой он очистил от леса и теперь выращивает там пшеницу. Другому человеку, *Y*, принадлежит рыба, которую он ловит, а третьему, *Z*,– капуста, которую он выращивает. Но если человеку что-то принадлежит, он имеет право *подарить* собственность или обменять ее на что-либо иное, после чего новый владелец также будет иметь абсолютное право собственности. Из этого дополнительного права на частную собственность вытекает главное обоснование свободы договора и свободной рыночной экономики. Так, если *X* выращивает пшеницу, он может и, скорее всего, захочет обменять часть зерна на некоторое количество рыбы, выловленной *Y*, или на какое-то количество капусты, выращенной *Z*. Когда X и *Y* (или *X* и *Z*, или *Y* и Z) добровольно заключили соглашение об обмене собственностью, она на абсолютно законном основании переходит к новому владельцу. Если *X* обменивает пшеницу на рыбу, тогда рыба становится собственностью *X* и он может делать с ней что угодно, а пшеница достается *Y*, и он также волен распоряжаться ею как захочет.

Далее, человек может обменять не только принадлежащие ему материальные объекты, но и собственный труд, который также является его собственностью. Таким образом, *Z* может продать свои трудовые услуги – учить детей фермера *X*– в обмен на часть его урожая.

Жизнь распорядилась так, что свободная рыночная экономика и предполагаемые ею специализация и разделение труда – это самая продуктивная форма хозяйства из всех известных человеку; она стала основой индустриализации и современной экономики, на которую опирается вся современная цивилизация. Таков удачный практический результат свободного рынка, но для либертарианца это *не главная причина* поддерживать эту систему. Главная причина имеет моральную природу и коренится в естественно-правовой защите частной собственности, о чем мы говорили выше. Даже если бы удалось доказать, что деспотизм и систематическое нарушение прав человека обеспечивают большую продуктивность, чем то, что Адам Смит назвал «системой естественной свободы», либертарианец не изменил бы своей позиции. К счастью, здесь, как и во многих других областях, практичность и мораль, естественные права и общее процветание идут рука об руку.

При всей своей внешней сложности развитая рыночная экономика – это ничто иное, как обширная сеть добровольных обменов между двумя лицами, как это показано на примере производителей пшеницы и капусты или фермера и учителя. Таким образом, когда я покупаю газету, происходит взаимовыгодный обмен между двумя лицами: я передаю продавцу газет свое право собственности на мелкую монетку, а он передает мне право собственности на газету. Мы делаем это потому, что в условиях разделения труда я в данный момент считаю, что газета для меня ценнее, чем монетка, а продавец газет предпочитает получить монетку и расстаться с газетой. Или, скажем, когда я преподаю в университете, я руководствуюсь расчетом, что лучше я буду получать жалованье преподавателя, чем воздержусь от преподавания, а руководство университета, соответственно, решило, что лучше взять меня преподавателем, чем искать кого-то другого. Если бы продавец газет захотел вместо мелкой монетки доллар, я мог бы решить, что овчинка выделки не стоит, и точно так же, если бы я вздумал настаивать на утроении моего жалованья, университет мог бы решить, что лучше ему найти менее требовательного преподавателя.

Многие готовы признать справедливость и уместность системы прав собственности и свободных рынков, иными словами, готовы согласиться, что фермер должен иметь

возможность запросить за свою пшеницу столько, сколько потребители согласятся заплатить, а рабочий имеет право требовать за свой труд столько, сколько другие согласятся заплатить за него. Но в одном месте эта система дает сбой, а именно в вопросе о наследстве. Если Уилли Старгилл играет в мяч в десять раз лучше и «производительнее», чем Джо Джек, они согласятся, что по справедливости Старгилл должен получать вдесятеро больше, но где справедливость, спрашивают они, когда кто-то рождается Рокфеллером и наследует неизмеримо больше, чем рожденный Ротбардом? В ответ либертарианец советует сконцентрироваться не на *получателе*, наследнике Рокфеллера или Ротбарда, а на *завещателе*, на том, кто передает наследство. Ведь если Смит, Джонс и Старгилл имеют право на свой труд и собственность, если они имеют право обменивать свою собственность, то у них есть и право *отдавать* свою собственность, кому пожелают. И естественно, что чаще всего собственность дарят своим детям – все-таки они наследники. Если Уилли Старгилл является собственником своего труда и зарабатываемых денег, то у него есть право оставить эти деньги своему ребенку.

В развитой рыночной экономике фермер обменивает пшеницу на деньги, а покупает ее мельник, изготовляющий из пшеницы муку; он, в свою очередь, продает муку пекарю, который печет хлеб; пекарь продает хлеб оптовику, который перепродает его розничным торговцам, а уж те продают хлеб потребителям. И на каждом этапе производитель может нанять рабочих, чтобы те за деньги оказывали ему трудовые услуги. Объяснить в двух словах, как именно работают деньги, довольно сложно, но достаточно понять, что *концептуально* они эквивалентны любому полезному товару, обмениваемому на пшеницу, муку и т.д. Вместо денег можно использовать для обмена ткань, железо или что угодно. И на каждом этапе происходит добровольный и взаимовыгодный обмен прав собственности.

Теперь у нас есть возможность познакомиться с тем, как либертарианец определяет концепцию свободы. Свобода – это состояние, при котором права собственности человека на его тело и материальное достояние защищены от посягательств и агрессии. Тот, кто ворует чужую собственность, посягает на свободу другого и ограничивает ее, так же как тот, кто бьет человека по голове. Свобода и неограниченное право собственности взаимосвязаны. Для либертарианца преступление – это акт агрессии против прав собственности на личность или материальное достояние человека. Преступление – это насильственное нападение на собственность и, соответственно, на

свободу человека. Рабство – противоположность свободы – это состояние, в котором человек не имеет или почти не имеет прав собственности на самого себя; его личность и его продукция систематически и насильственно захватываются хозяином.

Либертарианец, ясное дело,– индивидуалист, но *не* эгалитарист. Он защищает только одно равенство – равное право каждого на то, чтобы быть хозяином своей личности, быть собственником неиспользуемых ресурсов, которые он первым освоил, и собственником всего того, что он приобрел в результате добровольного обмена или дарения.

Права собственности и права человека

Либералы в общем признают право каждого на личную свободу, на свободу мыслить, говорить, писать и участвовать в таких личных обменах, как добровольный секс между взрослыми людьми. Короче говоря, либерал старается поддерживать право человека на собственное тело, но отрицает его право на собственность, т.е. на владение материальным достоянием. Отсюда возникает типичная либеральная дихотомия между правами человека, которые он поддерживает, и правами собственности, которые он отвергает. А вот либертарианец убежден, что эти права *неразрывно связаны* – они либо существуют вместе, либо вместе пропадают.

Возьмите, например, либерала социалистического толка, который защищает правительственную собственность на все средства производства, но при этом требует сохранения прав человека на свободу слова. Каким же образом можно осуществить эти права человека, если люди, составляющие общество, лишены права владеть собственностью? Если, например, правительству принадлежит вся газетная бумага и все типографии, каким образом можно осуществить право на свободу печати? Если вся газетная бумага принадлежит правительству, оно вольно распределять ее, как ему вздумается, и право на свободу печати превращается в насмешку, если правительство решит не давать кому-либо бумагу. А поскольку правительству приходится каким-то образом распределять ограниченные ресурсы газетной бумаги, то можно смело забыть о праве на свободу печати, например, для меньшинств или «врагов социализма». То же самое относится к праву на свободу слова: если правительству принадлежат все залы собраний, оно может пускать в них только тех, кто ему подходит. Или, например, если атеистическое правительство советской России решило не выделять ресурсы на производство

мацы для религиозных евреев, свобода вероисповедания обращается в фарс, но при этом советское правительство всегда может возразить, что ортодоксальные евреи – это всего лишь незначительное меньшинство, и нет нужды использовать ценное оборудование для производства мацы.

Основной недостаток подобных теорий и заключается в разделении на права человека и права собственности – люди рассматриваются как бесплотные абстракции. Если у человека есть право собственности на самого себя, на то, чтобы распоряжаться собственной жизнью, то в реальности ему необходимо право владения собственностью, землей и ресурсами, которые служат ему опорой и которые он должен использовать. Короче говоря, чтобы поддерживать права человека или права собственности на собственную личность, необходимы также права собственности на материальный мир и продукты производства. Права собственности и являются правами человека, они крайне важны для тех прав, которые пытаются защищать либералы. Право человека на свободу печати зависит от права владения газетной бумагой.

По сути дела, права человека не существуют отдельно от прав собственности. Право на свободу слова – это просто право собственности, позволяющее арендовать или купить зал собраний у собственника, а свобода печати – это право покупать необходимые материалы и печатать брошюры или книги и продавать их каждому желающему купить. Не существует свободы слова или свободы печати, изолированных от соответствующих прав собственности. Более того, достаточно определить соответствующие права собственности, чтобы разрешить любые проблемы с правами и свободами человека.

Возьмите хотя бы классический пример, иллюстрирующий, что свобода слова должна быть ограничена во имя общественных интересов: знаменитое высказывание судьи Холмса, что ни у кого нет права кричать «Пожар!» в заполненном зрителями театре. Холмс и его последователи вновь и вновь использовали этот образ, чтобы доказать предполагаемую необходимость рассматривать все права как относительные и не вполне определенные, а не как точные и абсолютные.

Но проблема здесь не в том, что права не могут быть безграничными, а в том, что ситуация рассматривается с позиций свободы слова, а не права частной собственности. Сменим подход. Крикнуть в заполненном зрителями театре «Пожар!» и вызвать панику мог либо владелец театра (или его служащий), либо зритель, купивший билет. Если это владелец, он тем самым виноват в жульничестве: он взял с людей деньги за показ

спектакля, а когда они собрались, ввел всех в заблуждение криком «Пожар!» и сорвал представление. Этим он нарушил свои договорные обязательства и виновен в краже денег, которые его клиенты заплатили за представление. Иными словами, он нарушил их право собственности.

А теперь предположим, что панику устроил не владелец, а один из зрителей. В этом случае он нарушил права собственности владельца театра, а также других зрителей, заплативших за представление. В качестве зрителя он был допущен в театр на определенных условиях, включающих в себя обязательство не причинять вреда ничьей собственности и не срывать представления. Его злобная выходка, таким образом, представляет собой нарушение прав собственности владельца театра и других зрителей.

Приходится сделать вывод, что нет никакой необходимости ограничивать личные права в случае обманного крика «Пожар!». Права человека все так же абсолютны, только это права *собственности*. Злостный обманщик, крикнувший «Пожар!» в заполненном театре, – действительно преступник, но не потому, что вышел за границы свободы слова, которая должна быть разумно ограничена для защиты интересов общества, а потому что он явно и беспардонно нарушил права собственности других людей.

3. Государство

Государство как агрессор

Главная задача либертарианства состоит в том, чтобы противостоять любым нарушениям прав собственности человека на самого себя и на законно приобретенное материальное достояние. Когда речь идет о преступниках, в позиции либертарианцев нет ничего уникального, потому что почти все люди и философские концепции борются с преступлениями против личности и собственности.

Но даже в области защиты людей от преступлений либертарианской позиции присуща существенная особенность. В либертарианском обществе не будет окружного прокурора, который преследует преступников от лица несуществующего общества даже вопреки желаниям жертвы преступления. Жертва сама будет решать, предъявлять обвинение или нет. Более того, жертва сможет возбудить процесс против обидчика, и при этом ей не придется убеждать того же окружного прокурора в оправданности обвинения. Кроме того, в системе наказания преступников главным будет не тюремное заключение и изоляция от общества, а принуждение преступника к компенсации нанесенного ущерба жертве его преступления. Существующая система, в которой жертва не получает компенсации, а, напротив, принуждена платить налоги на содержание обидчика в заключении, покажется совершенно нелепой в мире, где главным является защита любых прав собственности, в том числе и жертвы преступления.

Более того, хотя либертарианцы в большинстве своем не являются пацифистами, они не будут отказывать людям в праве быть пацифистами. Предположим, что пацифист Джонс стал жертвой преступника Смита. Если Джонс, будучи последовательным пацифистом, не желает защищать себя с помощью насилия, а потому выступает против любого наказания преступников, он просто откажется от предъявления обвинения, и на этом дело и кончится. Не будет государственного механизма преследования и наказания преступников против желания жертвы.

Но главное отличие либертарианцев от всех других людей не в их отношении к преступлениям, а в их понимании роли государства и правительства. Ведь либертарианцы рассматривают государство как высшего, вечного, наилучшим образом

организованного агрессора против личности и собственности людей. И таковы все государства – всегда и везде – демократические, диктаторские или монархические, красные, белые, голубые или коричневые.

Государство! Всегда считалось, что правительство и весь аппарат власти стоят выше общих законов морали. «Документы Пентагона»[1*] – это лишь один из бесчисленных примеров того, как люди, ведущие себя безупречно в частной жизни, нагло лгут публике. Почему? В интересах государства. Предполагается, что интересы государства оправдывают все действия, которые были бы сочтены аморальными или преступными, будь они совершены рядовыми гражданами. Отличительной чертой либертарианцев является то, что они спокойно и безо всяких уступок применяют общие моральные нормы к людям, действующим от лица государства. Либертарианцы не делают исключений. Веками государство (точнее говоря, люди, выступающие как члены правительства) прикрывало свою преступную деятельность возвышенной риторикой. Веками государство совершало массовые убийства и называло их войной, прославляя при этом героев массовой резни. Веками государство загоняло людей в ярмо военной службы и называло это воинской повинностью и служением народу. Веками государство грабило народ силой оружия и называло это налогообложением. Собственно говоря, ***если вы хотите знать, как либертарианцы рассматривают государство и всю его деятельность, думайте о государстве как о банде преступников****, и тогда либертарианская позиция окажется простой и логичной.*

Присмотримся, например, к тому, что резко отличает правительство от всех других действующих в обществе организаций. Многие политологи и социологи сглаживали это жизненно важное различие, рассматривая все организации и группы как иерархические, упорядоченные, правительственные и т.д. Левые анархисты, например, в равной степени выступают против государственных и частных организаций, таких как корпорации, на том основании, что и те и другие одинаково элитарны и используют принуждение. Но «правый» либертарианец не против неравенства, а его концепция принуждения относится только к случаям использования насилия. Либертарианец видит коренное различие между правительством (центральным, региональным или местным) и всеми другими действующими в обществе организациями. Точнее, следует говорить о двух подобных различиях. Во-первых, каждый человек или группа лиц получает доход в виде платежей, имеющих вид либо добровольных взносов и дарений (местный

шахматный клуб, например),либо добровольной платы за приобретаемые на рынке товары и услуги (так живут владелец продовольственного магазина, профессиональный бейсболист или, например, производитель стали).Только правительство получает доход с помощью принуждения и насилия, скажем, в виде прямой угрозы конфискации имущества или тюремного заключения в случае неуплаты. Эти принудительные сборы и есть налогообложение. Второе отличие состоит в том, что, не считая уголовных преступников, только правительство может использовать свои возможности для насилия в отношении своих и чужих подданных, только правительство может запретить порнографию, принудить к соблюдению религиозных обрядов или отправить людей в тюрьму за продажу товаров по ценам, превышающим установленные все тем же самым правительством. Оба различия, разумеется, можно свести к одному: во всех обществах только правительство уполномочено нарушать права собственности своих подданных для сбора средств или для утверждения своего морального кодекса, а также убивать тех, кого оно не одобряет. Более того, любое правительство, даже наименее деспотичное, всегда большую часть доходов получало благодаря принуждению граждан к уплате налогов. Исторически правительства были источником подавляющей части актов порабощения и убийства. А поскольку, как уже неоднократно было отмечено, ***главная задача либертарианца – это противостояние всем видам агрессии против личности и собственности, то он по необходимости выступает против институтов государства, по природе своей являющегося самым значительным врагом абсолютных прав собственности.***

Есть еще одна причина, чтобы относиться к государственной агрессии серьезнее, нежели к любой иной, и дело здесь даже не в том, что государство лучше организовано и располагает куда большими ресурсами, чем частные преступные организации. Главное – в отсутствии каких-либо внешних ограничений для государственного хищничества, ограничений, которые существуют в случае пугающей людей мафии. Опасаясь мафии, мы можем обратиться к помощи государства и полиции, но кто придет нам на помощь против самого государства? Никто. Другой существенной особенностью государства является то, что оно монополизировало услуги защиты – государство присвоило себе монополию на насилие и принятие окончательных решений. Например, если мы не согласны с решениями государственных судов, мы не можем обратиться к услугам альтернативных судебных организаций.

В Соединенных Штатах у нас, по крайней мере, есть конституция, строго ограничивающая некоторые полномочия правительства. Но за последнее столетие мы убедились, что никакая конституция не способна сама себя истолковывать или проводить в жизнь – это приходится делать людям. А если самым авторитетным толкователем конституции является правительственный Верховный суд, то неизбежно возникает тенденция к одобрению этим судом постоянно расширяющихся полномочий его собственного правительства. Более того, хваленые системы сдержек и противовесов и разделения ветвей власти в американской системе правления довольно хлипки, потому что, в конечном итоге, все эти ветви являются частью того же самого правительства и подчинены одной и той же группе правителей.

Один из самых блестящих американских политических мыслителей Джон К. Калхун пророчески написал о том, что государство неизбежно будет ломать границы, установленные писаной конституцией:

> У нашей конституции, несомненно, есть много существенных достоинств, но большой ошибкой окажется предположение, что простого введения ограничений полномочий правительства, без наделения тех, для чьей защиты они установлены, средствами принуждения к их соблюдению, достаточно, чтобы удержать господствующую партию большинства от злоупотреблений. Будучи партией власти, она… неизменно благосклонна к полномочиям, даруемым конституцией, и выступает против сдерживающих их ограничений. В качестве господствующей партии большинства она не будет испытывать нужды в этих ограничениях для своей защиты…
>
> Меньшинство, или слабая партия, напротив, выберет противоположное направление и будет рассматривать их как важную часть защиты от господствующей партии… Но когда нет средств, чтобы принудить партию большинства соблюдать ограничения, у него остается единственное прибежище – жесткая конструкция конституции… Партия большинства противопоставит этому гибкую конструкцию, которая придаст разрешающим словам самое широкое из возможных значение. Тогда одна конструкция будет противостоять другой: одна будет стремиться в наибольшей степени сократить полномочия правительства, а другая –

> расширить. Но чем может жесткая конструкция помочь партии меньшинства в ее противоборстве с гибким истолкованием конституции большинством, когда у одной будет вся сила правительства, чтобы провести свое истолкование в жизнь, а у другой не будет средств, чтобы заставить считаться со своим мнением? О результатах столь неравного состязания гадать не приходится. Партия, требующая ограничений, будет побеждена… Состязание окончится низвержением конституции… ограничения в конечном итоге будут отменены, а правительство будет наделено беспредельными полномочиями.
>
> Этого результата не предотвратит и разделение правительства на отдельные и, как они заверяют друг друга, независимые ветви… потому что каждая из них и все вместе эти ветви – и, разумеется, правительство в целом – будут под контролем численного большинства, и не нуждается в объяснениях тот факт, что простое распределение полномочий среди своих представителей мало что может сделать для того, чтобы воспротивиться этой тенденции к подавлению и злоупотреблению властью[2].

Но ради чего стоит тревожиться о слабости ограничений правительственной власти? Особенно в условиях демократии, если вспомнить выражение, столь часто использовавшееся американскими либералами в пору их расцвета до середины 1960-х годов, когда либеральную утопию впервые накрыла тень сомнения:«Разве не мы являемся правительством?» В выражении «мы являемся правительством» множественное число местоимения «мы» послужило идеологическим камуфляжем для эксплуататорской реальности политической жизни. Потому что если *мы* действительно являемся правительством, тогда *все*, что делает правительство в отношении отдельного человека, окажется не только справедливым и не имеющим примеси тирании, но еще и исключительно добровольным со стороны этого человека. Если правительство влезло в долги, для оплаты которых нужно обложить налогом одну группу людей в пользу другой, эту реальность жизнерадостно маскируют заявлением, что «мы должны эти деньги самим себе» (но кто такие *мы* и кому это– *самим себе*?). Если правительство обратило свое пристальное внимание на какого-либо человека или даже сажает его в тюрьму за диссидентский образ мыслей, то все дело в нем самом, так что ничего противоправного не произошло. Если так рассуждать, то

евреи, убитые нацистским правительством, *не были убиты*, а, должно быть, совершили самоубийство, потому что *они и были правительством*(которое было избрано демократически), а следовательно, все, что делало с ними правительство, с их стороны было делом исключительно добровольным. Сторонники правительства, видящие в государстве благожелательного и сознательного агента общества, не в состоянии найти выход из нагромождения такого рода нелепостей.

Поэтому мы должны сделать вывод, что *мы не правительство, а правительство не мы*. Ни в какой степени правительство не представляет большинство населения, но если бы даже и представляло, даже если бы 90% населения решили убить или поработить другие 10%, это *все равно было бы убийством и порабощением*, а не добровольным самоубийством или самопорабощением, самодеятельно осуществленным попранным меньшинством. Преступление есть преступление, агрессия против прав есть агрессия, сколько бы граждан не проголосовало за попрание этих прав. В большинстве нет никакой святости; толпа линчевателей – это тоже большинство в своем околотке.

Хотя большинство может стать активно деспотичным и агрессивным, как это происходит в толпе линчевателей, нормальное и устойчивое состояние государства – это *олигархическое правление*, правление элиты, сумевшей установить контроль над государственным аппаратом. Для этого есть две основные причины: одна – это неравенство и разделение труда, соответствующие природе человека, что приводит в действие «железный закон олигархии»[3*], дающий себя знать во всех видах человеческой деятельности, а другая – это сам по себе паразитический характер государства.

Мы сказали, что индивидуалист не является эгалитаристом. Отчасти причиной этого является то, что индивидуалист понимает огромное разнообразие человечества, усиливающееся по мере прогресса цивилизации и повышения уровня жизни. Люди различаются по своим способностям и интересам независимо от профессии и общественного положения, и возьмем ли мы производство стали или организацию клуба любителей бриджа, лидерами неизбежно окажется горстка самых способных и энергичных, тогда как большинство довольствуется положением рядовых последователей. Это относится ко всем видам деятельности, как полезным, так и вредным (например, в преступных сообществах). Вспомним, что «железный закон олигархии» был открыт итальянским социологом Робертом Михельсом, который обнаружил, что социал-демократическая партия Германии, несмотря на официальную приверженность

эгалитаризму, функционировала как организация жестко иерархическая и олигархическая.

Второй основной причиной олигархического характера государства является его паразитическая природа – оно живет за счет того, что силой удерживает часть продукции, производимой гражданами. Чтобы идти на пользу участникам, плоды паразитической эксплуатации должны распределяться среди сравнительно небольшой группы чиновников, потому что если каждый ограбит каждого, выгода не достанется никому. Никто не описал насильственную и паразитическую природу государства с большей ясностью, чем великий немецкий социолог конца XIX века Франц Оппенгеймер. Он отметил, что есть два и только два взаимоисключающих способа разбогатеть. Первый – это путь производства и добровольного обмена, путь свободного рынка или, в терминологии Оппенгеймера, «экономические методы», а второй – это путь грабежа и насилия, или «политические методы». Политические методы, несомненно, паразитичны, поскольку требуют предварительного производства, которое эксплуататоры могли бы конфисковать, результатом чего оказывается не прибавление к совокупному общественному производству, а вычитание из него. Оппенгеймер определил государство как «организацию политических методов» – систематизацию хищничества на данной территории[4].

Короче говоря, частное преступление единично и негарантированно; такого рода паразитизм мимолетен, а жизненный путь паразита и насильника в любой момент может быть оборван, если его жертвы воспротивятся. Государство представляет собой законный, упорядоченный, систематический канал паразитирования на собственности производителей; оно гарантирует паразитической касте общества обеспеченную, безопасную и сравнительно мирную жизнь. Великий либертарианский автор Альберт Джей Нок написал, что «государство монополизировало преступление… Оно запрещает частное убийство, но само организует убийства в колоссальных масштабах. Оно наказывает частное воровство, но само невозмутимо накладывает руку на все, что ему приглянется, будь это собственность его граждан или иностранцев»[5].

Конечно, человека непривычного бросает поначалу в оторопь от предложения смотреть на налогообложение как на грабеж, а на правительство – как на банду грабителей. Но каждому, кто предпочитает думать о налогообложении как о своего рода добровольных платежах, стоит представить, что будет, если он предпочтет не платить. Великий экономист Йозеф Шумпетер, никоим образом не придерживавшийся либертарианских

убеждений, написал, что «государство стало жить на доход, создававшийся в частной сфере и предназначавшийся для частных целей. Посредством политической силы его надо было изъять из частного использования. Существование теории, проводящей аналогию между налогами и членскими взносами в клуб или, скажем, оплатой услуг врача, свидетельствует лишь о том, насколько далека эта область обществоведения от научного подхода»[6]. Знаменитый венский «правовой позитивист» Ганс Кельзен попытался в своем трактате «Общая теория права и государства» сформулировать политическую теорию и оправдание государства на строго научной основе, не прибегая к оценочным суждениям. Естественно, что уже в начале книги он наткнулся на *pons asinorum*, камень преткновения политической философии: что отличает государственные указы от приказов бандитской шайки? Кельзен сказал только то, что государственные указы «правомерны», и двинулся дальше, не потрудившись объяснить или определить свою концепцию «правомерности». А ведь всякому ученому, не являющемуся либертарианцем, было бы полезно поразмышлять над этим вопросом: как определить налогообложение, чтобы оно не было бы идентичным воровству?

Для великого индивидуалиста-анархиста XIX века и специалиста по конституционному праву Лисандера Спунера ответ на этот вопрос не составил проблемы. Его взгляд на государство как на шайку грабителей производит чрезвычайно сильное впечатление:

> Действительно, в теории по нашей конституции все налоги платятся добровольно, а наше правительство представляет собой компанию взаимного страхования, в которую народ вступил также добровольно…
>
> Но эта теория нашей системы правления совершенно не совпадает с практикой. А фактом является то, что наше правительство, подобно разбойнику с большой дороги, говорит человеку:«Кошелек или жизнь».И многие налоги, если не большинство, уплачиваются под давлением этой угрозы. На самом деле правительство не подстерегает человека в безлюдном месте, чтобы выскочить на него из укрытия и приставить нож к горлу. Но от этого грабеж не перестает быть грабежом, и он осуществляется куда более подлым и постыдным образом
>
> Разбойник с большой дороги принимает всю ответственность, опасность и преступность своего деяния

исключительно на себя. Он не делает вид, что у него есть какие-то законные права на ваши деньги или, что он намерен использовать их для вашего блага. Он не делает вид, что он не грабитель, а кто-то совсем другой. Ему недостает наглости, чтобы заявлять, что он ваш защитник и забирает деньги против воли прохожих только для того, чтобы иметь возможность защищать безрассудных путешественников, воображающих, что они в состоянии сами за себя постоять, или неспособных оценить своеобразие его системы защиты. Он слишком здравомыслящий человек, чтобы делать подобные заявления. Более того, забрав ваши деньги, он, в соответствии с вашим желанием, оставляет вас одного. Он не настаивает на том, чтобы против вашей воли сопровождать вас и далее под тем предлогом, что, защитив вас, он стал вашим законным правителем. Он не продолжает защищать вас, отдавая приказ смириться и служить ему, требуя от вас делать одно и не делать другое, отбирая у вас деньги всякий раз, как ему это понадобится или захочется, и клеймя вас при этом мятежником, предателем и врагом собственной страны. Он не поставит вас безжалостно к стенке, если вы оспорите его авторитет или воспротивитесь его требованиям. В нем слишком много от джентльмена, чтобы поступать столь фальшиво, подло и оскорбительно. Короче говоря, ограбив вас, он не станет в дополнение дурачить вас или превращать в своего раба[7].

Если государство – это шайка грабителей, кто же тогда образует государство? Понятно, что правящая элита всегда включает: а) профессиональных аппаратчиков – королей, политиков и бюрократов, которые и управляют государством; и б) группы, которые сумели получить от государства привилегии, субсидии и прибыльные должности. Все остальные в обществе – это подданные. Упомянутый выше Джон К.Калхун с предельной ясностью показал, что не имеет значения, сколь малы полномочия правительства и налоговое бремя и насколько справедливо распределение доходов, потому что сама природа государства создает в обществе два неравных и внутренне конфликтующих класса: тех, кто в конечном счете платит налоги (налогоплательщики), и тех, кто живет за счет налогов (налогопотребители). Представим себе, что правительство установило небольшой равномерно распределенный налог, чтобы

оплатить строительство дамбы. Тем самым оно берет деньги у большей части населения, чтобы выплатить их чистым налогопотребителям: бюрократам из налогового ведомства, подрядчикам и рабочим, строящим плотину, и т.д. Чем обширнее масштаб правительственной деятельности, тем больше его финансовые потребности, продолжает Калхун, а следовательно, больше налоговое бремя и искусственно создаваемое неравенство между двумя классами:

> Сравнительно малочисленные агенты и служащие правительства образуют ту часть населения, которая является исключительным получателем налоговых поступлений. Все, что взято у общества в виде налога, если не утрачено, используется ими для покрытия расходов или оплаты услуг. Вся фискальная деятельность правительства сводится к этим двум позициям – налоги и расходы. Они взаимосвязаны. Все, что взято у общества под именем налогов, передается части общества, которая является получателем платежей. Но поскольку получатели составляют только часть общества, результаты фискального процесса приводят к неравенству между плательщиками налогов и получателями государственных платежей. Да иначе и быть не может, разве что собранный с каждого налог возвращать потом налогоплательщику в виду государственных выплат, что было бы совершенной бессмыслицей…
>
> Неизбежным результатом фискальной деятельности правительства является разделение общества на два больших класса: один состоит из тех, кто в действительности платит налоги и несет на себе все бремя поддержки правительства, а другой состоит из тех ,кому собранные налоговые средства достаются в виде государственных расходов и кто живет за счет поддержки правительства; короче говоря, общество распадается на налогоплательщиков и налогополучателей. В результате они оказываются антагонистами в отношении к фискальной деятельности правительства и к связанному с ней направлению политики. Ведь чем выше налоги и налоговые расходы, тем больше выгоды одних и потери других, и наоборот… Результатом каждого повышения [налогов] становится обогащение и усиление одних и ослабление других[8].

Если государства всегда и везде возглавлялись

хищническими олигархическими группами, как же им удавалось править массой населения? Ответ, как указал более двухсот лет назад философ Давид Юм, заключается в том, что в долгосрочной перспективе *каждое* правительство, сколь угодно тираническое, опирается на поддержку большинства своих подданных. ***Это не основание, чтобы счесть систему правления добровольной***, потому что само существование налогов и других средств принуждения показывает, в какой степени государство зависит от насилия. И совсем не обязательно, чтобы поддержка большинства выражалась в виде энергичного и восторженного одобрения; ***вполне достаточно пассивного согласия и покорности***. Союз «и» в знаменитой фразе про «смерть и налоги»[9*] указывает на пассивное и смиренное принятие государства и его налогообложения как предполагаемой неизбежности.

Налогополучатели – группы, получающие выгоду от деятельности правительства, – будут, конечно, пылкими сторонниками государства. Но они составляют лишь меньшинство. Как же обеспечить согласие основной массы населения? Здесь мы подошли к главному вопросу политической философии – той ветви философии, которая имеет дело с политикой, с осуществлением упорядоченного насилия, – к тайне гражданского повиновения. Почему люди повинуются указам и грабительским повелениям правящей элиты? Консервативный автор Джеймс Бернэм, придерживаясь взглядов прямо противоположных либертарианским, очень ясно сформулировал проблему, признав, что ***у гражданского повиновения нет рационального обоснования***: «Ни источник, ни обоснование системы правления не поддаются формулировке в чисто рациональных терминах… почему я должен принимать наследственный, или демократический, или любой другой принцип легитимности? Каким образом этот принцип объясняет господство кого-то надо мной?» Его собственный ответ вряд ли может убедить многих: «Я принимаю принцип, ну… потому что принимаю, потому что так есть и так было»[10]. Но представим, что кто-то *не принимает* этот принцип, что будет тогда? И почему подавляющее большинство населения его принимает?

Государство и интеллектуалы

Ответ заключается в том, что с самых ранних времен существования государства правители всегда стремились заручиться поддержкой класса интеллектуалов. Массы не создают абстрактных идей и не придумывают их, они пассивно следуют

идеям, которые порождают и распространяют интеллектуалы, эти «творцы общественного мнения». А поскольку государство отчаянно нуждается в формировании поддерживающих его мнений, существует естественная основа для вековечного союза между интеллектуалами и правящими классами. Союз держится на принципе *quid pro quo**(*Услуга за услугу (лат.)*): интеллектуалы распространяют в массах идею, что государство и его правители мудры, хороши, имеют благословение свыше, по меньшей мере, неизбежны и лучше, чем любая мыслимая альтернатива. В обмен на эту идеологическую мишуру государство включает интеллектуалов в состав правящей элиты, наделяет их властью, статусом, престижем и материальным обеспечением. Более того, интеллектуалы необходимы, чтобы поставлять кадры бюрократии и планировать развитие экономики и общества.

До наступления Нового времени в качестве слуг государства чаще всего выступало духовенство, а опорой государства служил внушающий ужас союз военного вождя и жреца, трона и алтаря. Государство учредило церковь и наделило ее властью, престижем и богатством, источником которого были подданные. В ответ церковь освящала государство и поддерживала в населении веру в его божественную сущность. С наступлением Нового времени, когда теократические аргументы в значительной мере утратили свою силу, интеллектуалы превратились в научных экспертов, внушающих несчастной публике, что политика, внешняя и внутренняя, – это слишком сложное дело, чтобы среднему человеку стоило ломать над ней голову. С этими проблемами может справиться только государство с его сонмом экспертов, плановиков, ученых, экономистов и специалистов по национальной безопасности. Даже в демократических государствах роль масс сводится к тому, чтобы одобрять и соглашаться с решениями знающих руководителей.

Исторически союз церкви и государства, трона и алтаря, был самым эффективным инструментом достижения послушания и поддержки со стороны подданных. Бернэм подтверждает тезис о власти мифа и таинства в обеспечении массовой поддержки, когда пишет, что «в древности, до того как научные иллюзии исказили традиционную мудрость, основателями городов считались боги или полубоги»[11]. Для духовенства правитель был либо помазанником Божьим, либо, в случае абсолютистских восточных деспотий, просто богом, поэтому даже простое сомнение или попытка сопротивления ему были заведомым богохульством.

На протяжении столетий государство и служащие ему

интеллектуалы использовали множество утонченных инструментов для того, чтобы внушить подданным покорность и повиновение. Превосходнейшим инструментом была власть *традиции*. Чем дольше длилось правление любого данного государства, тем могущественнее был этот инструмент – ведь тогда династия или государство могли сослаться на многовековую традицию. Культ предков превратился в инструмент обожествления правителей прошлого. Силу традиции поддерживает, естественно, *привычка*, так что подданным нетрудно было верить в разумность и законность власти, которой они подчиняются. Политический мыслитель Бертран де Жувенель пишет об этом:

> Основной довод в пользу покорности состоит в том, что она стала привычкой биологического вида… Для нас власть – это природное явление. На протяжении всей человеческой истории она управляла судьбами людей… правитель… в прежние времена не мог уйти от власти, не передав свои полномочия преемнику и не оставив в сознании людей следы, накапливавшиеся во времени. Последовательность правительств, которые в ходе столетий правили одним и тем же обществом, можно рассматривать как единое правительство, сохраняющее непрерывность во времени[12].

Еще одним мощным инструментом государства является осуждение индивидуализма и превознесение прошлой или нынешней коллективности и сплоченности. Это дает возможность нападать на любой выбивающийся из общего хора голос, на любого усомнившегося как на богохульно посягающего на мудрость предков. Более того, любая новая идея, тем более любая новая *критическая идея*, неизбежно *возникает как мнение незначительного меньшинства*. И чтобы не позволить этой потенциально опасной идее разрушить покорность большинства своей воле, государство старается уничтожить ее в зародыше, подвергая осмеянию любой взгляд, не совпадающий с распространенными представлениями. Норман Джекобс рассказал о том, как правители Древнего Китая использовали религию для сплочения подчиненного государству общества:

> Китайская религия – это религия социальная, нацеленная на решение общественных проблем, а не личных… По сути своей, эта религия представляет собой силу безличной социальной адаптации и контроля, а не средство решения личных проблем, при этом социальная

> адаптация и контроль достигаются посредством образования и почитания вышестоящих… Почитание вышестоящих, имеющих превосходство в возрасте, а значит, в образовании и опыте,– это этический фундамент социальной адаптации и контроля… В Китае политическая власть и традиционная религия настолько взаимосвязаны, что нетрадиционность отождествляется с политической ошибкой. Традиционная религия была особенно активна в преследовании и уничтожении нетрадиционных сект, и в этом ей помогали светские власти[13].

Стремление правительства искоренять любые нетрадиционные взгляды подчеркнул с обычным для себя блеском и остроумием либертарианец Г.Л.Менкен:

> В оригинальной идее правительство может усмотреть только потенциальное изменение и, соответственно, посягательство на свои прерогативы. Для любого правительства опаснее всего человек, способный самостоятельно мыслить, не обращая внимания на господствующие предрассудки и табу. Он почти неизбежно приходит к заключению, что правительство его страны бесчестно, безумно и нетерпимо, а если он к тому же романтик, то непременно попытается поменять его. И даже если он сам вовсе не романтичен, он легко может распространить недовольство среди романтиков[14].

Для государства особенно важно, чтобы его владычество казалось нерушимым: даже если его ненавидят, что бывает довольно часто, к нему будут относиться с пассивным смирением в стиле «смерть и налоги». Для этого можно привлечь на свою сторону исторический детерминизм: если нами правит государство *X*, значит, того требуют неумолимые законы истории (или Божественное провидение, или Абсолют, или законы развития производительных сил), и никакой ничтожный человек не может здесь ничего изменить. Государству также важно привить своим подданным отвращение к любым проявлениям того, что сегодня называют «конспирологической теорией исторического процесса». Потому что поиск заговоров, чаще всего, разумеется, заводящий не туда, означает поиск мотивов и вменение личной ответственности за исторические злодеяния правящих элит. А вот если любая тирания, продажность или развязанная государством агрессивная война стали результатом

деятельности *не конкретных правителей*, а загадочных и потаенных общественных сил, или результатом мировой дисгармонии, или некой таинственной *всеобщей вины* («мы *все* убийцы» – гласит лозунг),то нет никакого смысла возмущаться этими злодеяниями или восставать против них. Более того, дискредитация теорий заговора – да и любых утверждений, отдающих экономическим детерминизмом, – помогает подданным поверить в доводы всеобщего благосостояния, которые неизменно выдвигает современное государство в оправдание своих агрессивных действий.

Благодаря всему этому господство государства выглядит неизбежным. Более того, любая альтернатива существующему государству окутана аурой страха. Забывая о своей монополии на воровство и грабеж, государство грозит своим подданным призраком хаоса, который якобы воцарится, если оно вдруг исчезнет. При этом людям вдалбливают в сознание, что сами по себе они не в состоянии защититься от единичных вспышек преступности и мародерства. Более того, каждое государство веками было особенно успешным в навязывании своим подданным страха перед правителями других государств. Поскольку земная твердь распределена между разными государствами, одна из основных тактик правителей каждого из них заключается в отождествлении себя с территорией страны. Так как большинству людей свойственно любить родину, отождествление земли и населения с государством заставляет природный патриотизм работать во благо государства. Тогда если Руритания подвергнется нападению Уоллдавии, государство и интеллектуалы Руритании первым делом постараются убедить население, что целью нападения являются именно *они*, а не правящий класс, не государство. В результате война между *правителями* обращается в войну между *народами*, и каждый народ спешит защитить своих правителей, пребывая в заблуждении, что и правители стремятся защитить *их*. Механизм национализма очень успешно работал в последние столетия, а ведь еще сравнительно недавно жители Западной Европы воспринимали войны как не затрагивающие их битвы между группировками знати.

Еще одним испытанным и верным методом подчинения подданных своей воле является внушение чувства вины. Любой рост материального благосостояния может быть подвергнут нападкам как проявление бессовестной алчности, материализма или чрезмерной зажиточности, а взаимовыгодные рыночные сделки можно осудить как проявление эгоизма. При этом всегда каким-то образом делается вывод, что следует откачать из

частного сектора избыточные ресурсы и направить их в паразитический публичный или государственный сектор. Требование дополнительных ресурсов зачастую украшают суровые призывы жертвовать ради блага народа или общего блага. И всегда получается, что когда публика приносит жертвы и обуздывает свою алчность, жертвы оказываются односторонними. *Государство жертв не приносит, государство только захватывает всевозможные материальные ресурсы.* ***Кстати говоря, есть полезное правило*: когда ваш правитель призывает к жертвам, постарайтесь сохранить свою жизнь и бумажник!**

Такого рода аргументация отражает общие двойные стандарты в оценке моральной приемлемости действий глав государств – и ничего более. Никого, например, не удивляет и не ужасает, что бизнесмены всегда стремятся к увеличению прибыли. Никого не ужасает, что рабочие переходят с одной работы на другую, более оплачиваемую. Все это признается правильным и нормальным. Но если кто-нибудь заявит, что политики и бюрократы руководствуются желанием максимизировать *свои* доходы, немедленно последуют обвинения в теории заговора или экономическом детерминизме. Общее мнение, разумеется, тщательно культивируемое самим государством, гласит, что люди идут в политику и на государственную службу исключительно из стремления служить общему благу. Откуда у джентльменов из государственного аппарата такой налет благородной моральной патины? Возможно, это результат смутного и инстинктивного знания населения, что государственная власть занята систематическим воровством и хищничеством, а потому оно чувствует, что только приверженность государства альтруизму может сделать ситуацию более или менее сносной. Если считать, что политики и бюрократы подвержены тому же стремлению к богатству, как и все остальные, государственное хищничество немедленно лишится прикрывающего его плаща Робин Гуда. Ведь тогда станет ясно, что, по словам Оппенгеймера, обычные граждане стремятся к богатству мирными и созидательными экономическими методами, а государственный аппарат использует политические методы, т.е. организованную насильственную эксплуатацию. Тогда король останется без драпирующих его одежд альтруистической заботы об общем благе.

Интеллектуальные аргументы, которые на всем протяжении истории использовало государство для достижения общественной поддержки, можно разбить на две части: 1) правление существующего правительства неизбежно, абсолютно необходимо и намного лучше, чем те неописуемые беды, которые, несомненно

последуют за его падением; и 2) руководители государства – это люди чрезвычайно великие, мудрые и альтруистичные, они куда значительнее, мудрее и лучше, чем простые подданные. В прежние времена второй аргумент включал ссылку на божественное право или даже на божественного правителя либо на аристократичность правящей группы. В Новое время, как мы уже отметили, ссылка на божественное покровительство заменена указанием на мудрость научных экспертов, посвященных в искусство управления государством и вооруженных тайными знаниями о мире. Распространение научного жаргона, особенно в общественных науках, позволяет интеллектуалам плести сказочные объяснения действий государства, способные сравниться по своей невразумительности с древними речениями пифий. Например, вор, вздумавший оправдаться тем, что в действительности помогал жертвам своими расходами, стимулируя таким образом розничную торговлю, будет немедленно освистан. Но когда та же теория облечена в форму кейнсианских математических уравнений и ученых ссылок на «эффект мультипликации», одураченная публика внимает ей с абсолютным доверием.

В последние годы мы стали свидетелями того, как в Соединенных Штатах возникла профессия эксперта по национальной безопасности. Ей занимаются никогда и никуда не избиравшиеся бюрократы, которые тайно используют некие особые знания при планировании войн, вторжений и военных авантюр, работая на сменяющие друг друга администрации. Они привлекли внимание общественности только после чудовищных просчетов во Вьетнамской войне, а до этого им удавалось действовать в полной тайне от публики, которую они воспринимали преимущественно как пушечное мясо для своих игр.

Публичные дебаты между изоляционистом сенатором РоБертом А.Тафтом и одним из ведущих специалистов по национальной безопасности Макджорджем Банди были поучительны, поскольку пролили свет на суть возникших проблем и на позиции близкой к власти интеллектуальной элиты. Банди атаковал Тафта в начале 1951 года за то, что тот устроил публичное обсуждение хода войны в Корее. Банди настаивал на том, что только руководители исполнительной власти имеют все необходимые возможности для военного и дипломатического противостояния коммунистическим странам в многолетней локальной войне. Чрезвычайно важно, утверждал он, чтобы общественное мнение и открытые дебаты не создавали помех политике в этой области. Дело в том, предостерегал Банди, что

публика, к сожалению, не в состоянии хранить приверженность долгосрочным национальным целям, сформулированным экспертами, поскольку она всегда реагирует только на *ad hoc** (*Случайные (лат.)*) черты сложившейся ситуации. Банди также утверждал, что обвинения в адрес экспертов по национальной безопасности и даже простой анализ их решений недопустимы, поскольку важно, чтобы публика без рассуждений принимала и поддерживала их решения. Тафт, напротив, резко осудил тайное принятие решений военными советниками и экспертами, решений, тщательно скрываемых от публики. Более того, он выразил недовольство тем, что «если кто-то рискнет выступить с критикой или даже с открытым обсуждением этой политики, его сразу объявляют изоляционистом, подрывающим национальное единство и двухпартийную внешнюю политику»[15].

Сходным образом, когда президент Эйзенхауэр и госсекретарь Даллес в частном порядке обсуждали целесообразность участия в войне в Индокитае, другой видный специалист по национальной безопасности, Джордж Ф. Кеннан, наставлял публику, утверждая, что «бывают времена, когда нам лучше всего было бы предоставить возможность править и говорить от нашего имени нашему выборному правительству, как оно делает это на международном совещании глав государств»[16].

Нам понятно, зачем государству нужны интеллектуалы, но зачем интеллектуалам государство? Попросту говоря, интеллектуалу не так-то просто добывать средства к существованию на свободном рынке, потому что он, как и все остальные на рынке, попадает здесь в зависимость от ценностей и решений множества других людей, а для массового потребителя характерно отсутствие интереса к интеллектуальным вопросам. А вот государство готово предложить интеллектуалам теплое, защищенное и постоянное место в своем аппарате, гарантированный доход и престиж.

Ярким символом союза между государством и интеллектуалами может служить небескорыстное желание профессоров Берлинского университета в XIX веке стать, по их выражению, «интеллектуальными телохранителями дома Гогенцоллернов». Нечто подобное проявилось и в той откровенной ярости, с какой видный марксистский исследователь Древнего Китая Джозеф Нидхем ответил на едкую критику древнего китайского деспотизма со стороны Карла Виттфогеля. Виттфогель показал, что характерное для конфуцианства прославление благородных мужей, т.е. ученых, поставлявших кадры для бюрократического аппарата деспотического китайского

государства, было существенным элементом поддержания системы власти. Нидхем возмущенно возразил, что «цивилизация, на которую так ожесточенно нападает профессор Виттфогель, назначала на высокие посты поэтов и философов»[17]. Что плохого в тоталитаризме, если правящий класс так насыщен дипломированными интеллектуалами!

В истории много примеров льстивого и подобострастного отношения интеллектуалов к своим правителям. Современным американским аналогом «интеллектуальных телохранителей дома Гогенцоллернов» может служить отношение многих либеральных интеллектуалов к должности и личности президента. Так, для профессора политологии Ричарда Нейштадта президент – это «несравненный верховный символ единства нации». А высокопоставленный политический советник Таунсенд Хупс зимой 1960 года написал, что «в нашей системе только президент может определить природу внешне- и внутриполитических проблем и те жертвы, которые потребуются для их эффективного решения»[18]. Когда такая риторика становится традицией, уже не удивляет, что Ричард Никсон накануне своего избрания президентом следующим образом описал свою роль: «Он [президент] должен формулировать ценности народа, определять его цели и направлять его волю». Это понимание своей роли заставляет вспомнить, как в 1930-е годы в Германии Эрнст Хубер сформулировал Конституционный закон великого Германского рейха. Он писал, что глава государства «устанавливает великие цели и составляет планы использования всех национальных ресурсов для достижения общих целей… он дает национальной жизни ее истинный смысл и значение»[19].

Отношение и мотивация современных интеллектуальных телохранителей государства из системы национальной безопасности были едко описаны Маркусом Раскиным, который состоял членом Совета государственной безопасности в администрации Кеннеди. Обозвав их «смертоносными интеллектуалами», Раскин писал, что

> их основная функция состоит в том, чтобы оправдывать и расширять существование своих нанимателей… Чтобы оправдывать сохранение широкомасштабного производства [термоядерных] бомб и ракет, военные и промышленные руководители нуждаются в теории, которая обосновывала бы их использование… Это стало особенно необходимым в конце 1950-х, когда встревоженные ростом расходов

> члены администрации Эйзенхауэра поставили вопрос о том, зачем тратить столько денег, материальных и интеллектуальных ресурсов на оружие, использование которого не оправданно. Так начался поиск обоснований, которыми занялись «интеллектуалы от обороны» как в университетах, так и за их стенами… Военные закупки будут увеличиваться, а они будут доказывать, почему это необходимо. В этом отношении они не отличаются от подавляющего большинства современных специалистов, которые принимают позиции нанимающих их организаций как свои собственные, потому что это вознаграждается деньгами, влиянием и престижем… Они достаточно знают о жизни, чтобы не ставить под сомнение право своих работодателей на существование[20].

Это не значит, что интеллектуалы всегда и везде были «придворными учеными», служителями и младшими партнерами власти. Но в истории цивилизации это было правилом – обычно этим занимались жрецы и священнослужители, так же как правилом была та или иная форма деспотизма. Были, конечно, и прославленные исключения, особенно в истории западной цивилизации, где интеллектуалы нередко оказывались проницательными критиками и оппонентами государственной власти, использовавшими свои интеллектуальные возможности для создания теоретических систем, которые были способны помочь в освобождении от этой власти. Но эти интеллектуалы неизменно имели возможность превратиться в существенную силу, только когда они могли опереться на независимый источник власти, на владельцев собственности за пределами государственного аппарата. Потому что там, где государство контролирует всю собственность, все богатства и источники занятости, каждый экономически зависит от него, а независимой критике опереться просто не на что. Интеллектуальная критика получила развитие только на Западе с его децентрализацией власти, независимыми источниками собственности и занятости, а значит, и с наличием базы, позволяющей критически отнестись к государству. В Средние века римско-католическая церковь существовала по меньшей мере отдельно, а пожалуй, и независимо от государства, кроме того были еще новые вольные города, способные служить центрами интеллектуальной и политической оппозиции. В более позднюю эпоху в уже сравнительно свободном обществе учителя, священники и публицисты могли использовать свою независимость от

государства для агитации за дальнейшее расширение свободы. И, наоборот, один из первых либертарианских философов Лао-Цзы, живший в деспотических условиях Древнего Китая, видел единственную возможность достижения свободы в условиях тоталитарного общества в стремлении к созерцанию, вплоть до полного отказа индивида от участия в общественной жизни.

В условиях децентрализованной власти, церкви, отделенной от государства, процветающих больших и малых городов, развивавшихся за пределами феодальной структуры, – словом, в условиях сравнительной свободы экономика Западной Европы смогла в своем развитии превзойти достижения всех прежних цивилизаций. Более того, в племенном строе германских и особенно кельтских народов, ставших преемниками распавшейся Римской империи, были сильны либертарианские элементы. В отсутствие мощного государственного аппарата, владеющего монополией на насилие, споры между членами племен разрешались старейшинами, выносившими решения в соответствии с обычаями и общим правом. Вождем обычно был предводитель дружины, к которому обращались только в случае войны с другими племенами. У племен не было постоянной военной бюрократии. В Западной Европе, как и во многих других цивилизациях, государство обычно возникало не вследствие заключения добровольного общественного договора, а в результате завоевания одного племени другим. В результате первоначальная свобода племени или крестьянства становилась жертвой завоевателей. В ранние времена победившее племя убивало побежденных и уходило с добычей. Позднее победители решили, что выгоднее будет поселиться рядом с покоренным крестьянством, чтобы править им и грабить его на постоянной основе. Периодический сбор дани с покоренных крестьян, в конце концов стал известен как налогообложение. С течением времени вожди племен раздавали земли крестьянства своим военачальникам, которые получили возможность зажить оседлой жизнью и собирать с крестьянства феодальную ренту. Крестьян часто обращали в рабов, вернее в крепостных, т.е. прикрепляли к земле, чтобы иметь постоянный источник доступного для эксплуатации труда[21].

Можно привести несколько известных примеров того, как в результате завоевания возникло современное государство. Например, так произошло в ходе покорения Латинской Америки испанцами. Испанцы не только включали индейцев в состав своих государств, но и наделяли землями своих солдат, которые стали жить на ренту с крестьянских хозяйств. Другим примером может служить государство, созданное норманнами после завоевания

Англии в 1066 году. Земля Англии была разделена между норманнскими предводителями, сформировавшими государство и феодальный аппарат управления завоеванным населением. Для либертарианца самым интересным и безусловно самым горестным примером создания государства в результате завоевания служит разрушение либертарианского общества древних ирландцев англичанами в XVII веке, в результате чего Ирландия стала частью империи, а многие ирландцы лишились земли. Просуществовавшее тысячи лет либертарианское общество Ирландии, о котором речь пойдет ниже, смогло сопротивляться английским завоевателям еще сотни лет, потому что там не было государства, которое нетрудно покорить, а потом использовать для господства над местным населением.

Хотя на всем протяжении истории Запада интеллектуалы выдвигали теории, нацеленные на сдерживание и ограничение государственной власти, каждое государство сумело использовать собственных интеллектуалов для того, чтобы с помощью их идей легитимировать дальнейшее расширение своей власти. Так, концепция божественного права королей первоначально была выдвинута в Западной Европе церковью для ограничения государственной власти. Идея заключалась в том, что король не может действовать по собственному произволу. Его указы должны согласовываться с божественным правом. Но по мере укрепления режима абсолютной монархии короли сумели свести эту концепцию к идее, что Бог одобряет все действия короля, а потому божественное право всегда на его стороне.

Сходным образом концепция парламентской демократии первоначально была направлена на ограничение абсолютной власти монарха. Власть короля была ограничена согласием парламента финансировать его расходы из налоговых поступлений. Однако постепенно парламент заменил короля в качестве главы государства и сам превратился в неограниченного суверена. В начале XIX века английские утилитаристы, требовавшие дополнительных личных свобод во имя общественной пользы и общего благосостояния, стали свидетелями того, как на основании этих концепций было санкционировано расширение власти государства.

Вот что пишет об этом де Жувенель:

> Многие авторы теорий суверенитета разрабатывали те или иные механизмы ограничения [власти]. Но в итоге каждая из этих теорий рано или поздно утрачивала первоначальный смысл и начинала служить простым трамплином для власти, обеспечивая ей

> могущественную помощь невидимого владыки, с которым со временем власть успешно начинала отождествлять себя[22].

Самой амбициозной исторической попыткой ограничить полномочия государства был, конечно же, Билль о правах и другие ограничительные части Конституции Соединенных Штатов. Здесь закрепленные на бумаге ограничения правительственной власти стали основным законом государства; его истолкование было возложено на суд, который предполагался независимым от других ветвей власти. Все американцы знакомы с подтвердившим пророческий анализ Джона К. Калхуна процессом, в ходе которого государственный суд на протяжении полутора столетий непреклонно расширял полномочия государства. Но мало кто оказался столь же проницательным, как приветствовавший этот процесс либеральный профессор Чарльз Блэк, который увидел, что государство может превратить судебный надзор из механизма ограничения в могущественный инструмент легитимации своих действий в глазах публики. Если судебный вердикт «неконституционно» является мощным ограничителем государственной власти, то и вердикт «конституционно» является столь же мощным инструментом обеспечения общественной поддержки расширения правительственных полномочий.

Профессор Блэк начинает свой анализ с указания на критическую роль легитимности для любого правительства, стремящегося к устойчивости, поскольку речь идет о том, что правительство и его действия получают поддержку большинства. Но идея легитимности превращается в настоящую проблему в стране вроде Соединенных Штатов, где «в теорию, на которую опирается правительство, встроены материально-правовые ограничения». Необходим, добавляет Блэк, метод, посредством которого правительство могло бы убедить публику, что расширение его полномочий «конституционно». В этом, заключает он, и состояла главная историческая функция судебного надзора. Предоставим самому Блэку возможность проиллюстрировать эту проблему:

> Главная опасность [для правительства] – это недовольство и чувство возмущения, охватившие население, и утрата морального авторитета правительством как таковым. И не имеет значения, сколь долго правительство сможет продержаться, опираясь на силу, инерцию или отсутствие приемлемых альтернатив. Когда полномочия государства ограничены, почти

> каждый рано или поздно подвергается воздействиям правительства, которые, с его частной точки зрения, выходят за рамки полномочий или просто запрещены законом. Человека призывают в армию, хотя в конституции нет ни слова о призыве… Фермеру говорят, сколько пшеницы он может вырастить, и он обнаруживает, что некие почтенные юристы согласны с ним в том, что у правительства не больше прав диктовать ему, сколько пшеницы выращивать, чем говорить его дочери, за кого ей идти замуж. Человека отправляют в федеральную тюрьму за откровенное высказывание, и он меряет шагами камеру, повторяя:«Конгресс не должен принимать законы, ограничивающие свободу слова»… Бизнесмену указывают, каковы должны быть его требования к качеству пахты.
>
> Достаточно реальна опасность, что каждый из этих людей (а кто не принадлежит к их числу?) сопоставит концепцию ограниченного правления с фактами (как он их видит) ужасающих нарушений установленных ограничений и придет к очевидному выводу относительно легитимности своего правительства[23].

Эта опасность отведена, добавляет Блэк, тем, что государство предложило доктрину, согласно которой необходимо *некое единое ведомство*, способное выносить окончательный вердикт о конституционности, и этот орган должен быть частью федерального правительства. Ведь хотя кажущаяся независимость федерального суда способствовала тому, что для большинства населения его решения превратились буквально в Священное писание, не менее верно и то, что суд является неотъемлемой частью государственного аппарата, а его члены назначаются законодательной и исполнительной ветвями власти. Профессор Блэк признает, что таким образом правительство сделало себя судьей в собственном деле и тем самым нарушило базовый принцип юриспруденции, устанавливающий критерии справедливого суда. Но Блэк поразительно беспечно относится к этому фундаментальному нарушению: «В конечном счете полномочия государства… должны остановиться там, где их остановит закон. Кто же поставит предел, и кто потребует от этой самой могущественной власти остановиться? Да само государство, разумеется, – через своих судей и свои законы. Кто управляет воздержанным? Кто учит мудрого?»[24] Таким образом, Блэк признает: когда у нас есть государство, мы

передаем все наше оружие и средства принуждения государственному аппарату, мы вручаем все наши полномочия на принятие окончательных решений этой обожествленной группе, а *после* нам остается только тихо сидеть и ждать, когда из этих учреждений на нас прольется бесконечный поток справедливости, хотя, по сути, они являются судьями в собственном деле. Блэк не видит разумных альтернатив принудительной монополии судебных решений, проводимых в жизнь государством, ***но именно здесь наше новое движение бросает вызов распространенному мнению и утверждает, что есть жизнеспособная альтернатива* –либертарианство**.

Не видя подобного варианта, профессор Блэк в своей защите государства впадает в мистицизм, потому что в конце концов приходит к выводу, что «только в порядке чуда» можно ждать справедливости и легитимности, когда государство постоянно выступает судьей в собственном деле. В этом либерал Блэк присоединяется к консерватору Бернэму, поскольку оба надеются на чудо и оба тем самым признают, что не существует удовлетворительного рационального аргумента в поддержку государства[25].

Применив свое реалистичное понимание Верховного суда к знаменитому конфликту между Судом и «новым курсом» Рузвельта в 1930-х годах, профессор Блэк распекает своих либеральных коллег за недальновидность их попыток помешать «новому курсу»:

> Стандартная история отношений между «новым курсом» и Судом, хотя по-своему и точна, но смещает акценты… Сосредоточиваясь на трудностях, почти всегда забывают о том, чем все завершилось. Развязкой стало (и я люблю это подчеркивать) то, что после примерно двадцати четырех месяцев препирательств… Верховный суд – без изменения закона о его составе и без изменения самого состава– **утвердил легитимность «нового курса» и всей новой концепции системы правления в Америке**[26].

Таким образом, Верховный суд сумел успокоить большое число американцев, подозревавших, что «новый курс» нарушает конституцию:

> Не все, разумеется, были удовлетворены. Пепел Клааса еще стучит в сердцах горстки фанатиков установленного конституцией режима экономической свободы, засевших в своей башне из слоновой кости. Но

зато развеяны опасные сомнения публики в конституционных полномочиях Конгресса обходиться с национальной экономикой так, как он это делает… У нас не было других средств, кроме Верховного суда, для придания легитимности «новому курсу»[27].

Итак, даже в Соединенных Штатах, отличающихся наличием конституции, которая была честно предназначена для того, чтобы строго и формально ограничить действия правительства, даже здесь эта конституция оказалась инструментом одобрения экспансии государства, а не наоборот. Как и предвидел Калхун, любые ограничения, дающие правительству возможность толковать вопрос о пределах своих полномочий, неизбежно будут интерпретированы как санкция на расширение, а не на ограничение этих пределов. Идея строго ограниченного правления оказалась утопичной; нужно найти другие, более радикальные средства предотвращения роста агрессивного государства. Либертарианская система решит эту проблему, просто отправив на свалку истории идею создания правительства – учреждения, имеющего монополию на применение силы на данной территории, а потом найдет способы удержать правительство от расширения. Либертарианская альтернатива заключается в том, чтобы для начала воздержаться от создания правительства с такими монопольными полномочиями.

В следующих главах мы подвергнем исследованию идею безгосударственного общества, не имеющего формального правительства. Главное – отказаться от привычного подхода и рассмотреть аргумент в пользу государства *de novo**(*Заново (лат.)*). Давайте переступим через тот факт, что, как мы помним, государство обладало монополией на суд и охрану порядка. Представим, что мы начинаем все с нуля, что нас миллионы и что мы, обладая достаточным уровнем знания и опыта, попали на Землю с какой-то другой планеты. Начинается спор о том, как организовать защиту (суд и полицию). Кто-то предлагает: «Давайте отдадим все наше оружие Джо Джонсу и его родне. Пусть они разрешают все споры между нами. Тогда Джонсы смогут защитить всех нас от агрессии и мошенничества. Когда Джонсы смогут принимать окончательные решения по всевозможным спорам, мы будем защищены друг от друга. А еще нужно разрешить Джонсам получать доход за свои ценные услуги с помощью оружия – пусть они с помощью принуждения добывают столько, сколько захочется».Очевидно, что в ситуации такого рода подобное предложение будет дружно высмеяно. Ведь каждый поймет, что при этом раскладе никто из нас не сможет

защитить себя от агрессии или хищничества самих Джонсов. Не найдется глупца, чтобы на древний и самый важный вопрос: «Кто будет караулить охранников?» – ответить с жизнерадостностью профессора Блэка: «Кто управляет воздержанным?» За тысячи лет мы привыкли к существованию государства, и только поэтому даем именно такой абсурдный ответ на вопрос о защите общества.

Государство, естественно, никогда не начиналось с такого рода общественного договора. Как отметил Оппенгеймер, государство обычно зарождалось в ходе завоевания, и даже если порой оно возникало в результате внутренних процессов, не может быть никакой речи об общем согласии или договоре.

В нескольких словах либертарианское кредо может быть изложено так: 1) абсолютное право каждого человека на свое тело, 2) столь же абсолютное право человека на владение и использование тех материальных ресурсов, которые он нашел и преобразил, и, соответственно, 3) абсолютное право обменивать или отдавать собственность тому, кто захочет ее выменять или получить. Как мы убедились, каждый из этих пунктов включает права *собственности*, но даже если назвать первый из этих трех пунктов правами личности, мы немедленно обнаруживаем, что проблемы личной свободы неразрывно связаны с правами собственности на материальные объекты или со свободой обмена. Короче говоря, права на личную свободу и на свободу предпринимательства почти неизменно взаимосвязаны и не могут быть разделены.

Мы убедились, что осуществление, к примеру, свободы слова почти всегда предполагает экономическую свободу, т.е. свободу владения материальной собственностью и свободу ее обмена. Чтобы реализовать право на свободу слова, нужно собрать митинг, а для этого нужно арендовать зал; чтобы добраться до зала, нужно использовать дороги и какой-то вид транспорта и т.д. Вопрос о свободе печати еще более наглядно связан со стоимостью тиражирования текстов, использованием типографий и продажей брошюр – короче говоря, со всеми компонентами экономической свободы. Более того, наш пример с криком «Пожар!» в заполненном зрителями театре помогает понять, *чьи* права подлежат защите в данной ситуации, и главный критерий здесь – права собственности.

Часть II. Либертарианский подход к современным проблемам

4. Проблемы

Попробуем провести краткую ревизию основных проблем нашего общества и посмотрим, не обнаружится ли в них некая сквозная тема.

Высокие налоги. Высокие и продолжающие расти налоги, приводят в возмущение почти каждого; они сковывают производство, инициативу и стремление к развитию, а также предприимчивость. На федеральном уровне усиливается несогласие с подоходным налогом, и растет широкое, имеющее собственные организации и печатные издания движение против налогов, участники которого отказываются платить налог – по их мнению, грабительский и неконституционный. На уровне штатов и округов нарастает недовольство непомерными налогами на недвижимость. Так, на выборах 1978 года рекордные 1,2 млн. калифорнийских избирателей подписали петицию в поддержку Инициативы Джарвиса–Ганна, известной также как «Предложение 13»,в соответствии с которой был резко (на две трети, до 1%) и навсегда понижен налог на недвижимость.

Более того, Инициатива Джарвиса–Ганна фактически обеспечила невозможность увеличения налога на недвижимость. Выше уровня в 1% его можно поднять только двумя третями голосов всех зарегистрированных избирателей штата Калифорния. А чтобы не позволить властям компенсировать себе эти потери, повысив какой-либо другой налог, Инициатива также установила, что увеличить любой налог можно только двумя третями голосов членов законодательного собрания штата.

Более того, в конце 1977 года тысячи домовладельцев округа Кук в штате Иллинойс приняли участие в налоговой забастовке, причиной которой стало резкое повышение налога на недвижимость вследствие увеличения оценочной стоимости строений, учитываемой при его расчете.

Вряд ли нужно в очередной раз повторять, что налогообложение – дохода, собственности или чего угодно другого – это исключительная монополия правительства. Никакой частный человек или организация не имеют права взимать налоги, т.е. получать доход с помощью принуждения.

Финансовый кризис городов. По всей стране штаты и местные органы власти сталкиваются с трудностями при уплате процентов и основной суммы задолженности. Город Нью-Йорк первым объявил частичный дефолт по погашению договорных обязательств. Финансовый кризис городов – это результат того, что городские власти расходуют так много, что им не хватает

даже тех денег, которые они выкачивают из нас с помощью раздутых налогов. Здесь, как и в других случаях, власти городов и штатов тратят столько, сколько считают нужным, и винить в этом можно только правительство.

Вьетнамская кампания и другие военные операции за рубежом. Война во Вьетнаме оказалась настоящей катастрофой для американской внешней политики, а в начале 1975 года, после того как бесчисленное множество людей было убито, страна разрушена и потрачены огромные средства, поддержанное американцами правительство рухнуло. Вьетнамская катастрофа стала причиной пересмотра интервенционистской внешней политики Америки и частично содействовала решению Конгресса прекратить военное вмешательство США в Анголе. Внешняя политика, разумеется,– это также исключительная монополия федерального правительства. Войну вели наши вооруженные силы, которые опять-таки воплощают монопольное право того же правительства на принуждение. Так что только правительство несет ответственность за эту войну и проблемы внешней политики в целом и во всех частностях.

Уличная преступность. Это, по определению, преступления, совершаемые на улицах. Практически все улицы являются собственностью правительства, имеющего, таким образом, монополию на эту разновидность недвижимости. Полиция, которая должна охранять нас от такого рода преступлений, – это также составляющая монополии правительства на принуждение. И суды, занимающиеся наказанием преступников,– тоже часть монополии правительства на принуждение. Таким образом, правительство несет ответственность за все аспекты проблемы уличной преступности. Этот провал, также как провал во Вьетнаме, должен быть отнесен исключительно на счет правительства.

Дорожные пробки. И они происходят опять-таки исключительно на принадлежащих правительству улицах и дорогах.

Военно-промышленный комплекс. Этот комплекс создан исключительно стараниями федерального правительства. Оно принимает решения о расходовании миллиардов долларов на смертоносное оружие, заключает контракты, субсидирует неэффективных подрядчиков, гарантируя им определенный процент дохода сверх себестоимости, строит заводы и сдает их в аренду или отдает подрядчикам. Разумеется, бизнес активно лоббирует все эти привилегии, но сам механизм привилегий и расточительного расходования ресурсов может существовать только благодаря правительству.

Транспорт. Транспортный кризис – это не только пробки на дорогах, но и упадок железных дорог, завышенные тарифы на авиаперевозки, перегруженность аэропортов и подземки (например, в Нью-Йорке) в часы пик, задыхающаяся от дефицита средств и явно грозящая крахом инфраструктура. Нужно учесть, что в XIX веке благодаря правительственным субсидиям (федеральным, региональным и местным) строительство железных дорог было избыточным, а железнодорожные перевозки были самой упорядоченной отраслью на протяжении огромного периода американской истории. Авиалинии подверглись картелизации в результате политики Управления гражданского воздухоплавания и получали огромные субсидии в виде контрактов на перевозку почты и практически бесплатных аэропортов. Все аэропорты для коммерческих линий принадлежат правительству (штатов или округов).Нью-йоркское метро десятилетиями было собственностью правительства.

Загрязнение рек. Реки, по сути дела, не принадлежат никому, иными словами, они представляют собой всеобщее достояние, находящееся в собственности правительства. Более того, именно очистные сооружения, принадлежащие муниципалитетам, сильнее всего и загрязняют реки. Таким образом, правительство одновременно выступает в роли беспечного собственника ресурса и является главным источником его загрязнения.

Нехватка воды. Нехватка воды имеет хронический характер в одних районах страны и время от времени обостряется в других, таких как город Нью-Йорк. И в этой ситуации тоже виновато правительство, являющееся 1) владельцем рек, из которых поступает большая часть воды для снабжения городов, и 2) буквально единственным коммерческим поставщиком воды, который владеет резервуарами и водопроводами.

Загрязнение воздуха. И здесь правительство, будучи собственником общественного достояния, «владеет» воздухом. Более того, ведь это суды, принадлежащие исключительно правительству, десятилетиями осознанно не предпринимали никаких мер по обеспечению наших прав собственности на здоровье и сады, не защищали их от загрязнения, создаваемого промышленностью. Более того, принадлежащие правительству заводы являются прямым источником немалой части загрязнения.

Дефицит электроэнергии и нарушения электроснабжения. Правительства штатов и местные власти создали монополии электро и газоснабжения, наделив монопольными привилегиями частные компании коммунального обслуживания, тарифы которым устанавливают правительственные агентства, обеспечивающие им постоянные фиксированные прибыли. И здесь

правительство явилось источником монополии и регулирования.

Телефонная связь. Причина низкого качества телефонных услуг, как и в предыдущих случаях, – это предоставленная правительством монопольная привилегия. Как и в случае с энергетикой, конкуренция с монопольными поставщиками услуг связи невозможна.

Почта. В отличие от работающих на конкурентных рынках частных производителей товаров и услуг почтовая служба, которая страдает от нехватки средств с самого момента своего создания, постоянно повышает цены и понижает качество услуг. Клиенты, отправляющие корреспонденцию первым классом, вынужденно субсидируют тех, кто использует услуги второго и третьего классов. С конца XIX века почтовая служба представляет собой правительственную монополию. Всякий раз, когда частным фирмам разрешали выйти на рынок доставки корреспонденции, они неизменно оказывали более дешевые и более качественные услуги.

Телевидение. Телевидение – это слащавые программы и искаженные новости. Радио- и телеканалы более полувека назад были национализированы федеральным правительством, которое раздает их в дар привилегированным вещателям, но всегда может лишить их лицензии, если содержание передач придется не по вкусу Федеральной комиссии по связи. Каким образом в подобных условиях возможна подлинная свобода слова?

Система социального обеспечения. Социальное обеспечение, разумеется, предоставляется правительством, преимущественно местными властями и властями штатов.

Городское жилищное хозяйство. Не считая дорожных пробок, это – одна из самых проблемных сфер городской жизни. Мало отраслей, которые были бы столь же тесно связаны с правительством. Городское строительство жестко регулируется муниципальными властями. Законы о зонировании ввели множество ограничений на использование земли и жилищное строительство. Налоги на недвижимость вынуждают людей бросать свои дома и уродуют городскую застройку. Строительные нормы и правила повысили стоимость строящегося жилья. Программы реконструкции городских зданий субсидируют строительные компании, которые стимулируют снос многоквартирных домов, уменьшают объем городского жилого фонда и обостряют расовую дискриминацию. Обширные правительственные кредиты обеспечивают стимулирование избыточного строительства в пригородах. Установление потолка арендной платы создало дефицит жилья и понизило объем жилищного строительства.

Профсоюзные стачки и ограничения. Профсоюзы мешают жить многим и наносят ущерб экономике, но только в результате ряда предоставленных им правительством особых привилегий, прежде всего по закону Вагнера 1935 года, который обязывает работодателей вести переговоры с профсоюзом, получившим большинство голосов работников предприятия.

Образование. Государственные школы, некогда пользовавшиеся в Америке таким же уважением, как материнство и государственный флаг, сегодня подвергаются нападкам со всех сторон. Даже их сторонники не рискнут утверждать, что государственные школы дают сносное образование. А недавно мы стали свидетелями крайних случаев, в которых действия государственных школ вызвали ярость в столь несхожих районах, как южный Бостон и округ Канова в штате Западная Виргиния. Государственные школы принадлежат государству и находятся в подчинении у местных властей, которым федеральное правительство оказывает материальную помощь и действия которых оно координирует. В стране действует закон об обязательном образовании, в соответствии с которым все дети школьного возраста обязаны посещать школы – государственные или частные, если последние имеют государственную лицензию. Высшее образование сегодня также во многом подчинено правительству: многие университеты принадлежат государству, другие систематически получают государственные гранты, субсидии и контракты.

Инфляция и стагфляция. Соединенные Штаты, как и весь остальной мир, уже многие годы страдают от хронической инфляции, сопровождаемой высокой безработицей и рецессиями (стагфляцией). Ниже мы поговорим о причинах столь неблагоприятного развития, а здесь отметим только, что главной причиной этого является неуклонное увеличение количества денег в обращении, т.е. очередная монополия федерального правительства. Жизненно важную часть денежного обращения обеспечивают кредитные деньги, эмитируемые банковской системой, которая полностью контролируется федеральным правительством и его Федеральной резервной системой.

Уотергейт. Наконец, нужно назвать и пережитый американцами психологический шок, известный как Уотергейт. Уотергейт означал полную дискредитацию президента и таких прежде обладавших почти сакральным статусом организаций, как ЦРУ и ФБР. Нарушение неприкосновенности жилища, введение публики в заблуждение, коррупция, многократные и систематические нарушения закона президентом страны стали причинами казавшегося невозможным импичмента и утраты

доверия к государственным и политическим деятелям. Властям так и не удалось восстановить прежнее наивное доверие публики к институтам власти. Либеральный историк Сесилия Кэньон некогда за недоверие к правительственным организациям подвергла суровой критике антифедералистов, защитников Статей Конфедерации[1*] и противников конституции. Возможно, она была бы менее наивной, если бы писала эту статью после Уотергейта[2].

Уотергейт, разумеется,– чисто правительственное явление. Президент является главой всей исполнительной власти, а инструментами его преступной деятельности были ФБР и ЦРУ, также государственные учреждения. Уотергейт, как легко понять, пошатнул доверие к правительству.

Если окинуть взглядом ключевые проблемы нашего общества, зоны кризисов и провалов, в каждой из них мы найдем объединяющую сквозную тему – тему правительства. В каждом из отмеченных нами случаев правительство либо полностью, либо частично контролировало соответствующую деятельность. Джон Кеннет Гэлбрейт в своем бестселлере «Общество изобилия» верно подметил, что государственный сектор стал средоточием наших социальных болезней. Но из этой предпосылки он сделал неверный вывод, что правительству не хватает средств, а потому нужно дополнительно усилить государственную экономику за счет средств частного сектора. Гэлбрейт пренебрег тем фактом, что за последнее столетие, а особенно за последние десятилетия роль американского правительства на всех уровнях колоссально увеличилась в абсолютном и относительном измерениях. К сожалению, Гэлбрейт так и не поднял вопрос: а нет ли в самой правительственной деятельности некоего внутреннего порока, порождающего множащиеся проблемы и неудачи? Мы проведем исследование ряда главных проблем правления и свободы в Америке, выявим источники провалов и предложим решения с позиции либертарианского подхода.

5. Принудительный труд

Если есть что-то, чего либертарианец категорически не приемлет, то это принудительный труд, подневольное служение, отказывающее людям в самом элементарном праве собственности на самих себя. Свобода и рабство всегда находились на разных полюсах. Таким образом, либертарианец решительно не приемлет рабства[1].Кто-то может возразить, что в наши дни это вопрос исключительно теоретический. Где вы видите рабство? Но как еще можно назвать ситуации, когда а) людей заставляют выполнять распоряжения работодателя; и б) платят при этом сущие гроши или, во всяком случае меньше, чем работающий подневольно получил бы в случае добровольной сделки? Короче говоря, это принудительный труд при оплате ниже рыночного уровня.

Итак, действительно ли сегодняшняя Америка свободна от рабства, от недобровольного оказания услуг? Действительно ли соблюдается запрет, сформулированный в Тринадцатой поправке?[2]

Воинская повинность

Трудно найти более очевидный пример принудительного труда, чем вся наша система *воинского призыва*. Каждый юноша по достижении восемнадцати лет обязан зарегистрироваться как военнообязанный. С этих пор он должен постоянно иметь при себе призывное свидетельство, а когда федеральное правительство сочтет нужным, он будет призван и отправлен в вооруженные силы. Здесь его тело и воля перестанут принадлежать ему, поскольку отныне он обязан выполнять распоряжения командиров, в том числе приказы убивать и рисковать собственной жизнью. Чем еще является воинский призыв, как не принудительным трудом?

Все аргументы в пользу призывной системы проникнуты утилитарными соображениями. Правительство использует следующий аргумент: *кто* защитит нас от нападения извне, если мы не будем использовать систему обязательной службы в армии? У либертарианца на это есть несколько возражений. Прежде всего, если вы, я и наш сосед думаем, что нуждаемся в защите, ***у нас нет морального права прибегать к принуждению с помощью штыка или револьвера, чтобы заставить кого-то другого защищать нас***. Призыв в армию в такой же мере

является неоправданной агрессией, может считаться похищением человека и привести к его убийству, как и та агрессия, которую мы признаем в качестве таковой и пытаемся предотвратить. Если же скажут, что призывники в случае необходимости обязаны отдать свою жизнь обществу или своей стране, мы вынуждены будем спросить: *что же* такое эти общество или страна – понятия, которые используются для оправдания порабощения? Оказывается, что это просто-напросто все люди, живущие на данной территории, *за исключением* призванных в вооруженные силы молодых людей. В таком случае ***общество и страна – всего лишь мифические абстракции, использующиеся для прикрытия принуждения, осуществляемого в интересах неких лиц***.

Далее, если обратиться к практическим соображениям, *почему* считается нужным призывать защитников родины? Никого не призывают на свободный рынок, хотя на рынке люди посредством добровольных покупок и продаж получают всевозможные товары и услуги, в том числе самые необходимые. На рынке люди могут приобрести и приобретают пищу, жилье, одежду, медицинскую помощь. Почему бы им заодно не нанять себе защитников? Ведь если ежедневно множество людей нанимают для выполнения опасных работ – тушения лесных пожаров, охраны лесов, испытания новых моделей самолетов, работы в полиции и в частной охране, то почему бы точно так же не нанимать солдат?

Или другой пример: на правительство работают тысячи разных людей – от шоферов грузовиков до ученых и типографов. Как же получается, что никого из них не приходится призывать на службу? Почему не существует нехватки людей гражданских профессий и правительству не приходится обращаться к мерам принуждения, чтобы обеспечить свои потребности в специалистах? Можно задать вопрос иначе. Даже в армии нет нехватки офицеров, их не приходится призывать, так же как никто не мобилизует на службу генералов и адмиралов. Ответ на эти вопросы прост: правительство не страдает от нехватки типографов, потому что в случае нужды оно отправляется на рынок и нанимает их по рыночным ставкам, и недостатка в генералах у него нет, потому что платят им не скупясь – жалованье, должностные надбавки, пенсии. А вот рядовых не хватает, потому что платят им – вернее, платили до самого недавнего времени – намного меньше, чем заплатили бы на рынке. Даже если учитывать стоимость бесплатного питания, крыши над головой и других услуг, которыми обеспечены рядовые, их заработки составляли примерно половину того, что они могли бы зарабатывать на гражданской службе. Что же

удивительного, что вооруженные силы страдают от хронической нехватки рядовых чинов? Ведь всегда было известно, что если тебе нужны добровольцы для опасной работы, нужно дополнительно платить за риск. Но правительство платило людям вполовину меньше того, что они могли бы заработать на более спокойном месте[3].

Особенно унизительна ситуация с врачами, которых забирают в армию в возрасте, когда все остальные специальности уже могут не опасаться призыва. Врачей что, наказывают за то, что они решили стать медиками? Что может служить моральным оправданием тяжкого бремени, возлагаемого на людей этой чрезвычайно важной профессии? Что же это за способ решения проблемы дефицита врачей – довести до всеобщего сведения, что если ты решишь стать врачом, то тебя заберут в армию, причем в весьма зрелом возрасте? Повторим еще раз, потребность вооруженных сил в медиках легко удовлетворить, если правительство решится установить военным врачам заработную плату в соответствии с рыночными ставками и к тому же будет выплачивать им надбавку за риск. Когда правительству нужны ядерные физики или специалисты по стратегии, оно предлагает им очень хорошее жалованье. А врачи что, низшая каста?

Армия

Хотя призыв в вооруженные силы представляет собой тяжелую форму подневольности, есть и другая, более тонкая и, соответственно, менее распознаваемая форма: устройство армейской жизни. Подумайте сами: в какой еще профессии дезертирство, т.е. отказ от дальнейшей работы на определенном рабочем месте, наказывается с такой суровостью – тюрьмой, а порой и смертной казнью? Если кто-то решит бросить работу на General Motors, разве его расстреляют на рассвете?

Могут возразить, что в случае военнослужащих солдаты и офицеры добровольно берут на себя обязательство отслужить определенный срок, а потому они обязаны служить до его истечения. Но ведь сама идея срока службы является лишь частью проблемы. Представьте себе, например, что инженер подписал контракт с ARAMCO и теперь обязан отработать три года в Саудовской Аравии. Через несколько месяцев он решает, что эта жизнь не для него и уезжает назад в Штаты. Понятно, что он не выполнил взятые обязательства – нарушил условия договора. Но разве закон преследует такого рода нарушения обязательств? Короче говоря, может и должна ли правительственная монополия

вооруженных сил принуждать солдата оставаться на посту до конца установленного срока? Если да, то перед нами принудительный труд и порабощение. Потому что военнослужащий действительно подписался на определенный срок, но в свободной стране его тело остается его личной, причем исключительной собственностью. На практике, да и в либертарианской теории, можно критиковать инженера за нарушение обязательства, можно занести его имя в черный список, чтобы предупредить другие нефтяные компании, можно заставить его вернуть подъемные, но никто не может удержать его на службе в ARAMCO на весь трехлетний период.

Но если это верно в отношении ARAMCO, любой другой корпорации или работы в частном секторе, почему в армии должно быть иначе? Если человек подписался на семь лет, но убывает досрочно, нужно ему это позволить. Он потеряет право на пенсию, будет подвергнут моральному осуждению и окажется в черном списке, но, владея своим собственным телом, он не может быть порабощен против своей воли.

Могут возразить, что вооруженные силы – это чрезвычайно важная организация, а потому она нуждается в подобных принудительных санкциях, без которых обходятся другие виды деятельности. Оставим в стороне такие важные сферы деятельности, как медицина, сельское хозяйство и транспорт, где без подобных методов, несомненно, можно обойтись, а обратимся к сходной профессии защитников в гражданской жизни – к полиции. Нет сомнений, что полиция выполняет столь же важную, а возможно, и более важную функцию, но при этом каждый год люди нанимаются на работу в полицию и увольняются оттуда, и никто не пытается связать их заранее оговоренным сроком службы. Либертарианцы требуют не только покончить с призывом в вооруженные силы, но предлагают полностью отказаться от концепции *срока* службы и предполагаемой ею практики рабства. Пусть вооруженные силы действуют, как полиция, пожарные, лесничие или частные охранные агентства – не порабощая людей и не прибегая к принудительному труду.

Но армия, даже совершенно добровольная, заслуживает того, чтобы о ней было сказано еще несколько слов. Американцы почти совсем забыли о самом благородном и мощном элементе своего исторического наследия, о принципиальном неприятии регулярной армии как таковой. Государство, постоянно имеющее в своем распоряжении регулярные вооруженные силы, неизбежно будет испытывать искушение использовать их, причем использовать агрессивным, интервенционистским и

воинственным образом. Хотя о внешней политике мы будем говорить ниже, ясно, что для государства постоянная армия – это регулярное искушение расширить свою власть, помыкать другими людьми и странами, господствовать во внутренней жизни своей страны. Первоначальной целью джефферсоновского движения – мощного либертарианского фактора американской политической жизни – было упразднение регулярной армии и флота. На заре своей истории американцы полагали, что если на них нападут, граждане поспешат сплотиться, чтобы дать отпор захватчику. При таком подходе регулярная армия может привести только к неприятностям и к усилению государственной власти.

В своей отважной пророческой атаке на конституцию, предложенную собранию Виргинии, Патрик Генри предостерегал от создания регулярной армии: «Конгресс, имеющий право взимать налоги, собирать армию и контролировать вооруженное ополчение, в одной руке держит меч, а в другой – кошелек. Будем ли мы в безопасности без того и другого?»[4] Любая регулярная армия – это регулярная угроза свободе. Ее монополия на применение вооруженной силы плюс современная тенденция поддерживать военно-промышленный комплекс, снабжающий ее оружием, и последнее по порядку, но не по значению, как отмечает Патрик Генри, право взимать налоги для финансирования этой армии создают постоянную угрозу неуклонного наращивания размера и власти армии. Либертарианцы, естественно, против любых учреждений, существующих на налоговые средства, поскольку результатом их деятельности являются принуждение и насилие. Но армия отличается от всех них еще и ужасающей концентрацией современного разрушительного оружия.

Запрет забастовок

4 октября 1971 года президент Никсон использовал закон Тафта– Хартли, чтобы добиться судебного решения о приостановке на 80 дней забастовки докеров, что стало девятым случаем использования федеральным правительством этого закона для борьбы с бастующими докерами. Несколькими месяцами раньше глава нью-йоркского профсоюза учителей на несколько дней отправился в тюрьму за нарушение закона, запрещающего бастовать государственным служащим. Уставшая от беспорядков публика была бесконечно рада прекращению забастовки. Но результатом такого решения проблемы стал принудительный труд – рабочих вынудили выйти на работу,

только и всего. У общества, заявляющего о недопустимости рабства, и у страны, поставившей вне закона принудительный труд, нет морального оправдания для любых решений суда, запрещающих забастовки или отправляющих в тюрьму непокорных профсоюзных лидеров. Рабство слишком часто удобно рабовладельцам.

На самом деле забастовка – это своеобразная форма отказа от работы. Забастовщики не просто отказываются работать, они еще утверждают, что неким образом, в каком-то метафизическом смысле, являются собственниками своих рабочих мест, имеют на них право и намерены на них вернуться, когда будут улажены спорные вопросы. Но в качестве средства борьбы с этой внутренне противоречивой политикой и подрывной деятельностью профсоюзов нужно не принимать законы, запрещающие бастовать, а напротив, отменять многие федеральные законы, а также законы на уровнях штатов и муниципалитетов, которые наделяют профсоюзы особыми привилегиями. И принципы либертарианства, и задачи обеспечения здоровья экономики требуют лишь одного – отмены этих особых привилегий.

Эти привилегии появились в федеральном праве с принятием закона Вагнера–Тафта–Хартли (первоначально 1935) и закона Норриса–Лагуардии (1931).Последний не позволял судам запрещать и прекращать забастовки, исключая случаи, когда профсоюзы применяют насилие, а первый обязывал работодателей вести переговоры с любым профсоюзом, получившим большинство голосов в рабочем коллективе – единице, произвольно определяемой федеральным правительством, а также запрещал работодателям принимать меры против организаторов профсоюза. Только после принятия закона Вагнера и предшествовавшего ему закона о восстановлении национальной промышленности от 1933 года профсоюзы смогли стать влиятельной силой в американской жизни. Только после этого их численность резко выросла от примерно 5% до более чем 20% всех занятых в производстве. Более того, местные законы и законы штатов часто защищают профсоюзы от штрафов, запрещают работодателям нанимать штрейкбрехеров, а полиции – подавлять насилие профсоюзных пикетов против штрейкбрехеров. Уберите эти особые привилегии, лишите профсоюзы иммунитета, и они не смогут оказывать заметного влияния на американскую экономику.

Для нашей этатистской эпохи характерен тот факт, что, когда общее недовольство профсоюзами привело в 1947 году к принятию закона Тафта–Хартли, правительство не отменило ни одну из этих привилегий. Вместо этого оно ввело особые

ограничения, сдерживающие созданную самим правительством власть профсоюзов. При наличии выбора государство естественным образом стремится укрепить, а не ослабить свою власть, а здесь сложилась своеобразная ситуация: правительство сначала раздуло власть профсоюзов, а потом ввело всякие сдерживающие ограничения. Это напоминает американские программы поддержки фермеров, когда одно управление министерства сельского хозяйства платит фермерам за *ограничение производства*, а другое подразделение того же министерства платит им за *повышение урожайности*. Все это выглядит совершенно иррационально с точки зрения потребителей и налогоплательщиков, но вполне логично с позиций получающих субсидии фермеров и укрепляющейся бюрократии. Таким образом и здесь противоречивая, казалось бы, политика государства по отношению к профсоюзам, во-первых, служит расширению возможностей правительства влиять на трудовые отношения и, вовторых, использует интегрированные во власть и этатистски мыслящие профсоюзы в качестве младшего партнера в политике вмешательства государства в экономику.

Налоговая система

В определенном смысле вся система налогообложения является формой принудительного труда. Возьмите, например, *подоходный налог*. Высокие ставки подоходного налога означают, что каждый из нас значительную часть года – несколько месяцев – работает на дядю Сэма, а только потом начинает работать на себя. В конце концов, рабство отчасти и заключается в том, что человек вынужден бесплатно или за малую плату работать на кого-то. А подоходный налог означает, что мы трудимся и зарабатываем только для того, чтобы правительство отняло у нас значительную часть заработанного для собственных целей. Что это, если не принудительный бесплатный труд?

Еще более наглядным примером принудительного труда является удержание подоходного налога у источника выплаты. Как давным-давно отметил отважный коннектикутский промышленник Вивьен Келлемс, работодателя принуждают тратить время, труд и деньги на то, чтобы начислить налоги за своих работников и переслать их на счета федерального и местного правительств, при этом издержки работодателя никак не возмещаются. Какой моральный принцип может оправдать эту практику, когда работодателей заставляют брать на себя роль бесплатных сборщиков налогов?

Принцип удержания подоходного налога у источника выплаты – это основа всей федеральной системы налогообложения. Без надежного и сравнительно безболезненного процесса удержания налога из заработной платы рабочих и служащих правительство не могло бы надеяться на достаточно полный сбор налогов с дохода наемных работников. Мало кто помнит, что эта система была введена только во время Второй мировой войны и предполагалось, что с окончанием войны от нее откажутся. Но, как и в случае многих других приемов государственного деспотизма, вызванная военной необходимостью мера вскоре превратилась в почтенную часть американской системы.

Примечательно, что федеральное правительство, которому Вивьен Келлемс поставил в упрек неконституционность системы удержания налога у работодателя, не приняло вызов. В феврале 1948 года мисс Келлемс, имевшая небольшое предприятие в Уэстпорте, штат Коннектикут, объявила, что намерена игнорировать закон о начислении подоходного налога за своих работников и впредь делать этого не будет. Она потребовала, чтобы федеральное правительство предъявило ей обвинение в суде с той целью, чтобы суд смог вынести решение о конституционности системы удержания налога у источника выплаты. Правительство отказалось подавать на нее в суд, а вместо этого удерживало соответствующие суммы с ее банковского счета. Тогда мисс Келлемс обратилась в федеральный суд с требованием обязать правительство вернуть удержанные с нее суммы. Суд состоялся в феврале 1951 года и присяжные решили, что правительство должно вернуть ей деньги. Но судебная проверка конституционности всей системы взимания подоходного налога так и не состоялась[5].

Чтобы добавить к несправедливости оскорбление, правительство заставляет индивидуального налогоплательщика так же бесплатно заполнять налоговую декларацию, т.е. выполнять трудоемкую и неблагодарную работу по вычислению того, сколько он должен правительству. И он также не имеет возможности предъявить правительству счет за труд и время, потраченные на ненужное ему лично счетоводство. Более того, закон, требующий от каждого подавать налоговую декларацию, является несомненным нарушением Пятой поправки к Конституции, запрещающей правительству принуждать кого-либо к даче показаний против самого себя. Однако суды, в менее щепетильных вопросах столь ревностно защищающие права, гарантированные Пятой поправкой, ничего не сделали там, где на кону оказались финансовые интересы разросшегося федерального

правительства. Отмена либо подоходного налога, либо практики взимания этого налога у источника выплаты, либо положений о даче показаний против самого себя вынудит правительство уменьшиться и вернуться к тому сравнительно скромному уровню властных полномочий, что существовал в стране до начала XX века.

Налог с розничного оборота, акцизные налоги и налог на входную плату также включают в себя принуждение к бесплатному труду – в этих случаях речь идет о неоплачиваемом труде владельцев соответствующих заведений на сбор налогов и перевод их на счета правительства.

У высоких издержек на сбор налогов для правительства есть еще один неприятный эффект, и не исключено, что власти предержащие сознательно повернули дело именно так. Эти издержки, вполне ничтожные для крупного бизнеса, оказываются непропорционально большими и тягостными для бизнеса малого. Тогда получается, что крупные предприятия охотно берут на себя эти издержки, зная, что на конкурирующие с ними малые компании они ложатся куда более тяжким бременем.

Суды

Принудительный труд пронизывает нашу правоохранительную и судебную практику. Так, весьма почитаемая судебная процедура опирается на *вынужденные показания*. Поскольку либертарианство исходит из того, что недопустимо всякое принуждение, любой принудительный труд в отношении любого человека, кроме осужденного преступника, то и вынужденные показания недопустимы. Надо признать, в последние годы суды стали лучше понимать требование Пятой поправки о невозможности принуждать обвиняемого к даче показаний против себя, чтобы получить доказательства для его осуждения. Законодатели существенно ослабили эту защиту принятием законов об иммунитете, защищающих человека от обвинения, если он даст показания против сообщников, т.е. фактически принуждающих преступников перейти в разряд свидетелей и давать показания против своих подельников. Но вынужденные показания – это то же принудительный труд; более того, он сродни киднэппингу, поскольку человека насильно заставляют явиться на судебные слушания, а затем исполнить труд по даче показаний. Проблема, однако, не только в законах об иммунитете свидетелей; проблема также в том, чтобы ликвидировать *любые* вынужденные признания, включая и вызов

в суд свидетелей преступления под страхом наказания в случае неявки, и последующее принуждение к даче показаний. В случае, когда нет вопроса о виновности свидетелей в совершении преступления, принуждение их к даче показаний еще менее оправдано, чем принуждение к даче показаний подсудимых.

По сути дела, должно быть отменено право вызывать человека в суд для дачи показаний, потому что оно является правом принуждения к участию в судебном процессе. Даже обвиняемого в преступлении не следует принуждать к присутствию на судебном заседании, потому что он еще не осужден. Если он и в самом деле, в соответствии с превосходными либертарианскими принципами англосаксонского права, считается невиновным, пока не доказано обратное, тогда у суда нет права заставлять обвиняемого присутствовать на собственном процессе. Вспомните, что Тринадцатая поправка устанавливает *единственное* исключение, допускающее принуждение, – это случай «наказания за преступление, за совершение которого лицо было должным образом осуждено». Но обвиняемый – еще не значит осужденный. Самое большее, на что суд должен иметь право, – это уведомить обвиняемого, что его будут судить, и *пригласить* его или его адвоката присутствовать на процессе, а если они решат воздержаться от участия, проводить суд *in absentia**(*Заочно (лат.)*).В этом случае, разумеется, интересы обвиняемого защищать будет некому.

И Тринадцатая поправка, и либертарианство делают исключение для осужденных преступников. Либертарианцы верят, что преступник теряет свои права в той мере, в какой он посягнул на права другого человека, а потому его можно отправить в заключение и принудить, соответственно, к недобровольному служению. В либертарианском мире, однако, *цель* заключения в тюрьму и наказания несомненно будет другой. В нем не будет окружного прокурора, который представляет в процессе несуществующее общество и от лица этого общества добивается наказания преступника. В этом мире обвинитель всегда будет представлять *конкретную жертву*, а целью наказания будет возмещение ущерба, понесенного жертвой преступления. Таким образом, целью наказания будет принуждение преступника возместить вред, причиненный им своей жертве. Подобная модель была реализована в Америке в колониальный период. Вместо того, чтобы сажать в тюрьму человека, обокравшего местного фермера, преступника передавали ему в кабалу, фактически делали его на время рабом, чтобы он работал на ферме до тех пор, пока не покроет весь нанесенный им ущерб. В Средние века главной целью наказания

также было возмещение вреда, причиненного жертве, и только по мере усиления государственной власти короли и бароны начали вмешиваться в процессы выплаты компенсации, так что конфискованное у преступников добро стало доставаться им, а не несчастной жертве. А когда акцент сместился с возмещения ущерба на возмездие за абстрактные преступления, «совершенные против государства», наказания стали более суровыми.

Как пишет профессор Шафер, «по мере того как государство монополизировало институт наказания, права пострадавшего стали постепенно обособляться от уголовного права». Или, как высказался на рубеже веков криминолог Уильям Таллак, «главным образом в силу ненасытной алчности феодальных баронов и церковных властей права потерпевшей стороны постепенно все более ущемлялись, пока не были целиком присвоены властями, которые теперь воздавали преступнику двойной мерой, присваивая его собственность себе, вместо того чтобы отдать потерпевшему, и вдобавок наказывая его заключением в тюрьму, пыткой, сожжением заживо на костре или виселицей. При этом интересы потерпевшей стороны были практически забыты»[6].

В любом случае, хотя либертарианец и не возражает против тюремного заключения как такового, он против некоторых особенностей нынешней пенитенциарной системы. Во-первых, он против длительного тюремного заключения обвиняемых, ожидающих суда. Конституционное право на безотлагательное судебное разбирательство – это не каприз, а требование минимизировать продолжительность *досудебного* заключения, по сути своей являющегося принудительным трудом. Собственно говоря, если не считать случаев, когда преступник был взят с поличным и есть достаточные основания считать его виновным, не может быть оправдано *никакое* предварительное заключение еще не осужденного человека. И даже когда преступник был взят с поличным, нужны существенные изменения в законодательстве, чтобы система была честной: полиция и другие власти должны быть подчинены тому же закону, что и все остальные. Ниже мы еще поговорим о том, что, если все обязаны соблюдать единые для всех законы уголовного права, освобождение властей от обязанности соблюдать закон дает им разрешение на постоянную агрессию против других. Полицейский, который ловит и арестовывает преступника, судебные и тюремные власти, заключающие правонарушителя в тюрьму до суда и осуждения, – все должны подчиняться требованиям единого для всех закона. Иными словами, если они совершили ошибку и осужденный оказался невиновным, то их следует подвергнуть тому же

наказанию, которому подвергается всякий за похищение невинного человека и лишение его свободы. Выполнение служебных обязанностей не должно освобождать от ответственности[7], как это случилось с лейтенантом Колли, который во время Вьетнамской войны устроил ужасающую резню в Сонгми[8*]. Возможность *освобождения под залог* – это компромиссная попытка облегчить проблему предварительного заключения, но понятно, что это дискриминационная мера в отношении малоимущих. Проблему не решает даже расширение практики поручительства за явку человека в суд, позволяющая многим избежать тягот предварительного заключения. Возражение, что суды завалены делами, а потому не способны обеспечить безотлагательное разбирательство, не является оправданием, напротив, это указание на природную неэффективность является прекрасным аргументом в пользу ликвидации правительственных судов.

Более того, сам механизм выхода под залог становится инструментом произвола в руках судьи, обладающего почти неконтролируемой возможностью наказывать предварительным заключением еще не осужденных людей. Эта практика особенно опасна в случае обвинений в *оскорблении суда*, потому что судьи имеют почти неограниченную власть отправить человека за решетку; когда судья в одном лице оказывается обвинителем, судьей и жюри присяжных – он обвиняет, осуждает и приговаривает виновного без соблюдения обычных процедур предъявления доказательств и состязательного процесса и при этом нарушает фундаментальный правовой принцип, согласно которому никто не должен быть судьей в собственном деле.

Наконец, есть еще один краеугольный камень судебной системы, на который даже либертарианцы по необъяснимым причинам, слишком давно не обращают внимания. Это *принудительное выполнение функций присяжного заседателя*. В принципе, это мало чем отличается от призыва в армию – разве что сроком службы: в обоих случаях человека порабощают, его принуждают выполнять определенные обязанности в интересах государства и по назначению государства. И в обоих случаях людям сильно недоплачивают. Подобно тому, как в армии нехватка рядового состава – это результат того, что солдатам слишком мало платят, так и ничтожно низкая оплата труда присяжных гарантирует, что даже если бы их набирали добровольно, желающих нашлось бы немного. Более того, присяжных не только заставляют выполнять свои обязанности – порой их неделями держат взаперти, запрещая при этом читать газеты. Что это еще, если не тюремное заключение и

принудительный труд людей, не совершивших никакого преступления?

Можно услышать возражения, что участие в процессе в качестве присяжных заседателей – это очень важный гражданский долг, гарантирующий обвиняемым справедливый суд, которого не приходится ждать от судьи, являющегося частью государственной системы и в силу этого склонного становиться на позиции прокурора. Это действительно так, но именно в силу особой важности труда присяжных необходимо, чтобы они выполняли свой гражданский долг с радостью и добровольно. Разве мы забыли, что вольный труд радостнее и эффективнее принудительного? Ликвидация рабства присяжных будет важным пунктом в избирательной платформе либертарианцев. Судьи, так же как и противостоящие им в процессе адвокаты, служат не по призыву, и присяжные тоже должны быть избавлены от него.

Пожалуй, не случайно в Соединенных Штатах юристы повсеместно избавлены от участия в судебных процессах в качестве присяжных. Поскольку чаще всего законы пишут именно юристы, не возникает ли у вас чувство, что здесь мы имеем дело с классовым законодательством и классовой привилегией?

Принудительное лечение

Одним из постыднейших вариантов принудительного труда в нашем обществе является практика насильственной госпитализации душевнобольных. В прежние времена к этому прибегали, чтобы защитить общество от психически больных, изъять их из общества. Либерализм XX века внешне был более гуманным, но действовал более коварно: теперь врачи и психиатры стали обращаться к принудительной госпитализации ради блага своих несчастных пациентов. Гуманитарная риторика позволяла шире прибегать к госпитализации – к радости раздраженных родственников, которые теперь получили возможность избавляться от своих близких, не испытывая при этом чувства вины.

Несколько лет назад придерживающийся либертарианских взглядов психиатр и психоаналитик доктор Томас С. Жаж (Szasz) объявил войну практике принудительной госпитализации. То, что вначале казалось обреченным на провал чудачеством, сегодня приобретает все большее влияние в кругу психиатров. В многочисленных книгах и статьях доктор Жаж подверг эту практику всесторонней систематической критике. Он, например, настаивает, что принудительная госпитализация – это грубое

нарушение медицинской этики. В подобных ситуациях врач служит не своему пациенту, а его семье, государству, помогая им окончательно добить того, кому он вроде бы помогает. Более того, принудительная госпитализация и принудительное лечение чаще ведут не к исцелению, а к обострению психических болезней. Жаж указывает, что принудительная госпитализация – это чаще всего не помощь пациенту, а просто способ избавиться от малоприятных родственников.

К принудительной госпитализации обращаются, когда пациент может представлять опасность для себя или для других. Главный порок этого подхода в том, что полиция или закон вмешиваются *не в момент совершения акта открытой агрессии*, а когда кто-то приходит к выводу, что однажды такое *может случиться*. Но это же самый прямой путь к неограниченной тирании. Любого можно заподозрить в способности совершить в будущем преступление, а значит, на законном основании его можно и упрятать за решетку– не за преступление, а потому что кто-то *думает*, что тот или иной человек *может* его совершить. Такая логика оправдывает не просто заключение, а даже *пожизненное* заключение *любого*, вызывающего соответствующие подозрения. Но либертарианцы верят, что каждый обладает свободой воли и свободой выбора, и пусть статистические и иные соображения подсказывают, что в будущем человек может совершить преступление, здесь нет никакой предопределенности, а потому отправлять в заключение того, кто является не открытым и явным, а всего лишь предполагаемым преступником,– это в любом случае аморальный и преступный акт агрессии.

Недавно доктора Жажа спросили: «Не думаете ли вы, что общество имеет право и обязанность устанавливать опеку над теми, кого считают „опасными для самих себя и для других“?» Жаж дал обоснованный ответ:

> Я думаю, что идея «помощи» людям посредством принудительной госпитализации и жестокого принудительного лечения – это религиозная концепция, родственная средневековой практике «спасения» ведьм с помощью пыток и сожжения заживо. Что же касается вопроса о больных, «опасных для самих себя», я, подобно Джону Стюарту Миллю, верю, что тело и душа человека принадлежат только ему, а не государству. Более того, у каждого человека есть, если вам угодно, право делать со своим телом все, что ему заблагорассудится, если при этом он не наносит вреда кому-либо еще и не посягает на чьи-то права. Что же касается «опасности для

> других»,большинство психиатров, работающих с госпитализированными пациентами, подтвердят, что это чистая фантазия… Были проведены статистические исследования, показавшие, что психически больные намного более законопослушны, чем нормальные люди.

А Брюс Эннис, юрист, занимающийся проблемой гражданских свобод, добавляет:

> Нам известно, что 85% бывших заключенных совершают больше преступлений, чем средний гражданин. То же самое относится к жителям гетто и подросткам мужского пола. Из недавних статистических исследований нам также известно, что психически больные менее опасны, чем нормальные граждане. Так что если нас действительно беспокоят вопросы безопасности, почему бы нам для начала не отправить за решетку всех бывших заключенных, а потом отправить туда же всех обитателей гетто, а заодно и всех подростков мужского пола?.. Жаж задает разумный вопрос: если человек не нарушил закон, то какое право есть у общества отправлять его в заключение? [9]

Возможны два варианта принудительной госпитализации: госпитализировать тех, кто не совершил преступления, и тех, кто совершил. В случае с первыми либертарианец призывает к их безусловному освобождению. А что делать со вторыми, что делать с преступниками, которые под предлогом безумия избегают жестокости тюремного заключения и вместо этого получают медицинскую помощь в государственных клиниках? Доктор Жаж и здесь первым выступил с отважной критикой деспотизма либеральных человеколюбцев. Прежде всего абсурдно само утверждение, что заключение в государственной психиатрической лечебнице каким-то образом гуманнее, чем заключение в тюрьме. Напротив, в психиатрической клинике жестокости и произвола куда больше, а пациенту намного труднее защитить свои права, чем заключенному, потому что, получив клеймо психически больного, он превращается в существо, к которому больше никто всерьез не относится. Как заметил д-р Жаж, «пребывание в государственной психиатрической лечебнице любого сделает безумцем!»

Более того, мы обязаны поставить под вопрос саму идею изъятия человека из сферы действия закона. Выделенным таким образом людям это может пойти скорее во вред, чем на пользу. Представим себе, например, что два человека, *A* и *B*, совершили

одинаковое преступление – кражу, обычно наказываемую пятилетним тюремным заключением. Предположим, что *B* избежал наказания, потому что был объявлен психически больным и помещен в соответствующую клинику. Либерал исходит из предположения, что, скажем, через два года государственный психиатр признает *B* исцелившимся, вернувшимся в нормальное состояние и, соответственно, выпустит его на свободу. А что если психиатр *никогда* не сочтет его здоровым или признает его таковым спустя много-много лет? Тогда *B* за простое воровство может оказаться пожизненным пациентом психиатрической клиники. Получается, что либеральная концепция *неопределенного срока заключения*, когда срок зависит не от тяжести совершенного преступления, а от того, как государство оценивает состояние психики правонарушителя или его готовность к сотрудничеству,– это наихудшая форма тирании и дегуманизации правосудия. Более того, это тирания, подталкивающая узника к попытке обмануть государственного психиатра, в котором он совершенно справедливо видит врага, и убедить его в том, что он вполне исцелился и может быть отпущен на свободу. Называть этот процесс лечением или исправлением – просто издевательство над этими словами. Намного более принципиален и человечен подход, когда с каждым узником обращаются в соответствии с объективным уголовным кодексом.

6. Личная свобода

Свобода слова

В области личной свободы существует множество проблем, не попадающих под категорию принудительного труда. Свобода слова и печати издавна ценилась теми, кто называет себя «защитниками гражданских прав». Слово «гражданских» означает здесь, что экономическая свобода и права частной собственности для них не эквивалентны друг другу. Но мы уже видели, что свободу слова можно абсолютизировать, только если она включена в круг общих прав собственности человека (*включая* право на свободное распоряжение собственной личностью). Так, человек, обманно крикнувший «Пожар!» в заполненном театре, не имел права так делать, потому что тем самым он ущемил договорные права собственности владельца и зрителей.

Но если оставить в стороне посягательства на собственность, свобода слова всегда будет пользоваться самой решительной поддержкой каждого либертарианца. Свобода публиковать и продавать любые тексты становится абсолютным правом, к какой бы области ни относился текст. В этом защитники гражданских прав хорошо себя зарекомендовали, и покойный судья Хьюго Блэк был особенно известен тем, что ссылками на Первую поправку к Конституции упорно защищал свободу слова от всех правительственных посягательств.

Но есть области, в которых даже самые пылкие борцы за гражданские права утрачивают четкость позиции. Как быть, например, с подстрекательством к беспорядкам, когда оратора объявляют виновным в том, что он возбудил толпу, которая потом разбушевалась и совершила преступления против личности и собственности?

На наш взгляд, подстрекательство можно считать преступлением, только если мы отказываем каждому в свободе воли и выбора, если мы исходим из того, что когда *A* говорит *B* и *C*: «Вы, двое, бейте и крушите!»,то эти *B* и *C* беспомощно обречены подчиниться ему и пойти на преступление. Но либертарианец, верящий в свободу воли, должен настаивать, что, даже если А ведет себя аморально и безответственно, когда призывает к беспорядкам, это все-таки лишь пропаганда и его действия не должны подлежать уголовному наказанию. Разумеется, если бы *A* и сам принял участие в беспорядках, тогда подлежал бы наказанию и он. Более того, если *A* является

главарем организованного преступного объединения, который приказывает своим приспешникам: «Идите и ограбьте такой-то банк», то, конечно, по закону о соучастии он становится участником или даже организатором преступления.

Если же пропаганда не является преступлением, то не является им и сговор для пропаганды, потому что вопреки неудачным формулировкам закона об ответственности за преступный сговор, сговор (т.е. соглашение) сделать что-то не может быть более преступным, чем само деяние. (А, по сути дела, как иначе можно определить сговор, если не как соглашение между двумя или более лицами о совершении чего-то, не одобряемого тем, кто дает определение?)[1]

Есть проблемы и с законом о клевете. Было признано законным ограничение свободы слова, если это слово ложно или злонамеренно вредит репутации какого-либо лица. Иными словами, закон о клевете утверждает право собственности человека на свою репутацию. Однако репутация не может быть собственностью человека, потому что она является функцией субъективных чувств и отношений других людей. А поскольку в реальности никто не может владеть умом и отношением другого, это означает, что буквальное право собственности на свою репутацию невозможно. Репутация каждого постоянно меняется в соответствии с мнениями и отношением других людей. В силу этого словесные нападки не могут рассматриваться как посягательство на право собственности, а потому не должны подлежать ограничению или преследованию в суде.

Возводить ложные обвинения – дело, конечно, аморальное, но, повторим еще раз, для либертарианца *мораль* и *закон* – это разные категории.

Более того, подходя прагматически, можно полагать, что если бы не существовало законов о клевете, люди меньше верили бы неподтвержденным обвинениям. Сегодня, если кого-то обвинили в некоем пороке или правонарушении, первой реакцией большинства будет немедленное принятие этого на веру, потому что если бы обвинение было ложным, то «почему же он не привлек обвинителей к суду за клевету?» В этом смысле закон о клевете, конечно, дискриминационен в отношении бедных, потому что такому человеку намного труднее вести в суде дорогостоящее преследование клеветника, чем человеку со средствами. Более того, сегодня богатые могут использовать законы о клевете как дубинку против бедных – даже за совершенно обоснованные высказывания и обвинения человека можно затаскать по судам по обвинению в клевете. Парадокс, но человек небогатый больше уязвим для клеветы и для

ограничений свободы слова при нынешнем положении вещей, чем в мире, в котором не было бы законов, наказывающих за клевету и разглашение порочащих кого-либо сведений.

К счастью, в последние годы законы о клевете подверглись смягчению, так что теперь государственных чиновников и известных людей можно подвергать острой критике, не опасаясь разорительного судебного преследования и наказания.

Другим действием, которое должно быть свободным от ограничений, является бойкот. В случае бойкота один или несколько человек используют свою свободу слова, чтобы по кажущимся для них существенными соображениям убедить других воздержаться от покупки чьей-либо продукции. Если, например, несколько человек организуют по каким-либо причинам кампанию, чтобы убедить публику прекратить покупку пива XYZ, это чистая пропаганда, причем совершенно законного свойства – против покупки пива. Успешный бойкот может возыметь неблагоприятные последствия для производителей пива XYZ, но и это вполне нормально в условиях свободы слова и прав частной собственности. Производители пива XYZ рискуют положиться на свободный выбор потребителей, а потребители имеют право следовать любым советам. Однако наше трудовое законодательство ограничило право профсоюзов организовывать бойкоты против производителей. Точно так же наши законы запрещают распространение слухов о некредитоспособности банков – очевидный пример того, как правительство предоставляет особые привилегии финансовым структурам, ограничивая свободу слова тех, кто призывает отказаться от использования их услуг.

Особенно труден вопрос о пикетах и демонстрациях. Свобода слова предполагает, конечно, свободу собраний, свободу высказываться совместно с другими людьми. Но ситуация усложняется, когда для этого оказывается необходимым использование *улиц*. Пикетирование незаконно, когда оно мешает доступу в частное здание или на завод или когда протестующие угрожают насилием тем, кто пытается пересечь отстаиваемую пикетом линию.

Также понятно, что сидячие забастовки – это незаконное нарушение права частной собственности. Но даже с законностью мирного пикетирования не все ясно, потому что это часть более широкой проблемы: кто принимает решение об использовании улиц? Дело в том, что почти все улицы являются собственностью муниципальных властей. Но у правительства, не являющегося частным собственником, отсутствуют какие-либо критерии, по которым предоставляются права на использование улиц, поэтому

почти любое его решение будет произвольным.

Предположим, что клуб любителей глициний хочет устроить уличный парад в честь этого цветка. Полиция запрещает демонстрацию, ссылаясь на то, что это создаст помехи уличному движению. Защитники гражданских прав автоматически заявят протест против несправедливого ущемления права любителей глициний на свободу слова. Но ведь и полиция заняла совершенно обоснованную позицию: парад может привести к уличным пробкам, а правительство обязано заботиться о правах пешеходов и автомобилистов. Как же поступить? Что бы ни решило правительство, будут ущемлены права *какой-то* группы налогоплательщиков. Если правительство разрешит демонстрацию, будут недовольны водители и пешеходы, а если не разрешит, пострадают любители глициний.

В любом случае сам факт того, что решение принимает правительство, порождает непременный конфликт в вопросе о том, кто из граждан и налогоплательщиков должен использовать правительственные ресурсы.

Тот факт, что правительство владеет улицами и контролирует их, делает эту проблему неразрешимой, а истинное ее решение – невозможным. Дело в том, что вопрос об использовании *любого* ресурса должен решать его *собственник*. Владелец типографии решает, что именно печатать. А владелец улицы должен решать, как ее использовать. Короче говоря, если бы улицы были частными, а любители глициний попросили бы о возможности пройтись парадом по Пятой авеню, то собственнику Пятой авеню пришлось бы решать, сдать ли улицу в аренду демонстрантам или сохранить ее для водителей и пешеходов. В либертарианском мире, где все улицы будут находиться в частной собственности, именно владельцы улиц в каждый конкретный момент принимали бы решения о том, сдавать ли свою улицу демонстрантам, каким именно и по какой цене.

Тогда стало бы ясно, что речь не идет ни о свободе слова, ни о свободе собраний, а исключительно о правах собственности – о праве группы людей попросить улицу в аренду и о праве собственника принять их предложение или отвергнуть его.

Свобода радио и телевидения

В американской жизни есть одна область, в которой при существующей системе невозможна действенная свобода слова, – это область радио и телевидения. Дело в том, что в 1927 году федеральное правительство приняло важнейший закон о

радиовещании, которым оно национализировало эфир. Иными словами, федеральное правительство присвоило себе право собственности на все каналы радио- и телевещания. Затем оно начало раздавать лицензии на их использование частным вещателям. С одной стороны, теле- и радиостанции, получающие лицензии даром, не должны платить за использование выделенной им волны, как это пришлось бы делать на свободном рынке. Они получают немалые субсидии, которые стараются удержать за собой. С другой стороны, федеральное правительство, выдающее лицензии на использование каналов, оставляет за собой право детально регулировать деятельность вещателей. Таким образом, над каждой станцией постоянно висит угроза, что ей не продлят лицензию или даже приостановят ее действие. Получается, что свобода слова на радио и телевидении – это просто насмешка. Каждая станция жестко ограничена в своих действиях и вынуждена согласовывать свою работу с требованиями Федеральной комиссии по связи. В итоге программа передач каждой станции должна быть сбалансирована: определенное время на социальную рекламу, равное время каждому кандидату на выборах для выражения его политических мнений плюс ответственное отношение, например, к выбору музыкальных композиций. Многие годы ни одна станция не имела права выражать собственную точку зрения, а в наши дни каждое транслируемое мнение должно быть уравновешено ответственным редакционным комментарием.

Поскольку каждой станции приходится действовать с оглядкой на возможную реакцию Федеральной комиссии по связи, свободное мнение редакции всегда оказывается лицемерным. Чего же удивляться тому, что если телеканал и высказывается по какому-либо противоречивому вопросу, то обычно в пользу власть имущих?

Публика мирится с этой ситуацией, потому что такое положение вещей существует с самого начала широкомасштабного коммерческого радиовещания. Но что бы мы подумали, если бы все газеты действовали на основании лицензий, которые должны ежегодно возобновляться Федеральной комиссией по печати, и при этом лицензию можно было отозвать за то, что газета рискнула выразить пристрастное мнение в передовице или не выделила достаточно места для социальной рекламы? Разве это не было бы нетерпимым да и неконституционным нарушением права на свободу печати? А если еще лицензировать и деятельность книгоиздателей, не продлевая лицензии тем, чьи публикации не соответствуют требованиям Федеральной комиссии по книгоизданию? При этом

положение, которое мы сочли бы нетерпимым и тоталитарным, сложись оно в сфере издания книг и газет, считается нормальным в самых популярных средствах массовых коммуникаций – на радио и телевидении. Но ведь по сути оба этих случая ничем не отличаются друг от друга!

Здесь мы сталкиваемся с одним из фатальных пороков идеи демократического социализма, т.е. идеи, что правительство должно владеть всеми ресурсами и средствами производства, но при этом обеспечивать свободу слова и печати для всех граждан. Абстрактная конституционная гарантия свободы печати лишена всякого смысла в социалистическом обществе. Дело в том, что, когда правительство владеет всеми газетами, бумагой, типографиями, оно, будучи собственником, должно решить, как распределить бумагу и типографии и что печатать. Так же как правительство, выступая в роли собственника улиц, должно решать, как их использовать, так и социалистическое государство должно распределять бумагу и все другие ресурсы, обеспечивающие свободу слова и печати: залы для собраний, типографскую технику, грузовики и т.д. При этом оно может сколько угодно говорить о своей преданности свободе печати, но в то же время направлять всю бумагу только своим сторонникам. Свобода печати оказывается фикцией. Да и вообще, почему социалистическое правительство *должно* выделять сколько-нибудь существенные ресурсы антикоммунистам? В таких условиях проблема свободы печати неразрешима.

Существует ли решение проблемы свободы слова для радио и телевидения? Самое простое: обращайтесь с этими средствами информации так же, как с издателями книг и периодики. ***С точки зрения либертарианца*** и сторонника американской Конституции, ***правительство должно полностью отказаться от какого-либо вмешательства в деятельность средств массовой информации. Короче говоря, федеральное правительство должно денационализировать радио и телеканалы, иными словами, передать их в частную собственность.*** Когда каналы вещания действительно принадлежат частным вещателям, последние будут истинно свободны и независимы, они смогут выпускать те программы, которые им захочется, которые, по их мнению, понравятся слушателям или зрителям, и они смогут делать это, не опасаясь возмездия со стороны правительства. Они смогут также продавать или сдавать в аренду свой диапазон вещания кому пожелают, а благодаря этому пользователи теле- и радиочастот не будут нуждаться в правительственных субсидиях.

Более того, если телеканалы станут свободными, частными и независимыми, большие вещательные корпорации лишатся

возможности давить на Федеральную комиссию по связи с требованием избавить их от действенной конкуренции платного, т.е. кабельного телевидения. Только потому, что ФКС поставила платное телевидение вне закона, последнее не сумело встать на ноги. «Бесплатное телевидение» на самом деле, конечно, совсем не бесплатно – за программы платят рекламодатели и потребители, покрывающие расходы на рекламу, заложенные в цену вещей, которые они покупают. Возможен вопрос, а какое дело зрителю – платит он косвенно (через цену покупаемых товаров) или напрямую за каждую программу? Разница в том, что это будут другие зрители и другие телевизионные программы. Рекламодатель, например, всегда заинтересован: а) в максимально широкой аудитории и б) в такой аудитории, которая с наибольшей готовностью воспримет его рекламу. Поэтому программы всегда равняются на наименьший общий знаменатель, а именно: на наиболее отзывчивых зрителей, т.е. тех, которые не читают газет и журналов, так что все их знакомство с рекламой ограничивается телевидением. В результате бесплатные телепрограммы чаще всего поверхностны, слащавы и однообразны. Платное телевидение означало бы, что каждый телеканал должен будет искать собственный рынок, так что возникнет множество специализированных рынков для специализированных аудиторий – подобно тому, как высокодоходные рынки рекламы возникли вокруг издания журналов и книг. Качество программ повысится, а предложение станет более разнообразным. По сути дела, угроза конкуренции со стороны платного телевидения должна быть очень велика, раз телевизионные сети ведут такую борьбу за недопущение его на рынок. Но, разумеется, на действительно свободном рынке оказались бы реализованными обе формы телевидения, а также кабельное и те его виды, которые мы пока еще не в силах и вообразить.

Против частной собственности на телеканалы обычно выдвигают тот аргумент, что диапазон вещания ограничен, а потому владеть им и распределять частоты должно государство. Для экономиста этот аргумент нелеп, потому что все ресурсы ограничены, и если на рынке товар чего-то стоит, то *именно* потому, что он редок. Мы должны платить за хлеб, за обувь, за одежду, потому что все они редки. Если бы они были так же изобильны, как воздух, то стали бы бесплатны, и никому не пришлось бы заботиться об их производстве и сбыте. Если взять прессу, то газетная бумага – это редкость, типографские мощности, грузовики и другие ресурсы также ограничены. Чем более редок ресурс, тем выше его цена, и наоборот. Более того,

телевизионных частот намного больше, чем используется сегодня. Решение ФКС перевести станции с диапазона UHF (ультравысокие частоты) на диапазон VHF (очень высокие частоты) создало куда больше каналов вещания, чем нужно сейчас.

Другое распространенное возражение против частной собственности на частоты вещания заключается в том, что диапазоны частных радио- и телестанций будут наезжать друг на друга, так что слушателям и зрителям придется довольствоваться кашей вместо чистого звука и четкой картинки. Это столь же абсурдно, как если бы кто-то сказал, что раз автомобиль может съехать с дороги и двигаться по частной земле, значит нужно национализировать все автомобили или всю землю. В обоих случаях разграничить права собственности таким образом, чтобы любое вторжение на чужую территорию сразу делалось очевидным и могло преследоваться по закону, должен суд. В отношении прав собственности на землю все очень просто и все давно работает. Но дело в том, что суды могут использовать аналогичные процедуры размежевания собственности и в других областях, будь это диапазоны вещания, водные или нефтяные ресурсы. В случае теле- и радиовещания задача заключается в том, чтобы установить местоположение источника вещания, определить дальность вещания и ширину диапазона, обеспечивающую передачу чистого сигнала, и уже тогда наделять правами собственности станцию, расположенную в этом месте. Если, например, радиостанция WXYZ получила право собственности вещать на частоте 140 кГц в радиусе 200 миль от Детройта, то любая другая станция, которая вздумает вещать в районе Детройта на этой частоте, будет подлежать судебному преследованию за нарушение прав собственности. Если суды выполняют свою работу, определяют и защищают права собственности, то нет оснований предполагать, что здесь нарушений прав собственности будет больше, чем в каком-либо другом виде деятельности.

Большинство людей верит, что эфир был национализирован именно по этой причине: до закона о радиовещании 1927 года сигналы разных станций накладывались друг на друга, создавая хаос, так что федеральное правительство было вынуждено в конце концов вмешаться, чтобы навести порядок и сделать радиовещание вообще возможным. Но это всего лишь историческая легенда, не имеющая отношения к реальности. В действительности все было как раз наоборот. Когда станции начинали мешать друг другу, пострадавшая сторона обращалась в суд, и уже суды начинали создавать порядок из хаоса, очень успешно применяя в новой технологической области

содержащуюся в общем праве теорию частной собственности, во многих отношениях сходную с либертарианской. Короче говоря, суды начали закреплять права собственности на частоты вещания за первыми пользователями. И только обнаружив, что сфера действия частной собственности успешно расширяется, федеральное правительство вмешалось и национализировало эфир под предлогом предотвращения хаоса.

Если быть более точным, то в начале века радио использовалось почти исключительно для переговоров между экипажами кораблей и берегом или между собой. Морское ведомство было заинтересовано в том, чтобы радио работало надежно и служило обеспечению безопасности на море, и принятое в 1912 году первое федеральное постановление об использовании частот просто требовало, чтобы любая радиостанция имела лицензию, выпущенную министерством торговли. В законе, однако, не было ни слова о регулировании или лицензировании, и, когда в начале 1920-х годов началось общественное вещание, министр торговли Герберт Гувер попытался ввести регулирование. Судебные решения 1923 и 1926 годов, тем не менее, отказали правительству в праве отзывать лицензии, отказывать в их продлении и даже решать, на какой длине волны должна вещать та или иная станция[2].Примерно в то же время судьи взялись за разработку концепции первопользователя в радиовещании, особенно в процессе Tribune Co. vs. Oak Leaves Broadcasting Station, разбиравшемся на выездной сессии окружного суда округа Кука, штат Иллинойс, в 1926 году. В ходе этого разбирательства суд постановил, что радиостанция, уже занимающая спорную частоту вещания, имеет на нее право собственности, даваемое правом первого использования, и на этом основании запретил новой станции использовать тот же диапазон, чтобы не допустить помех сигналу первой станции[3]. Так был найден способ распределения радиочастот, а из хаоса начал возникать порядок. Но именно это и побудило правительство поторопиться с вмешательством.

Решение 1926 года по иску корпорации Zenith, не только отказавшее правительству в праве регулировать распределение радиочастот или отказывать в продлении лицензии, но даже заставившее министерство торговли выдавать лицензии всем заявителям, породило настоящий бум в радиовещании. В течение девяти месяцев после этого решения суда было создано более двухсот новых радиостанций. В результате Конгресс поспешил принять в июле 1926 года временную меру, *предотвращающую* появление каких-либо прав собственности на радиочастоты и установившую, что время действия всех лицензий должно быть

ограничено 90 днями. К февралю 1927 года Конгресс принял закон, создавший Федеральную комиссию по радиовещанию, которая национализировала эфир и имела примерно те же полномочия, которыми сейчас обладает Федеральная комиссия по связи. То, что целью предусмотрительных чиновников было не предотвращение хаоса, а недопущение частной собственности на радиочастоты как средства наведения порядка, продемонстрировал историк права Г.П.Уорнер. Он пишет, что «члены законодательного органа высказывали серьезные опасения… что эффективному государственному регулированию может постоянно мешать увеличение доли прав собственности, предоставляемых при помощи лицензий или средств доступа, и что такие франзишы ценой в миллионы долларов могут быть бессрочными»[4]. Итогом стало установление не менее дорогостоящих прав на лицензии, но не в результате конкуренции, а в режиме государственной монополии и через посредничество Федеральной комиссии по радиовещанию, а позднее – Федеральной комиссии по связи.

Приведем два примера того, как Федеральная комиссия по радиовещанию (а позднее и Федеральная комиссия по связи) нарушала права частной собственности. Первый пример относится к 1931 году, когда м-ру Бейкеру, владевшему радиостанцией в Айове, было отказано в возобновлении лицензии. Обосновывая свой отказ, комиссия сообщила:

> Комиссия не располагает сведениями о Медицинской ассоциации и других сторонах, которые не нравятся м-ру Бейкеру. Их предполагаемые грехи иногда могут иметь достаточно серьезное общественное значение, чтобы привлечь к себе внимание публики и наставить на путь истинный с помощью эфира. Однако записи свидетельствуют о том, что м-р Бейкер не вел себя столь разумным образом. Они показывают, что посредством эфира он то и дело высмеивал личные хобби, обсуждал свои идеи по излечению рака и свои симпатии и антипатии в отношении определенных лиц и вещей. То, что он всем этим доставлял огорчение слушателям, вне всяких сомнений означает, что он использовал лицензию неподобающим образом. Многие из его высказываний вульгарны и даже непристойны. Конечно же, они не поднимают настроение и не развлекают[5].

Можете себе представить, какая поднялась бы буря протеста, если бы правительство попыталось по аналогичным основаниям

закрыть газету или книжное издательство?

А недавно ФКС пригрозила невозобновлением лицензии радиостанции KTRG в Гонолулу, главной радиостанции на Гавайях. На протяжении примерно двух лет KTRG по несколько часов в день передавала программы либертарианского направления. И вот в конце 1970 года ФКС решила устроить слушания, направленные на отказ в возобновлении лицензии, и владельцы радиостанции, напуганные стоимостью предстоящей процедуры, решили сами закрыть свой бизнес[6].

Порнография

Либертарианец полагает, что когда консерваторы и либералы спорят о законах, запрещающих порнографию, они все время говорят совершенно не о том. Консерваторы считают, что порнография унизительна и аморальна, а потому должна быть запрещена. Либералы склонны возражать им, утверждая, что секс – дело хорошее и полезное, а потому порнография только к лучшему, а вместо этого хорошо бы запретить сцены насилия, скажем, на телевидении, в фильмах и комиксах. Обе стороны не затрагивают сути вопроса: разговор о том, полезна ли порнография, вредна или безвредна, сам по себе очень интересен, но он не имеет ни малейшего отношения к вопросу о том, следует ее запрещать или нет. Либертарианец считает, что не дело государства, вооруженного карающим мечом закона, проводить в жизнь чьи-либо представления о нравственности. Не дело закона, даже если вообразить, что он мог бы с этим справиться (хотя это, разумеется, не так), назначать кого-либо хорошим или благочестивым, моральным, чистым или честным. Каждый человек должен решать такие вещи сам для себя. Вооруженный насилием закон должен защищать людей от незаконного насилия, защищать их от насильственного посягательства на их личность и собственность. Но если правительство намерено поставить порнографию вне закона, оно само превращается в преступника, потому что посягает на права собственности людей, т.е. на права производить, продавать, покупать порнографические материалы или владеть ими.

Мы не принимаем законов, требующих от людей быть честными; мы не принимаем законов, заставляющих людей быть вежливыми с соседями или не орать на водителя автобуса; мы не принимаем законов, обязывающих людей хранить верность своим мужьям и женам. Мы не принимаем законов, требующих от людей ежедневно потреблять такое-то количество витаминов. Поэтому

правительство и правоохранительные органы не должны принимать законы, направленные против добровольного производства или продажи порнографии. Закону и власти должен быть безразличен вопрос о том, полезна порнография или бесполезна, вредна или безвредна.

То же самое можно сказать и о демонстрации насилия, которой пугают либералы. Государство не должно заниматься вопросом о связи между сценами насилия на телеэкране и реальными преступлениями. Запретить сцены насилия, потому что они *могут* побудить кого-либо к преступлению, – это отрицание свободы воли и разумеется, полное отрицание права смотреть соответствующие фильмы тем, кто *не совершит* в будущем никаких преступлений. Но еще важнее то, что запрещать по таким мотивам сцены насилия на экране не более, а фактически, даже менее законно, чем, как мы уже говорили, отправить за решетку всех чернокожих подростков мужского пола, которые более склонны к преступному поведению, чем остальная часть населения.

Не должно быть сомнений в том, что запрет порнографии – это посягательство на право собственности, на право производить, продавать, покупать и владеть. Консерваторы, призывающие к запрету порнографии, кажется, не понимают, что тем самым они разрушают ту самую концепцию прав собственности, которую, вроде бы, намерены всецело защищать. Этот запрет также является нарушением свободы печати, которая, как мы убедились, представляет собой подраздел общего права частной собственности.

Порой возникает впечатление, что для многих консерваторов и либералов beau ideal*(Идеал совершенства (фр.)) ***состоит в том, чтобы посадить каждого в клетку и заставить делать то, что консерваторы и либералы считают нравственным.*** При этом клетки у них будут, разумеется, разными, но это будут именно клетки. Консерватор запретил бы противозаконный секс, наркотики, азартные игры и неверие в Бога и заставил бы каждого действовать в соответствии со своим нравственным или религиозным идеалом. Либерал запретил бы сцены насилия на экране, неэстетичную рекламу, футбол и расовую дискриминацию, а либеральные экстремисты засунули бы каждого в «камеру Скиннера»[7]*,где им управлял бы благожелательный либеральный диктатор. **Но результат у них получился бы одинаковым: *свести каждого к уровню недочеловека и лишить его самой драгоценной составляющей человеческой сущности – свободы выбора.***

Ирония, разумеется, в том, что, заставляя каждого быть

«моральным», т.е. *поступать* в соответствии с требованиями морали, консервативные или либеральные тюремщики просто лишают людей какой-либо *возможности* быть нравственными. Концепция нравственности лишена всякого смысла, если человек не может действовать свободно. Представим себе, например, благочестивого мусульманина, озабоченного тем, чтобы как можно большее число людей трижды в день кланялись в сторону Мекки, поскольку для него, предположим, это и есть высшее проявление нравственности. Но если он применит насилие, чтобы заставить каждого простираться ниц, он тем самым лишит его возможности быть нравственным, т.е. ***свободно отдавать предпочтение*** поклонам в сторону Мекки. ***Принуждение лишает человека свободы выбора и тем самым возможности сделать выбор в пользу нравственного поведения.***

Либертарианец, в отличие от многих консерваторов и либералов, не хочет загонять человека ни в какую камеру или клетку. Он хочет свободы для всех, свободы поступать нравственно или безнравственно, как решит каждый отдельный человек.

Законы о сексе

В последние годы либералы, к счастью, пришли к выводу, что любой добровольный акт между двумя (или более) взрослыми людьми должен считаться законным. *Очень жаль, однако, что* ***либералы*** *еще не дошли до того, чтобы распространить этот критерий сексуальных отношений на торговлю и обмен, потому что в этом случае они уже были бы близки к тому, чтобы превратиться в настоящих либертарианцев.* Ведь либертарианцы стремятся к тому, чтобы легализовать любые добровольные отношения между взрослыми. Также либералы начали призывать к отмене «преступлений без потерпевшего», что было бы замечательно, если бы при этом была проявлена бóльшая точность в определении и было бы ясно, что речь идет о жертвах грубого насилия.

Поскольку секс – это сугубо частная область жизни, идея, что государство может иметь право законодательно регулировать и ограничивать сексуальное поведение, не допустима никоим образом, хотя именно это всегда было одной из любимых забав государства. Изнасилование, разумеется, должно считаться таким же преступлением, как любой другой акт насилия против личности.

Хотя добровольный секс часто объявлялся незаконным и

преследовался государством, с обвиняемыми в изнасиловании власти, как это ни странно, временами обходились намного мягче, чем с обвиняемыми в других формах преступлений против личности. По существу, правоохранительные органы во многих случаях обращались с жертвой насилия как с виновной стороной, чего почти никогда не бывает с потерпевшими от других видов преступлений. Нет сомнений, что имеют место недопустимые двойные стандарты в отношении сексуального поведения. Национальный совет Американского союза защиты гражданских свобод в марте 1977 года заявил, что:

> С потерпевшими в результате преступлений сексуального характера следует обходиться так же, как с жертвами других преступлений. Сотрудники правоохранительных органов и медицинских учреждений зачастую относятся к ним с недоверием и грубостью. При этом возможны проявления как неверия и отсутствия сострадания, так и жестокого и оскорбительного любопытства к их образу жизни и мотивам поведения. Подобное отсутствие ответственности в поведении лиц, чьей обязанностью является помощь жертвам преступления, может только усугубить травму, пережитую жертвой.

Чтобы избавиться от установленных правительством двойных стандартов, следовало бы отказаться от выделения дел об изнасиловании в особую категорию и рассматривать их в рамках общего закона о причинении телесных повреждений. Во всех подобных случаях судьи должны использовать одинаковые критерии в наставлении присяжным и в оценке приемлемости доказательств.

Если труд и личность в целом должны быть свободны, то необходима и свобода занятия *проституцией*. Проституция – это добровольная продажа определенных трудовых услуг, и правительство не имеет права запрещать или ограничивать подобную торговлю. Следует отметить, что многие из самых зловещих особенностей уличной проституции – это результат запрета борделей. Поскольку содержательницы публичных домов были заинтересованы в привлечении постоянных клиентов, бордели конкурировали между собой за репутацию и стремились предоставлять качественные услуги. Запрещение публичных домов выдавило проституцию на черный рынок, сделало это занятие рискованным и ненадежным со всеми сопутствующими опасностями и общим падением качества. В последние годы нью-йоркская полиция проявляет большую жестокость в отношении к

проституткам, оправдывая ее тем, что это занятие больше не является «преступлением без потерпевшего», поскольку многие проститутки совершают преступления против своих клиентов. Но если запрещать какие-либо занятия только за то, что они притягивают к себе преступность, нам следовало бы запретить употребление алкоголя, потому что в барах происходит много драк. Полиция должна не запрещать добровольную и законопослушную деятельность, а следить за тем, чтобы ей не сопутствовали настоящие преступления. Следует понимать, что, защищая свободу проституции, либертарианец никоим образом не защищает саму проституцию. Иными словами, если бы чрезмерно пуританское правительство решило запретить всю косметику, либертарианец призывал бы к ее легализации, из чего никак не следовало бы, что он сам является сторонником или противником использования косметики. Наоборот, в зависимости от своих личных этических или эстетических норм он может выступить и против использования косметики после того, как она будет легализована, но при этом он всегда будет стремиться убеждать, а не принуждать.

Для того чтобы обеспечить сексуальную свободу, нужно сделать свободным и *ограничение рождаемости*. Наше общество никак не украшает тот факт, что едва было легализовано ограничение рождаемости, как люди – в данном случае либералы – потребовали сделать ограничение рождаемости *принудительным*. Бесспорно, что наличие ребенка у соседа может основательно испортить мне жизнь. Но ведь почти все на этом свете так или иначе касается других людей. Для либертарианца это не может служить оправданием применения силы, которая должна использоваться только для противодействия насилию или его подавления. Не существует права более личного, свободы более драгоценной, чем право женщины рожать или не рожать ребенка, и любая попытка отказать ей в этом праве есть проявление худшей формы тоталитаризма. К тому же, если в семье детей больше, чем она может содержать, эта семья несет на себе значительные тяготы, а это значит, что желание сохранить столь ценимый многими рост уровня жизни побудит большинство семей к тому, чтобы добровольно ограничивать рождаемость.

Это приводит нас к более сложному вопросу об *абортах*. Либертарианец не может просто отвергнуть католический аргумент против абортов, даже если он, в конце концов будет признан необоснованным. Ведь сущность этого аргумента, в чисто теологическом смысле вовсе не являющегося католическим, состоит в том, что аборт уничтожает человеческую жизнь, а потому является убийством и как таковое не может быть

допустим. Более того, если аборт – это настоящее убийство, то католик или любой другой человек, разделяющий его взгляды, не может просто пожать плечами и сказать, что нельзя навязывать католические взгляды некатоликам. Убийство – это не выражение религиозных предпочтений. Мы не можем во имя свободы религии позволить какой-либо секте совершать убийства, потому что того требует ее вера. Главный вопрос таков: следует ли аборт считать убийством?

Большинство дискуссий на эту тему увязают в *деталях: когда* начинается жизнь человека, с какого момента эмбриона нужно считать живым человеком. Все это не имеет отношения к вопросу о *законности* (опять-таки, не о моральности) аборта. Выступающий против абортов католик, например, заявляет, что хочет лишь того, чтобы за плодом были признаны права любого человеческого существа, т.е. право не быть убитым. Но здесь речь идет о чем-то большем, и это существеннее. Если мы должны признать за плодом те же права, что и за любым человеком, то мы можем спросить себя: какой *человек* имеет право пребывать непрошенным, нежеланным паразитом внутри тела другого человека? В этом же суть вопроса: в абсолютном праве каждого, в том числе и женщины, на то, чтобы владеть собственным телом. При аборте мать избавляется от того нежеланного, что завелось в ее теле; если плод при этом умирает, это не опровержение того обстоятельства, что никакое существо не имеет права жить – незваным и нежеланным – в теле другого человека.

Обычное возражение, что мать сначала либо хотела этого, либо несет ответственность за то, что в ее теле образовался плод, опять-таки не имеет отношения к делу. Даже если мать первоначально хотела ребенка, она, будучи полновластной хозяйкой собственного тела, имеет право изменить решение и избавиться от плода. Раз государство не должно вмешиваться в добровольные сексуальные отношения, оно не должно проявлять пристрастия в отношении мужчин и женщин. Решение о предоставлении преимуществ женщинам – это очевидная форма дискриминации мужчин или других групп в области занятости, приема на учебу, да и везде, где может быть применена система квот. Но покровительственные законы о женском труде, которые могут показаться формой заботы о женщинах, на самом деле дискриминационны по отношению к ним, потому что запрещают работать в определенное время дня или в определенных профессиях. Закон отнимает у женщин право самим решать, хотят ли они, скажем, работать в ночные часы или на подземных работах. Тем самым правительство не позволяет женщинам свободно конкурировать с мужчинами в этих областях.

В общем и целом, платформа Либертарианской партии на выборах 1978 года остро формулирует либертарианскую позицию в отношении государственной дискриминационной политики: «Законы Соединенных Штатов или любого отдельного штата или местные законы не должны ущемлять права личности в зависимости от пола, расы, цвета, вероисповедания, возраста, страны происхождения или сексуальной ориентации».

Прослушивание телефонных разговоров

Прослушивание телефонных разговоров – это беспардонное нарушение права на неприкосновенность частной жизни и права собственности, и, разумеется, оно должно быть запрещено как акт агрессии. Мало кто из людей готов одобрить прослушивание частных телефонных разговоров. Споры возникают лишь в связи с убежденностью некоторых, что полиция должна иметь возможность прослушивать разговоры лиц, *подозреваемых* в совершении преступлений. Действительно, как иначе ловить преступников?

Во-первых, если подходить с практической точки зрения, прослушивание редко дает результаты в случае таких единичных преступлений, как ограбление банка. Прослушивание обычно используют, когда криминальный бизнес ведется на регулярной основе, как в случае распространения наркотиков и азартных игр, а потому оказывается уязвим для шпионажа и подслушивающих устройств. Во-вторых, мы остаемся при убеждении, что преступно вторгаться в частную жизнь или собственность того, кого суд еще не признал преступником. Возможно, если бы правительство наняло десять миллионов шпионов, чтобы следить за разговорами всего населения, общее число частных преступлений и в самом деле удалось бы уменьшить, но ведь такого же эффекта мы добились бы, отправив за решетку всех обитателей гетто или всех подростков мужского пола. Но что значит это сокращение преступности в сравнении с массовым преступлением, которое будет совершено – на законных основаниях и без малейшего смущения – самим правительством?

Можно сделать одну уступку полиции, хотя сомнительно, что она ее сильно обрадует. Нет ничего плохого во вторжении в частную жизнь вора, который сам и куда более серьезным образом нарушил чьи-то права собственности. Представим себе, что полиция решила, что Джон Джонс похитил драгоценности. Его телефон ставят на прослушку и на основании добытых таким образом свидетельств отправляют Джонса за решетку. Можно

сказать, что это прослушивание было законным и не должно наказываться, но при условии, что если выяснится, что Джонс не вор, то полицейские и судья, подписавший разрешение на прослушивание, должны теперь считаться *преступниками* и отсидеть в тюрьме за несправедливое прослушивание. У такого порядка было бы два неоспоримых преимущества: ни один полицейский или судья не свяжутся с прослушиванием, если не будут на сто процентов уверены, что тот, за кем они следят, является преступником. Кроме того, полицейские и судьи наконец-то станут ответственны перед уголовным кодексом в той же мере, что и все остальные граждане. Равенство в свободе несомненно требует равенства каждого перед законом, а значит, любое посягательство на собственность того, кто не является преступником, должно наказываться по закону вне зависимости от того, кто это сделал. Полицейский, чьи подозрения не подтвердились, совершил акт агрессии против того, кто не был преступником, и должен считаться столь же виновным, как любой частный человек, пойманный на прослушивании чужого телефона.

Азартные игры

На свете мало законов, столь же абсурдных и несправедливых, как законы против азартных игр. Прежде всего, такой закон в широком его понимании просто неисполним. Если объявить незаконным пари, которые миллионы людей заключают на исход футбольного матча, выборов или чего угодно другого, то понадобилось бы чудовищное многомиллионное гестапо, чтобы шпионить за каждым и выявлять каждый отдельный случай. Примерно такая же армия сыщиков понадобится для того, чтобы следить за самими шпионами – выявлять тех из них, кого подкупили игроки. Консерваторы любят возражать на подобные аргументы, используемые против законов, запрещающих какие-то формы сексуальных отношений, порнографию, наркотики или, как в данном случае, азартные игры, что запрет убийства тоже проводится в жизнь лишь частично, но это не довод в пользу отмены *этого закона*. При этом они игнорируют ключевой момент: основная масса публики, инстинктивно следующая либертарианской логике, питает отвращение к убийству и никого не убивает, что делает запрет вполне реалистичным. Но то же большинство населения отнюдь не убеждено в преступности азартных игр, а потому так или иначе в них участвует, что делает закон совершенно неосуществимым.

Поскольку законы против пари явно нереализуемы, власти решили сосредоточиться на *заметных* формах азартных игр: на рулетке, букмекерстве, лотерее «цифры»[8*], тотализаторе – короче говоря, там, где азартные игры осуществляются на регулярной основе. Тем самым мы получили своеобразное и абсолютно необоснованное этическое суждение: рулетка или тотализатор на бегах каким-то образом оказываются моральным злом, поэтому против них следует бросить всю мощь полиции, а децентрализованные пари, получается, морально приемлемы и о них можно не беспокоиться.

В Нью-Йорке с годами развилась особая форма идиотизма: до недавнего времени были незаконны любые виды тотализатора, кроме действующего на ипподромах. Почему ставки на лошадь на Белмонтских или на Акведукских скачках прямо на ипподроме полностью согласуются с моралью и законом, а вот ставки на те же заезды у букмекера в соседнем квартале – это ужасный грех и преступление? Неужто закон обратил весь свой авторитет на службу тотализатору ипподрома? А вот вам недавнее новаторство. Сами нью-йоркские власти решили участвовать в тотализаторе, так что теперь делать ставки у городских букмекеров – это достойно и разумно, а вот ставить у конкурирующих с ними частных букмекеров – это по-прежнему позор и беззаконие. Понятно, что система сначала наделила привилегиями ипподромы, а потом распространила привилегии и на букмекерские конторы, принадлежащие городу. Другие штаты также начинают финансировать свои постоянно растущие расходы с помощью лотерей, которые мгновенно превращаются в воплощение моральности и респектабельности.

Стандартный аргумент в пользу запрета азартных игр гласит, что, если разрешить небогатому труженику играть, он по непредусмотрительности мгновенно спустит свой недельный доход, а его семья впадет в нищету. Если оставить в стороне тот факт, что никто не мешает ему проигрывать деньги приятелям, этот патерналистский и диктаторский аргумент весьма занятен. Если азартные игры следует запретить, потому что массы могут проиграться, то почему бы не запретить и большинство товаров массового потребления? В конце концов, если труженик намерен оставить семью без денег, у него для этого уйма возможностей: можно беспечно потратить слишком много на телевизор, на дорогую электронику, на выпивку, на бейсбольное обмундирование, да мало ли на что еще. Логика запрета азартных игр для защиты интересов тружеников и их семей ведет прямиком в тоталитарную тюремную камеру, в которой отечески заботливое правительство диктует каждому, что ему делать, как

тратить свои деньги, сколько и каких витаминов нужно глотать, и принуждает четко следовать всем предписаниям начальства.

Наркотические средства

Доводы в пользу запрета какого-либо продукта или деятельности, по сути дела, являются применением таких же двойных стандартов, которые используют в оправдание принудительной госпитализации душевнобольных: они наносят ущерб человеку или ведут к совершению преступлений против других. Любопытно, что общераспространенный и вполне оправданный страх перед наркотиками возбудил в массах иррациональное желание их запретить. Аргументы против запрета наркотиков и галлюциногенов намного слабее, чем доводы против сухого закона, эксперимента, будем надеяться, навсегда дискредитированного зловещей эпохой 1920-х годов. Ведь хотя наркотики несомненно опаснее алкоголя, последний также бывает губительным, а запрет чего-либо, что может навредить, напрямую ведет нас в ту самую тоталитарную клетку, в которой людям запрещают пирожные и заставляют есть полезные йогурты. Но если задуматься о вреде для окружающих, нужно признать, что алкоголь ведет к преступлениям, автомобильным авариям и подобным инцидентам чаще, чем наркотики, которые делают потребителя необыкновенно мирным и пассивным. Нужно признать, что есть очень сильная связь между пристрастием к наркотикам и преступлением, но связь эта свидетельствует как раз о пагубности запретов. Преступления совершаются наркоманами, идущими на воровство из-за крайней дороговизны наркотиков, вызванной их запретом! Если разрешить наркотики, их поставки на рынок резко увеличатся, взятки полиции и таможенникам останутся в прошлом, а цены упадут настолько, что необходимость воровать ради наркотиков отпадет.

Это не надо понимать, разумеется, как аргумент в пользу запрета алкоголя. Повторим еще раз: запрет чего-то, что *может* привести к преступлению, представляет собой незаконное посягательство на неприкосновенность частной жизни и собственности, посягательство, которое было бы куда более рациональным, если бы мы решились немедленно упрятать за решетку всех подростков мужского пола. Запрет может налагаться только на преступления, а для борьбы с преступлениями, совершенными в состоянии алкогольного опьянения, следует проявлять больше настойчивости в борьбе с ними самими, а не запрещать алкоголь. Кстати говоря, это поможет уменьшить и

количество преступлений, совершаемых совершенно *трезвыми* людьми.

В этой области патернализм исходит не только от правых. Любопытно, что либералы, в целом благосклонно относящиеся к легализации марихуаны, а порой и героина, стремятся запретить сигареты, поскольку курение часто приводит к раку легких. Они уже преуспели в использовании федерального контроля над телевидением для запрета рекламы сигарет, чем нанесли мощный удар той самой свободе слова, которую сами так поддерживают на словах.

Еще раз: у каждого есть право выбора. Веди пропаганду против сигарет, сколько тебе угодно, но предоставь человеку право жить своей жизнью. В противном случае мы можем дойти до запрета всех мыслимых канцерогенов, в том числе тесных ботинок, плохо подогнанных искусственных зубов, слишком длительного пребывания на солнце, а также чрезмерной любви к мороженому, яйцам и сливочному маслу, которые могут привести к сердечнососудистым заболеваниям. А если все эти запреты окажутся *нереализуемыми*, логика потребует загнать людей в клетки, где они будут получать свои безопасные порции солнца и жиров.

Коррупция в полиции

В конце 1971 года комиссия Кнаппа привлекла внимание публики к проблеме распространенности коррупции в полиции Нью-Йорка. За драматизмом отдельных эпизодов легко проглядеть центральную проблему, которую комиссия прекрасно осознавала. Буквально в каждом случае коррупции полицейские оказывались участниками регулярно функционировавшего бизнеса, по решению правительства объявленного незаконным. При этом огромное число людей, предъявлявших спрос на соответствующие товары и услуги, недвусмысленно демонстрировало свое несогласие с тем, что эта деятельность может быть приравнена к убийству, воровству или физическому насилию. И практически ни в одном случае подкуп полиции не был связан с этими преступлениями. Почти во всех случаях дело сводилось к тому, что полиция смотрела в сторону, когда осуществлялись вполне разумные и добровольные сделки.

Общегражданское право проводит принципиальное различие между тем преступлением, которое является *malum in se**(Деяние, преступное по своей природе (лат.)), и тем, которое представляет собой всего лишь *malum prohibitum***(Деяние, являющееся

преступным в силу запрещения законом (лат.)). *Malum in se* – это деяние, которое большинство людей считает предосудительным и которое должно быть наказано.Это в общих чертах совпадает с либертарианским определением преступления как посягательства на неприкосновенность личности или собственности, примером чему являются изнасилование, воровство и убийство. Другие преступления – это деятельность, которая объявлена преступной указами правительства и к которой люди относятся с достаточной терпимостью. Именно здесь пышно процветает коррупция.

Короче говоря, коррупция в полиции процветает в тех видах деятельности, где существует массовый спрос на услуги, объявленные государством незаконными, – наркотики, проституцию и азартные игры. Когда, например, азартные игры объявлены вне закона, в руки соответствующих полицейских подразделений попадает возможность продавать привилегию заниматься игорным бизнесом. Короче говоря, дело поставлено так, как если бы полиции было доверено выпускать особые лицензии на занятие этими видами деятельности, а потом распродавать эти неофициальные, но жизненно важные лицензии с максимально возможной прибылью.

Один полицейский показал под присягой, что если бы законы неукоснительно соблюдались, все строительство в Нью-Йорке немедленно бы остановилось – настолько замысловатыми и невыполнимыми требованиями государство опутало отрасль. Короче говоря, сознательно или нет, но правительство действует следующим образом: сначала оно запрещает некие виды деятельности – наркотики, азартные игры, строительство или что угодно еще,– а потом полиция продает предпринимателям привилегию участвовать в этом бизнесе.

Результатами этого в лучшем случае являются более высокие издержки и более низкая производительность, чем в ситуации свободного рынка. Но на деле результаты более пагубны. Полицейские зачастую продают не только разрешение функционировать, но и, по сути дела, привилегию на монополию. В этом случае организатор азартных игр платит полиции не только за право продолжать бизнес, но и за устранение конкурентов. Тогда потребители оказываются в зоне действия монополиста и не имеют возможности воспользоваться преимуществами конкуренции. Не удивительно, что когда в начале 1930-х годов сухой закон был, наконец, отменен, главными противниками этого выступили не только фундаменталисты и борцы за трезвость, но и организованные бутлегеры, которые в силу особых отношений с полицией и другими правоохранительными органами наслаждались

монопольным положением на черном рынке в период сухого закона.

Есть простой и эффективный способ избавиться от коррупции в полиции: *нужно отменить законы, направленные против любого добровольного предпринимательства и против всех «преступлений без потерпевшего»*. Тогда не только исчезнет коррупция, но и значительная часть полицейских сил высвободится для борьбы с *настоящими* преступниками, представляющими угрозу для личной безопасности и собственности граждан. В конце концов, это ведь и есть главная задача полиции.

Следует понять, что проблема коррупции в полиции так же, как и более широкий вопрос о коррупции в государстве, должна рассматриваться в более широком контексте. Дело в том, что, когда действуют несправедливые законы, запрещающие, регулирующие и облагающие налогами определенные виды деятельности, коррупция оказывается чрезвычайно благотворной для общества. В ряде стран без коррупции, которая обращает в ничто правительственные запреты, налоги и требования, не было бы ни торговли, ни промышленности. Коррупция смазывает колеса торговли. ***Решение не в том, чтобы жаловаться на коррупцию и удвоить брошенные на борьбу с ней административные ресурсы, а в отказе от политических решений и законов, которые делают коррупцию полезной и необходимой.***

Законы о праве на оружие

В большинстве случаев, которые мы рассматриваем в этой главе, либералы выступают за свободу торговли и производства, а консерваторы – за жесткое соблюдение законов и бескомпромиссную борьбу с их нарушителями. Но в случае законов о праве на оружие все ровно наоборот. Всякий раз, как в стране происходит очередное бессмысленное убийство с применением огнестрельного оружия, либералы удваивают агитацию за жесткий контроль над владением оружием, если не за полный его запрет, тогда как консерваторы встают на защиту личной свободы и против всяких ограничений.

Если, как верят либертарианцы, каждый человек имеет право на свое тело и имущество, то у него есть и право прибегать к насилию для защиты от преступных посягательств. Но либералы по каким-то странным причинам систематически пытаются лишить мирных граждан средств защиты от преступных посягательств. Несмотря на тот факт, что во Второй поправке к

Конституции утверждается, что «право народа хранить и носить оружие не должно нарушаться», правительство это право значительно сузило. Так, в Нью-Йорке, как и в большинстве других штатов, закон Салливана запрещает «скрытое ношение оружия» без соответствующего разрешения властей. Этот неконституционный указ не только ограничил право на ношение оружия – правительство еще и распространило этот запрет почти на все, что может служить оружием, даже если оно может быть использовано только для самозащиты. В результате потенциальным жертвам преступлений было запрещено носить ножи, баллончики со слезоточивым газом и даже шляпные булавки, а люди, использовавшие подобные предметы для защиты себя от нападения, подвергались судебному преследованию. В городах запрет на скрытое ношение оружия лишил мирных граждан любой возможности самозащиты. (Этот закон не запрещает носить *нескрываемое* оружие, но когда несколько лет назад один человек в Нью-Йорке для проверки закона вышел на улицу с винтовкой, он был немедленно арестован за «нарушение общественного порядка».) Более того, жертвы насилия настолько ограничены законами, запрещающими «превышение пределов необходимой самообороны», что на стороне преступника оказывается заведомое преимущество.

Следует отдавать себе отчет, что предметы *сами по себе* не агрессивны, зато любой предмет, будь это пистолет, нож или палка, может быть использован как для нападения и защиты, так и для множества других целей, никак не связанных с преступлением. В запретах и ограничениях на покупку и владение огнестрельным оружием смысла не больше, чем в запретах на владение ножами, дубинками, шляпными булавкам или камнями. Да и как можно запретить владение всем этим, а если все-таки получится, то как сделать запрет реальным? Вместо того чтобы преследовать мирных граждан, носящих при себе всякие вещи, лучше бы закон занялся борьбой с настоящими преступниками.

В пользу нашего вывода говорит еще одно соображение. Когда закон ограничивает или запрещает владение огнестрельным оружием, нет никаких оснований полагать, что настоящие преступники станут его соблюдать. Преступники всегда будут приобретать и носить оружие, так что от охранительного либерализма, устанавливающего запреты на приобретение и ношение огнестрельного и иного оружия, страдают только их невинные жертвы. Необходимо разрешить не только наркотики, азартные игры и порнографию, но и приобретение и ношение огнестрельного оружия и других предметов, которые могут быть использованы для самозащиты.

В известной статье, критикующей запреты на распространение короткоствольного оружия (которое больше всего раздражает либералов), профессор права Сент-Луисского университета, профессор Дон Б.Кейтс-мл. упрекает либералов в том, что в случае запретов на оружие они изменяют своей же логике, используемой для критики запретов марихуаны. Он указывает, что в Америке сегодня более 50 млн. человек владеют короткоствольным оружием и, если основываться на опыте прошлого и результатах социологических опросов, от двух третей до более чем 80% американцев не намерены подчиняться запретам на владение этим оружием. Неизбежным результатом запретов будут суровые и крайне избирательные наказания, что вызовет только неуважение к закону и правоохранительным органам. А избирательно закон будет применяться против тех, кто не нравится властям: «Закон применяется все более бессистемно, пока, наконец, он не будет использоваться только против тех, кого хочет наказать полиция. Вряд ли нам нужно напоминать об отвратительной тактике обысков и изъятия улик, к которой прибегали полиция и правительственные агенты, чтобы обвинить неугодных им людей». Кейтс добавляет, что «если эти аргументы кажутся знакомыми, то лишь потому, что они повторяют стандартные аргументы либералов против запретов марихуаны»[9].

Кейтс делает очень проницательное замечание о любопытной слепоте либералов к ряду проблем:

> Запрет на ношение оружия – это идея белых либералов из среднего класса, склонных забывать о положении бедных, принадлежащих к расовым меньшинствам и проживающих в районах, в которых полиция фактически признала свое поражение в борьбе с преступностью. Такого рода либералы никак не отреагировали на запрет марихуаны в 1950-х годах, когда полицейские облавы проводились исключительно в гетто. Надежно защищенные полицией в пригородах и частными охранниками, которых никто не собирается разоружать, в благополучных городских районах забывчивые либералы высмеивают право на владение оружием как «анахронизм Дикого Запада»[10].

Кейтс приводит свидетельство того, что наличие оружия действительно полезно для самозащиты: в Чикаго, например, за последние пять лет владеющие оружием граждане, защищая себя, обезвредили втрое больше вооруженных преступников, чем полиция. Как выяснил Кейтс, опираясь на данные исследований

нескольких сот стычек с преступниками, вооруженные граждане проявили большую эффективность, чем полиция: защищая себя, граждане арестовали, ранили, убили или отпугнули преступников в 75% стычек, тогда как полиция добивается успеха только в 61% подобных ситуаций. Нужно признать, однако, что жертвы, сопротивлявшиеся ограблению, чаще получают ранения, чем те, кто безропотно дает себя ограбить. Но Кейтс отмечает два важных момента: 1) безоружное сопротивление грабителям удваивает риск быть раненым или убитым; и 2) решение сопротивляться или нет, зависит от человека, его обстоятельств и его жизненных ценностей.

> Для белого образованного либерала с приличным банковским счетом главное – избежать ран и увечий. Но это куда меньше заботит того, кто живет на случайные заработки или пособие и в случае ограбления лишится средств на поддержание семьи в течение ближайшего месяца. Совсем другие приоритеты и у черного торговца, который не может позволить себе страховку от грабежей, а в случае ряда удачных нападений грабителей будет просто разорен.

В 1975 году национальный опрос владельцев короткоствольного оружия выявил, что среди тех, кто держит оружие исключительно для самозащиты, много черных, бедных и престарелых. «Именно этих людей, – красноречиво предостерегает Кейтс, – предложено отправлять в тюрьму только за то, что они хотят сохранить то единственное, что может защитить их семьи в районах, где полиция уступила территорию преступникам»[11].

А что говорит исторический опыт? Действительно ли, как утверждают либералы, запрет короткоствольного оружия ведет к существенному понижению уровня насилия в обществе? Факты свидетельствуют об обратном. Обширное исследование, проведенное в Висконсинском университете в конце 1975 года, недвусмысленно показало, что «законы о контроле над оружием не приводят к снижению количества преступлений с применением оружия». Так, висконсинское исследование проверило теорию о том, что простые мирные граждане не устоят перед искушением взяться за оружие в случае ссоры. Результаты обнаружили *отсутствие корреляции* между распространенностью огнестрельного оружия и уровнем убийств. Более того, этот результат подкреплен исследованием Гарвардского университета 1976 года, проведенным в связи с принятым в 1974 году в Массачусетсе законом, предусматривающим как минимум год

тюрьмы за незаконное владение оружием. Выяснилось, что благодаря этому закону в 1975 году было выявлено меньше случаев незаконного ношения оружия и было меньше нападений с угрозой оружия. Но гарвардские исследователи к своему изумлению обнаружили, что уровень насильственных преступлений не понизился. Иными словами,

> в соответствии с прежними криминологическими исследованиями, лишенный пистолета, разъяренный гражданин хватается за куда более смертоносную винтовку. Если лишить его любого огнестрельного оружия, он вооружится ножом, молотком и тому подобными предметами, которые при этом окажутся почти столь же смертоносными.

Отсюда вывод, что, «если запрет на владение короткоствольным оружием не сопровождается уменьшением числа убийств и других форм насилия, он может служить только дополнительным отвлечением сил полиции от предотвращения настоящих преступлений на борьбу с „преступлениями без потерпевшего“»[12].

Наконец Кейтс отмечает еще один интригующий момент: в обществе, в котором мирные граждане вооружены, люди намного чаще приходят на помощь жертвам преступлений. Но отберите у людей оружие, и публика решит предоставить все хлопоты полиции. До того как в Нью-Йорке запретили короткоствольное оружие, люди намного чаще приходили на помощь, чем в наши дни. Недавний опрос среди отважившихся оказать помощь тем, на кого напали грабители, показал, что 81% из них имели при себе оружие. Если мы хотим жить в обществе, в котором граждане приходят на выручку попавшим в беду соседям, нельзя лишать их возможности деятельно и эффективно противостоять преступникам. Абсурдная ситуация – сначала людей разоружают, а потом обвиняют в равнодушии, потому что безоружные и беспомощные не торопятся на выручку тем, на кого напали преступники.

7. Образование

Обязательное государственное образование

До недавнего времени в Америке к немногим учреждениям относились с большим пиететом – особенно либералы, – чем к государственной школе. Преданность государственной системе образования отличала даже сторонников президентов Джефферсона и Джексона, которые в большинстве случаев придерживались либертарианских взглядов. Государственная школа считалась ключевым компонентом демократии, источником братских отношений, врагом элитаризма и раздробленности американского общества. Она была воплощением права каждого ребенка на образование, в ней возникало взаимное понимание и гармония отношений между людьми всех профессий и любого общественного положения, которым предначертано жить рядом друг с другом с самого раннего возраста.

С расширением государственной системы образования были приняты законы об обязательном обучении, в соответствии с которыми все дети до определенного – и постоянно увеличивающегося – возраста обязаны посещать государственную или сертифицированную частную школу. В отличие от прежних времен, когда сравнительно небольшая часть населения продолжала учебу в старших классах, сегодня подавляющее большинство обязано отдавать учебе в школе те годы, когда дети отличаются наибольшей податливостью и впечатлительностью. Мы могли бы рассмотреть законы об обязательном обучении в главе о подневольном служении, потому что где еще найти более наглядный пример? В последнее время Пол Гудман и другие скептики в отношении системы образования подвергли язвительной критике пороки государственных и, в меньшей степени, дополняющих их частных школ как обширнейшей тюремной системы для молодежи, где миллионы противящихся учебе и непригодных для нее детей силой встраивают в структуру образования. Тактика «новых левых», врывавшихся в средние школы с криком «Побег из тюрьмы!», была, пожалуй, нелепой и неэффективной, но в этом лозунге заключалась великая правда о школьной системе: все молодое поколение под предлогом образования загоняют в просторные тюрьмы, где учителя и администраторы служат заменой надсмотрщикам и охране. Так что же мы удивляемся массовой подавленности, недовольству,

отчуждению и мятежным настроениям части молодежи? Удивляет лишь то, что бунта пришлось ждать так долго. Но сегодня все больше и больше людей признают, что у величайшего института Америки огромные проблемы, что, особенно в больших городах, школы превратились в рассадник преступности, мелкого воровства и наркомании, что в этой атмосфере, корежащей умы и души детей, об образовании всерьез говорить не приходится[1].

Отчасти в такой тирании по отношению к молодому поколению виноват неуместный альтруизм части образованного среднего класса. Им кажется, что рабочие, «низшие классы», должны получить возможность учиться, возможность, которую столь высоко ценят они сами. И если родители или дети окажутся настолько неразвитыми, что не захотят использовать открывшуюся перед ними потрясающую возможность, что ж, немного принуждения не повредит – «для их же блага», разумеется.

Роковое заблуждение поклоняющегося школе среднего класса – в нелепом отождествлении формального школьного обучения и *общего образования*. Образование – это пожизненный процесс, который происходит не только в школе, но и во всех сферах жизни. Когда ребенок играет, слушает родителей или друзей, когда он читает газету или работает, он расширяет свое *образование*. По сути, школьное обучение – это только малая часть образовательного процесса, и оно пригодно лишь для изучения формальных дисциплин, особенно самых передовых и систематизированных.Элементарные знания – умения читать, писать и считать – легко освоить дома, ни разу не заходя в школу.

Более того, одна из великолепных особенностей человечества – это его разнообразие, тот факт, что человек уникален, обладает единственными в своем роде способностями, интересами и наклонностями. Принуждать к формальному обучению детей, не имеющих к этому ни способностей, ни интереса, – это настоящее преступление, калечащее ум и душу ребенка. Пол Гудман настаивает на том, что большинству детей было бы куда лучше, если бы им позволили начинать работать в раннем возрасте, осваивать профессию и все то, к чему они лучше всего приспособлены. Америка была построена гражданами и лидерами, многие из которых получили ничтожное школьное образование или вовсе никакого, и идея, что каждому человеку необходим диплом о среднем образовании (а в наши дни и диплом бакалавра), прежде чем он сможет начать работать и жить в этом мире, – это нелепое изобретение нашей эпохи. Отмените законы об обязательном образовании, дайте детям жить своим умом, и мы опять превратимся в страну людей, много более

производительных, любознательных, творческих и счастливых. Многие проницательные противники «новых левых» и бунтующей молодежи отмечали, что недовольство молодых и их уход от реальности в значительной мере порождены слишком длительным пребыванием в школе, затянувшимся состоянием зависимости и безответственности. Очень хорошо, но в чем же главная причина постоянного увеличения длительности школьного обучения? Очевидно, что система в целом и прежде всего законы об обязательном образовании ориентированы на то, что каждый должен бесконечно учиться: сначала обязательным стал курс средней школы, потом – колледжа, а вскоре, пожалуй, каждому придется сдавать экзамены и на степень доктора философии. Именно принудительное массовое образование создает недовольство и бесконечные поиски убежища от реального мира. Ни в какой другой стране и ни в какую другую эпоху не было подобной маниакальной зацикленности на массовом образовании.

Поразительно, что и правые либертарианцы, и «новые левые», основываясь на совершенно разных позициях и используя абсолютно разную риторику, пришли к сходному представлению о деспотической природе массового образования. Так, Альберт Джей Нок, великий индивидуалист и теоретик 1920–1930-х годов, осудил систему образования за то, что она, побуждаемая необоснованной эгалитарной верой в равную обучаемость каждого ребенка, загоняет необучаемые массы в школы. Вместо того чтобы позволить учиться в школе ребенку, обладающему необходимыми для этого склонностями и способностями, в школы принуждают ходить абсолютно всех детей – якобы ради их же блага, а в результате мы имеем сломанные судьбы тех, кто не годится для школы, и резко ослабленные возможности учиться для действительно обучаемых. Нок также проницательно критикует нападающих на «прогрессивное образование» консерваторов за снижение образовательных стандартов, происходившее из-за того, что в школьные программы вводили курсы вождения автомобиля, вязания или выбора дантиста. Нок отмечает, что раз уж вы загнали в школу множество детей, не способных усвоить классическое образование, вам *приходится* менять программу и включать в нее профессиональное обучение, доступное наименее способным детям. Фатальным изъяном являются не новшества в образовательном процессе, а стремление к универсальному образованию, реакцией на которое становится отказ от его стандартизации[2].

Такие критики из «новых левых», как Джон МакДермотт и Пол Гудман, со своей стороны утверждают, что средний класс

загонял детей низших слоев населения, многие из которых обладали совершенно неподходящими для этого ценностями и склонностями, в систему государственных школ, задуманную как инструмент приобщения к среднему классу. С точки зрения какого бы класса или идеала образования эти заявления не произносились, смысл их критических претензий остается тем же: огромное число детей принуждают посещать учреждение, которое им совсем не интересно и не подходит.

В самом деле, если обратиться к истории создания обязательных для посещения государственных школ, мы обнаружим, что главным мотивом был не абстрактный альтруизм, а конкретное желание придать массе людей качества, отвечающие идеям и желаниям власть имущих. Непокорные меньшинства должны были влиться в состав большинства, а всему населению надлежало привить гражданские добродетели, главной из которых всегда была покорность аппарату власти. Если уж решено, что массы будут получать образование в государственных школах, каким образом эти школы могли не стать мощным инструментом насаждения лояльности к органам государственной власти? Мартин Лютер, вождь первого движения Нового времени за обязательное государственное образование, сформулировал это требование в знаменитом письме 1524 года правителям Германии:

> Досточтимые господа… Я настаиваю, что гражданские власти обязаны заставить народ посылать своих детей в школу… Если уж правительство может принудить граждан, пригодных к несению воинской службы, носить копье и аркебузу и исполнять прочие военные обязанности во время войны, то насколько больше его право потребовать, чтобы народ послал своих детей в школу, потому что в этом случае у нас идет схватка с дьяволом, который хочет скрытно истощить наши города и наших князей[3].

Как видно, с точки зрения Лютера государственные школы должны были стать незаменимым инструментом «схватки с дьяволом», т.е. с католиками, евреями, неверными и конкурирующими протестантскими сектами. Современный поклонник Лютера и обязательного обучения счел нужным добавить, что

> неизменная положительная ценность требования, сформулированного Лютером в 1524 году, лежит в… утверждении священной для протестантской Германии

связи между государственной религией и обязанностью каждого получать образование. Нет сомнений, что именно этим было создано то здоровое общественное мнение, которое позволило Пруссии воспринять идею обязательного школьного обучения намного раньше, чем Англии[4].

Другой протестантский вероучитель, Жан Кальвин, был не менее рьяным поклонником массового школьного образования, и по сходным причинам. Поэтому нет ничего удивительного в том, что впервые обязательное школьное обучение на территории Америки было введено на берегу Массачусетского залива исповедовавшими кальвинизм пуританами, страстно жаждавшими утвердить в Новом Свете абсолютистскую теократию по женевскому образцу. В июне 1642 года, всего через год после того, как колония Массачусетского залива приняла первые законы, она создала и первую в англоязычном мире систему обязательного школьного обучения. Закон провозглашал:

> Поскольку хорошее обучение детей приносит исключительную пользу и выгоду любому сообществу и поскольку многие родители и домохозяева слишком беспечно и нерадиво относятся к такого рода обязанности, установлено, что члены городского управления каждого города… должны неусыпно следить за своими соседями, чтобы удостовериться прежде всего в том, что их семьи не страдают от такого варварства, чтобы не заботиться об обучении, собственными силами или с помощью других, своих детей и воспитанников[5].

Через пять лет после этого в колонии Массачусетского залива во исполнение этого закона были созданы общественные школы. Таким образом, с самого начала американской истории желание формировать, наставлять и воспитывать послушание в массах населения было главным мотивом создания общественных школ. В колониальный период общественные школы использовались для подавления религиозного разномыслия, а также для внушения непокорным слугам идеи послушания властям предержащим. Примечательно, например, что в борьбе с квакерами власти Массачусетса и Коннектикута запретили этому религиозному течению создавать собственные школы. А Коннектикут в тщетной попытке подмять движение новоозаренных[6*] в 1742 году запретил организовывать свои школы и этой секте. В противном случае, рассудили власти Коннектикута, новоозаренные смогут «обучить молодежь своим

ужасным принципам и обычаям и вызовут настроения, которые могут иметь гибельные последствия для общественного мира и благополучия колонии»[7].Вряд ли можно считать случайностью то, что единственная подлинно свободная колония Новой Англии – Род-Айленд – была и единственным местом в тех краях, где не было государственного образования. После завоевания независимости мотивы создания обязательной системы образования остались в основном прежними. Так, Арчибальд Д. Мэрфи, отец государственной системы школьного образования в Северной Каролине, следующим образом обрисовал необходимость подобных школ:

> В них будут учить всех детей… В этих школах будут прививать заповеди морали и религии и сформируют привычки подчинения и послушания… Их родители не знают, как обучать их… Государство, в сердечной заботе об их благополучии, должно взять на себя ответственность за этих детей и поместить их в школы, где их разум получит просвещение, а сердца будут приучены к добродетели[8].

Обязательное школьное обучение обычно использовали для подавления и подчинения этнических и языковых меньшинств или подвергающихся колонизации народов, чтобы принудить их к отказу от собственного языка и культуры в пользу языка и культуры правящих групп. Англичане в Ирландии и Квебеке, страны Азии, Центральной и Восточной Европы – все они загоняли свои национальные меньшинства в государственные школы, управляемые метрополиями. Одним из самых могущественных стимулов к недовольству и мятежам было желание угнетенных народов спасти свой язык и историческое наследие от полного забвения, близкую перспективу которого обещала система обязательного школьного образования. Так, либеральный экономист Людвиг фон Мизес полагал, что в многоязычных странах

> приверженность политике обязательного образования совершенно несовместима с усилиями по укреплению прочного мира. Критически важен вопрос о выборе языка преподавания. Тот или иной выбор с годами определит национальность всей территории. Школа может сделать детей чужими национальности, к которой принадлежат их родители, и может быть использована как инструмент подавления национального самосознания. Тот, кто контролирует школы, может

причинить ущерб другим национальностям и принести выгоду своей собственной.

Более того, Мизес отмечает, что принуждение, неотделимое от господства одной национальности, закрывает возможность решить проблему предоставлением каждому родителю права отдать своего ребенка в школу, использующую его родной язык.

> Зачастую человек лишен возможности – в силу заботы о средствах к существованию – открыто объявлять свою принадлежность к той или иной национальности. В условиях интервенционизма это может стоить ему потери клиентов, принадлежащих к другой национальности, или работы на предпринимателя другой национальности… Предоставить родителям выбор школы, куда они хотели бы отдать своих детей, значит подвергнуть их всем мыслимым формам политического насилия. Во всех районах со смешанным национальным составом населения школа – это важнейший политический фактор. Ее невозможно лишить этого значения, пока она остается государственной и обязательной. Фактически существует только **одно** решение: **государство, правительство, законы не должны никоим образом затрагивать школы или образование. Государственные средства не должны расходоваться на эти цели. Воспитание и обучение молодежи должно быть всецело предоставлены родителям и частным организациям**[9].

По сути, один из главных мотивов легиона американских реформаторов середины XIX века, которые создали современную систему государственного образования, заключался как раз в использовании школы для того, чтобы единообразно сформировать культурные и языковые навыки волн иммигрантов и превратить их, как сказал активный деятель в области образования Сэмюэл Льюис, в «единый народ». Главным импульсом реформы образования было желание англосаксонского большинства направить и переделать иммигрантов, а прежде всего разрушить систему католических приходских школ. «Новые левые» критики, которые обвиняют сегодняшние государственные школы в том, что те стремятся сформировать умы детей гетто по единому шаблону, точно подметили современное воплощение давней и излюбленной цели идеологов системы школьного образования, таких как Хорас

Манн, Генри Барнард и Калвин Стоу. Именно Манн и Барнард призывали использовать школы для воспитания невосприимчивости к идеям «охлократического» движения сторонников президента Джексона. Именно Стоу, автор восторженного трактата о прусской системе обязательного школьного обучения, основы которой были заложены еще Мартином Лютером, писал о школах языком, заставляющим вспомнить язык лютеровских посланий и армейских приказов:

> Если забота об общественной безопасности дает правительству право принуждать граждан нести воинскую повинность, когда страна в опасности, та же причина разрешает правительству заставить их позаботиться об образовании собственных детей… У человека не больше прав подвергать опасности государство, сваливая на него семейство невежественных и порочных детей, чем давать приют лазутчикам вторгшейся в страну армии[10].

Сорок лет спустя Ньютон Бейтман, видный деятель образования, говорил о праве государства на «принудительное отчуждение собственности» в отношении «умов, душ и тел» детей нашего народа: образование, утверждал он, «не должно зависеть от причуд и личных обстоятельств граждан»[11].

Самая амбициозная попытка сторонников государственной школы добиться полного контроля над юным поколением имела место в Орегоне в начале 1920-х годов. Недовольный тем, что приходится терпеть частные школы, получившие государственный сертификат, 7 ноября 1922 года штат Орегон принял закон, запретивший их и потребовавший обучать детей только в государственных образовательных заведениях. Это был кульминационный момент. Наконец-то все дети будут обязаны пройти через «демократизирующий» механизм шаблонного государственного образования. К счастью, Верховный суд Соединенных Штатов в 1925 году признал этот закон неконституционным. Судьи заявили, что «ребенок не является творением государства» и что орегонский закон противоречит «фундаментальной теории свободы, на которую опираются все власти Соединенных Штатов». Фанатические приверженцы государственных школ больше никогда не пытались зайти так далеко. Очень поучительно присмотреться к тем силам, которые пытались запретить в штате Орегон все частные учебные заведения. За этим законом стояли не либералы, т.е. не прогрессивные педагоги и не интеллектуалы, как можно было бы ожидать, а Ку-клукс-клан, который был тогда в силе в северных

штатах и стремился разрушить систему католических приходских школ, чтобы подвергнуть всех детей католиков и иммигрантов «американизирующему» воздействию неопротестантской государственной школы. Любопытно отметить, что, по мнению куклускскановцев, этот закон был необходим для «сохранения свободных учреждений». Стоит поразмышлять над тем, что самыми пылкими сторонниками «прогрессивной» и «демократической» системы государственных школ были люди, жившие на задворках американской жизни и страстно мечтавшие об уничтожении разнообразия и пестроты Америки[12].

Единообразие или разнообразие?

Хотя современные педагоги не доходят до таких крайностей, как Ку-клукс-клан, важно отдавать себе отчет в том, что сама *природа* государственных школ *требует* утверждения единообразия и изгнания всякого разнообразия и индивидуальности из сферы образования.

Ведь природа любой государственной бюрократии требует жить в соответствии с набором правил и навязывать эти правила единообразным и неотвратимым образом. Если действовать как-то иначе, бюрократу пришлось бы в каждом отдельном случае принимать решение в соответствии с обстоятельствами, и тогда его обвинили бы, и вполне справедливо, что он не обращается с каждым налогоплательщиком и гражданином равным и унифицированным образом. Его обвинят в дискриминации и предоставлении привилегий. Более того, с чисто административной точки зрения лучше, чтобы бюрократ действовал по правилам и единообразно. В отличие от нацеленного на прибыль частного предпринимателя, правительственный бюрократ не заинтересован ни в эффективности, ни в том, чтобы наилучшим образом обслуживать своих клиентов. Не имея нужды в прибылях и не страшась никаких убытков, бюрократ не обращает внимания на требования и желания своих клиентов-потребителей. Его главный интерес в том, чтобы «жить без проблем», а этого он достигает беспристрастным применением единообразных правил, не заботясь о том, насколько уместными они оказываются в каждом конкретном случае.

В системе школьного образования бюрократу приходится принимать множество важных и неоднозначных решений относительно модели обучения. Он должен решить, каким должно быть обучение в школе – традиционным или

прогрессивным, капиталистическим или социалистическим, конкурентным или эгалитарным, гуманитарным или техническим, расово сегрегированным или совместным, религиозным или светским, с программой полового воспитания или без нее? Или в каждом случае нужно выбирать какой-то средний путь между крайностями? Проблема, однако, в том, что *как бы* он ни решил, даже если его решение будет одобрено большинством участников образовательного процесса, все равно найдется немало родителей и детей, которые стремятся к совсем иному типу образования. Если сделать выбор в пользу традиционных школьных дисциплин, то в проигрыше останутся прогрессивно настроенные родители, и наоборот. То же самое относится ко всем другим ключевым решениям. Чем больше единообразия в системе государственного образования, тем больше родителей и детей будут недовольны тем, что не получают желаемого. А чем более государственной становится система школьного образования, тем больше в ней единообразия, пренебрегающего желаниями и нуждами отдельных лиц и меньшинств.

Соответственно, чем сильнее государственные школы теснят частное образование, тем острее конфликт в социальной жизни. Ведь если все существенные решения принимаются одним ведомством, то для заинтересованных групп становится еще важнее получить контроль над правительством и не допустить, чтобы к власти пришли их противники. Поэтому в образовании, как и везде, чем больше частные решения вытесняются правительственными, тем ожесточеннее идет борьба между различными группами влияния, заинтересованными в том, чтобы во всех жизненно важных областях дела шли желательным для них образом.

Сравните остроту социальных конфликтов в государственно-бюрократической сфере с тем, как идут дела в рыночном хозяйстве. Если бы образование было исключительно частным, каждая группа родителей могла бы выбрать школу по себе. Возникло бы изумительное многообразие школ, соответствующее разнообразию образовательных требований родителей и детей. Одни школы были бы традиционными, другие – прогрессивными. Многообразие занимало бы всю ширину спектра между полюсами традиции и прогресса. Одни школы экспериментировали бы с эгалитарными подходами и обходились бы без отметок, а другие подчеркивали бы необходимость хорошей учебы и успеваемости; одни школы были бы светскими, а другие выбрали бы русло тех или иных религий; одни школы акцентировали бы преимущества свободного предпринимательства, а другие проповедовали бы

разные формы социализма.

Рассмотрим, например, структуру рынка журналов или книг, памятуя о том, что журналы и книги сами являются существенной частью сферы образования. Журнальный рынок, будучи довольно свободным, отвечает всевозможным вкусам и требованиям потребителей: существуют общенациональные журналы, в которых отражены различные мнения, но также есть издания либеральные, консервативные и всех оттенков идеологического спектра. Существуют специализированные научные издания, а также множество журналов, ориентированных на особые интересы и хобби – бридж, шахматы, электронику. Сходную картину мы наблюдаем и на свободном книжном рынке: есть популярные книги, есть книги, ориентированные на узкие группы, в том числе идеологические. Стоит ликвидировать государственную школу, и рядом со свободными и разнообразными рынками журналов и книг появится рынок школ. И наоборот, оставьте только один журнал для каждого города или штата и попробуйте представить, какие битвы немедленно развернутся вокруг него: будет ли он консервативным, либеральным или социалистическим, сколько места он будет выделять беллетристике или бриджу. Развернутся острейшие конфликты, и ни одно решение не покажется удовлетворительным, потому что *любое* решение придется не по нраву множеству людей, которые не получат того журнала, какого им хочется. То, к чему призывают либертарианцы, не столь эксцентрично, как может показаться вначале, поскольку призывают они всего лишь к созданию системы школьного образования, которая была бы столь же свободной и разнообразной, как большинство современных средств обучения.

Но вернемся к другим средствам образования. Как бы нам понравилось предложение, чтобы правительство, федеральное или штата, использовало деньги налогоплательщиков для создания общенациональной сети газет или журналов, а затем всех, в том числе всех детей, обязало их читать? А что бы мы подумали, если бы правительство при этом запретило все другие газеты и журналы или, по крайней мере, все издания, не отвечающие определенным стандартам того, что, по мнению государственной комиссии, детям следовало бы читать? Нет сомнений, что такое предложение вызвало бы ужас по всей стране, но ведь именно такой режим установлен правительством в школах. Обязательные для чтения государственные издания были бы справедливо расценены как покушение на свободу печати, но разве свобода в школьном образовании менее важна, чем свобода печати? Разве они не одинаково важны для

информирования и образования публики, для свободного исследования и поиска истины? По сути дела, подавление свободы школьного образования должно быть воспринято с еще большим ужасом, чем подавление свободы печати, потому что в первом случае речь идет о нежном и еще несформировавшемся уме детей.

Крайне любопытно, что отдельные сторонники государственных школ осознали родство школы и прессы и в своей логике дошли до предела. Так, в 1780-х и 1790-х годах заметную роль в политической жизни Бостона играла архифедералистская Эссекская хунта[13*] – группа ведущих торговцев и адвокатов родом из округа Эссекс, штат Массачусетс. Члены Эссекской хунты были горячими сторонниками государственного школьного образования, которое бы воспитывало молодежь в духе «должной субординации». Один из них, Стивен Хиггинсон, открыто заявил, что «людей надо учить доверяться своим руководителям и преклоняться перед ними». А другой – торговец и теоретик Джонатан Джексон, осознавший, что газеты являются не менее важной формой обучения, чем школы, обвинил свободную печать в том, что она неизбежно идет на поводу у читателей, и, соответственно, пропагандировал национализацию прессы, что сделало бы ее независимой от покупателей и подписчиков и позволило бы прививать гражданам нужные качества[14].

Профессор Э. Дж. Уэст провел поучительную аналогию между обеспечением детей образованием и пищей, которая столь же важна для них. Уэст пишет:

> Защита детей от голода или недоедания предположительно столь же важна, как и защита от невежества. Трудно представить, однако, чтобы любое правительство, озабоченное тем, чтобы дети были должным образом накормлены и одеты, приняло законы об обязательном и всеобщем обеспечении едой или чтобы оно повысило налоги ради того, чтобы обеспечить детей бесплатным питанием в местных государственных столовых или магазинах. Еще труднее вообразить, что большинство населения безропотно примет подобную систему, особенно если она дойдет до того, что «по административным соображениям» родителей будут приписывать к снабжению через ближайшие к их домам магазины… Но при всей странности этих гипотетических мер, изумляющих, когда речь идет об обеспечении едой и одеждой, именно такая система типична для…

государственного школьного образования[15].

Несколько мыслителей-либертарианцев как левого, так и правого толка выступили с острой критикой тоталитарной природы обязательного школьного образования. Так, британский левый либертарианец Герберт Рид пишет:

> Человечество, естественно, сильно дифференцированно, и если продавить все имеющиеся типажи через одну форму, мы неизбежно получим уродливые искажения и деформацию. Школы должны быть разными, они должны использовать разные методы и ориентироваться на учащихся с разными склонностями. Можно было бы доказать, что даже тоталитарное государство должно признавать этот принцип, но истина в том, что дифференциация – это органический процесс стихийного и переменчивого соединения индивидов ради достижения конкретных целей… Вся структура образования как естественного процесса распадется на части, если мы попытаемся сделать эту структуру… искусственной[16].

Великий английский философ второй половины XIX века, индивидуалист Герберт Спенсер высказался так:

> Что имеют в виду, когда говорят, что правительство должно заботиться об образовании? Почему оно должно заниматься образованием? В чем предназначение образования? Очевидно в том, чтобы сделать людей пригодными для общественной жизни – сделать их хорошими гражданами? А кто должен сказать, что такое хорошие граждане? Правительство – других судей нет. А кто должен сказать, как можно превратить людей в хороших граждан? Правительство – других судей нет. Поэтому приходим к следующему выводу: правительство должно превращать детей в хороших граждан… Сначала оно должно создать для себя определенное представление об образцовом гражданине и, имея эту модель, разработать такую систему обучения, которая окажется наиболее пригодной для производства граждан по этому образцу. Эту систему обучения оно должно будет провести в жизнь с предельно возможной точностью и полнотой. Потому что если оно этого не сделает, оно позволит людям стать иными, чем, по его разумению, они должны быть, а значит, не справится с

возложенной на себя обязанностью[17].

А американка Изабель Паттерсон, сторонница индивидуализма уже из XX века, заявила:

> Использующиеся в образовательном процессе тексты по необходимости избирательны – в отношении тем, языка и точки зрения. Когда обучением занимаются частные организации, школы очень разнообразны, а родители должны смотреть на предлагаемый курс обучения и думать о том, чему, по их мнению, должны учить их детей… Никому не захочется учить «превосходству государства как обязательной философии». Но каждая политизированная система образования рано или поздно начнет насаждать доктрину превосходства государства в виде, то ли божественного права королей, то ли воли народа (в демократическом государстве). Как только эта доктрина принята, избавление от удушающего влияния политической власти на жизнь граждан превращается почти в сверхчеловеческую задачу. Эта доктрина чуть ли не с младенчества овладевает телом, собственностью и сознанием людей. Скорее от спрута можно ожидать, что он ослабит хватку. Существующая за счет налогов система обязательного образования – это точная модель тоталитарного государства[18].

Как отметил Э.Дж. Уэст, штаты, руководствуясь административно-бюрократическими соображениями, неизменно создавали школьные округа[19*], и каждый ребенок, собравшийся учиться в государственной школе, должен будет посещать ту, что ближе к месту его жительства. Хотя в условиях свободного рынка частных школ большинство детей также будут учиться в ближайших к дому школах, существующая система – это монополия школьного совета и административных предписаний. Детям, которые по каким-то причинам хотели бы учиться в школе другого округа, это запрещено. Результатом является принудительное географическое единообразие и тот факт, что характер каждой школы полностью зависит от ее местоположения. При этом неизбежно получается, что для государственных школ характерно не универсальное единообразие, а единообразие *окружное*, так что состав учеников, финансовые возможности и качество обучения в каждой школе зависят от доходов, обеспеченности и налогового потенциала округа. В результате богатые школьные округа больше платят

учителям, нанимают более талантливых преподавателей и создают для них более привлекательные условия работы. Учителя стремятся устроиться на работу в самые хорошие школы, и лучшие из преподавателей обычно оказываются в более обеспеченных школьных округах, а менее способным приходится оставаться в округах бедных. Таким образом, система школьных округов неизбежно ведет к отрицанию той самой эгалитаристской цели, ради которой вроде бы и была создана система государственных школ.

Более того, когда жилые районы сегрегированы по расовому признаку, что бывает довольно часто, результатом системы школьных округов становится расовая сегрегация в государственных школах. Родители, предпочитающие совместное обучение, должны выступать против географической монополии школьных округов. Более того, в соответствии со словами одного остряка «в наши дни, что не запрещено, то обязательно», школьная бюрократия вместо того, чтобы наладить перевозки детей школьными автобусами в школы, выбранные родителями, предпочла обязательные автобусные перевозки и принудительную расовую десегрегацию школ, так что учеников порой возят на довольно далекие расстояния. Перед нами в очередной раз возникает типичная государственная схема: либо принудительная сегрегация, либо принудительная десегрегация. Добровольное решение – предоставить выбор школы самим родителям – не по нраву любой государственной бюрократии.

Любопытно, что недавние кампании за установление родительского контроля над образованием в государственных школах называли порой и «крайне правыми», и «крайне левыми»,тогда как мотивы либертарианцев во всех случаях были одними и теми же. Так, когда родители выступили против принудительных автобусных перевозок своих детей в отдаленные школы, бюрократы из департамента образования осудили это за «фанатизм правого толка». Но когда в похожей ситуации негритянские родители в Нью-Йорке потребовали поставить школы под родительский контроль, их требования осудили как «левацкие» и «нигилистические». Самое примечательное в обоих случаях то, что родители тоже не смогли понять, что ими движет общее стремление поставить школы под свой контроль, и сами клеймили противоположную группу за «фанатизм» и «воинственность». Трагично, что ни белые, ни черные группы не поняли, что их общим врагом является государственная бюрократия в области образования, пытающаяся навязать им форму обучения, которая, по мнению бюрократии, должна быть предназначена строптивым массам. Либертарианцы должны

довести до понимания всех групп родителей тот факт, что они выступают против педагогической тирании государства. При этом, разумеется, следует отчетливо понимать, что радикально здесь ничего изменить не удастся, пока система государственных школ не будет полностью ликвидирована и школьное обучение опять не станет свободным.

Деление на школьные округа по всей стране, а прежде – в пригородах больших городов, привело к сегрегации населенных пунктов по доходу и, в конечном итоге, по расовому признаку. Как известно, после окончания Второй мировой войны в Соединенных Штатах имел место отток населения из городов в пригороды. Поскольку молодые семьи перемещались в пригороды, главной проблемой местных бюджетов стало содержание школ, которым было нелегко угнаться за быстрым ростом числа учащихся.Школы финансировались из налогов на собственность, собиравшихся с жителей пригородных районов. Это означает, что чем богаче была семья, переселившаяся за город, чем дороже ее дом, тем значительнее был и ее взнос в содержание местной школы. Жители пригородов, соответственно, были заинтересованы в притоке богатых жителей и владельцев дорогих домов, а также в *недопущении* на свою территорию менее состоятельных граждан. Короче говоря, в цене дома есть точка самоокупаемости, за которой новая семья в новом доме с лихвой оплатит образование детей своими налогами на недвижимость. Семьи из домов, цена которых не дотягивает до точки самоокупаемости, будут платить недостаточно налогов на обучение своих детей, что повышает налоговое бремя остальных жителей пригорода. Осознавая эту зависимость, пригороды приняли жесткие законы о зонировании, запрещающие строительство домов, стоимостью ниже определенного минимума, что поставило барьер перед притоком в пригороды сравнительно малообеспеченных семей. Так как среди негров доля бедных выше, чем среди белых, это перекрыло черным дорогу в пригороды. А поскольку вслед за населением из центров городов начали перемещаться предприятия и рабочие места, результатом стало повышение безработицы среди негров, и по мере переноса рабочих мест в пригороды ситуация будет только ухудшаться. Ликвидация системы школьных округов и государственных школ, а вместе с этим и ликвидация связи между финансированием школ и налогами на недвижимость, в конечном итоге приведет к отмене зонирования и окончанию эпохи, когда пригороды превратились в заповедники для белых из верхушки среднего класса.

Само существование системы государственных школ порождает сложную сеть налогов и субсидий, не имеющих сколько-нибудь внятного морального обоснования. Прежде всего, родители, предпочитающие отдавать своих детей в частные школы, вынуждены нести бремя двойных расходов: они сами платят за обучение своих детей, а своими налогами субсидируют обучение в государственных школах. В крупных городах только очевидный распад системы государственных школ сделал возможным процветание школ частных. В сфере высшего образования, где распад не был столь выраженным, частные колледжи теряют почву под ногами под натиском государственных колледжей, которые могут из средства налогоплательщиков больше платить преподавателям и меньше брать со студентов. Вспомним и о том, что по Конституции государственные школы могут быть только светскими, а это значит, что религиозным родителям приходится платить налоги на содержание светских государственных школ. Отделение церкви от государства – это благородный принцип, соответствующий общему либертарианскому подходу – *все отделить от государства*, но здесь он перешел в какую-то дикую крайность: государство принуждает верующих людей субсидировать обучение неверующих.

Существование государственной школы означает также, что холостые и бездетные пары вынуждены субсидировать семьи с детьми. В чем здесь этический смысл? А сегодня, когда рост населения вышел из моды, представьте себе непоследовательность либеральных борцов с ростом населения, защищающих систему государственных школ, которая обеспечивает не только субсидирование семей с детьми, но еще и субсидирование в пропорции к числу детей в семье. Не обязательно присоединяться к истерии борцов с перенаселением, чтобы поставить под вопрос разумность государственного субсидирования многодетных семей. Ведь кроме всего прочего, бездетные пары и холостяки вынуждены при этом субсидировать богатые многодетные семьи. Есть ли в этом какой-либо моральный смысл?

В последние годы сторонники государственных школ пропагандируют доктрину, что «каждый ребенок имеет право на образование», иными словами, что налогоплательщики должны это право оплачивать. Но эта концепция неверно истолковывает саму идею права. Право, с философской точки зрения,– это нечто внутренне присущее природе человека и этого мира, нечто, что

может быть сохранено и удержано в любое время и в любом возрасте. Право на самого себя, на защиту свой жизни и собственности, принадлежит к правам именно такого типа: оно применимо и к неандертальцу, живущему в пещере, и к современному жителю Калькутты или Соединенных Штатов. Такое право не зависит от обстоятельств места и времени. Но право на труд, на трехразовое питание или на двенадцатилетнее школьное образование не может быть гарантировано подобным же образом. Такого рода права *не могут* существовать, как оно и было во времена неандертальцев или есть в современной Калькутте. Если право – это нечто такое, что может быть реализовано только в условиях современной индустриальной цивилизации, значит оно вообще не относится к числу естественных прав человека. Более того, либертарианское право на самого себя не требует того, чтобы какую-то группу людей ставили перед необходимостью заботиться об обеспечении этого права для другой группы. *Каждый* человек может обладать правом на самого себя, и при этом не возникает нужды в том, чтобы кого-либо к чему-либо принуждали. Но если говорить о праве на школьное образование, оно может быть реализовано, только если людей вынуждают его оплачивать. Права на школьное образование, на труд, на трехразовое питание не являются неотъемлемой частью человеческой природы, но зато для их реализации нужны эксплуатируемые люди, которых заставляют платить за обеспечение подобного рода прав.

Более того, при рассмотрении концепции права на образование непременно следует учитывать, что обучение в школе – это лишь малая часть продолжающегося до конца жизни процесса обучения. Если у каждого ребенка действительно есть право на образование, тогда почему бы не поднять вопрос о праве на чтение газет и журналов и почему бы тогда правительству не ввести налоги на обеспечение бесплатной прессой каждого, кто того пожелает?

Профессор Милтон Фридман, экономист из Чикагского университета, оказал важную услугу обществу – он отделил в образовании и других областях денежные расходы от других аспектов правительственного субсидирования. Хотя Фридман, к сожалению, не спорит с идеей, что налогоплательщики должны оплатить школьное обучение каждого ребенка, он отметил, что это никоим образом не может быть аргументом в пользу государственных школ: налогоплательщики могут субсидировать обучение каждого ребенка, но при этом возможно обойтись и без государственных школ[20]. В соответствии со ставшей знаменитой «ваучерной схемой» Фридмана государство должно

выдать каждому родителю ваучер, позволяющий ему оплатить обучение ребенка в *любой* школе по своему выбору. Ваучерная схема сохраняет финансирование образования за счет налогов, но зато открывает путь к ликвидации громоздкой, неэффективной, тиранической монополии системы государственных школ. Родители смогут послать своего ребенка в любую частную или государственную школу, так что возможности для свободного выбора будут наибольшими. Ребенок сможет учиться в любой выбранной родителями школе – традиционной или прогрессивной, религиозной или светской, капиталистической или социалистической. Таким образом, денежные субсидии будут полностью отделены от правительственной системы школьного образования.

Хотя схема Фридмана во многом улучшила бы нынешнюю систему, расширив возможности выбора учебного заведения и открыв путь к ликвидации системы государственных школ, многие проблемы, с либертарианской точки зрения, она не решает. Во-первых, сохранится морально неоправданное принудительное субсидирование школьного образования. Во-вторых, право на субсидирование влечет за собой право на регулирование и контроль. Правительство не станет покрывать ваучерами обучение в *любой* школе. Понятно, что ваучеры разрешат использовать лишь для оплаты обучения в *сертифицированных* частных школах, отвечающих государственным требованиям, а это означает, что правительство будет детально контролировать частные школы – контролировать их программы, методы обучения и формы финансирования. Власть государства над частными школами, которым придется на многое идти ради права получать ваучерную оплату, станет еще больше, чем сегодня[21].

Предпринятая в 1920-е годы в Орегоне попытка ликвидировать частные школы была последней, но они до сих пор остаются под жестким детальным контролем. Каждый штат, например, требует, чтобы дети получали образование только в сертифицированных им школах, а это прямое давление на содержание и состав учебных программ. Чтобы пройти сертификацию, частным школам приходится идти на соблюдение множества бессмысленных и требующих немалых издержек требований, причем это относится и к учителям, которым приходится посещать нелепые курсы повышения квалификации, чтобы подтвердить свое право продолжать преподавание. Сегодня многие превосходные частные школы работают, по сути дела, нелегально, потому что отказались подчиниться неразумным требованиям правительства. Самая большая несправедливость,

пожалуй, в том, что в большинстве штатов родителям запрещено учить своих детей самостоятельно, потому что штат не признает такое обучение настоящей «школой». Сегодня множество родителей обладают даже избыточной квалификацией в этом плане и прекрасно могли бы учить своих детей, особенно в объеме начальной школы. Более того, они могут лучше любого постороннего судить о способностях и возможностях своего ребенка и учитывать это в выборе темпа и направления обучения, на что не способна никакая школа.

«Бесплатное» школьное образование в природе невозможно, потому что некто, а именно налогоплательщик, должен оплатить обучение. Но когда услуга оторвана от платы за нее, неизбежно возникает избыток детей в школах (тот же эффект дают законы об обязательном образовании), а плюс к этому безразличие ребенка к образованию, за которое его семья не платит. В итоге в школах томится, причем неоправданно много лет, множество детей, которые не пригодны к учению или не интересуются им и которым было бы куда лучше сидеть дома или пойти работать. Мода на массовое обучение привела к массовому недовольству обучающихся из-под палки подростков, а также к общей идее, что стать полезным членом общества можно, только окончив среднюю школу (или даже колледж). Усилению давления на школьников способствовала истерическая кампания борьбы с «отсевом» из школ, развернутая средствами массовой информации. Отчасти, конечно, в этом есть вина бизнеса, поскольку работодатели очень рады тому, что работников им готовят за счет злополучных налогоплательщиков. В какой же мере система массового школьного образования обязана готовности работодателей взвалить издержки по подготовке рабочей силы на налогоплательщиков?

Легко сообразить, что подготовка, за которую работодатели ничего не платят, не может не быть чрезвычайно дорогостоящей, неэффективной и слишком затянутой во времени. При этом все более ясно, что продолжительное обучение в школе вовсе не нужно для подготовки рабочих по многим специальностям. Вот что говорит об этом Артур Стинчкомб:

> Может ли средняя школа научить чему-то такому, за что захотел бы заплатить наниматель работников физического труда, если бы последние все хорошо выучили? В общем, ответ будет отрицательным. Школьная программа не оказывает существенного влияния на физические способности и ответственность – два главных качества хорошего работника ручного труда.

> Нанимателям, нуждающимся в надежных работниках, нужны дипломы об окончании средней школы как свидетельство дисциплинированности. Всему остальному они могут обучить своих работников прямо на рабочем месте, причем быстрее и дешевле, чем это делает средняя школа[22].

К тому же, как отмечает профессор Бэнфилд, в любом случае большинство необходимых навыков и умений усваиваются на рабочем месте[23].

Сравнительную бесполезность школы в деле подготовки к физическому труду продемонстрировал восхитительный проект MIND частной образовательной службы, входящей в настоящее время в компанию Corn Products Refining Company of Greenwich, штат Коннектикут. В рамках этого проекта собирали бросивших школу и не имевших навыков физического труда молодых людей и за несколько недель интенсивной подготовки с применением обучающих машин им преподавали основные трудовые навыки и направляли на работу в корпорации. За десять лет обучения в государственной школе эти молодые люди научились меньшему, чем за несколько недель подготовки в частной компании, которая натаскивала их на выполнение конкретных трудовых обязанностей! Возможность бросать школу и в более молодом возрасте начинать самостоятельную и независимую трудовую жизнь была бы безмерным благом и для молодежи, и для всего общества.

Есть убедительные свидетельства связи между законами об обязательном школьном образовании и обострением проблемы подростковой преступности, особенно у переживших разочарование подростков. Так, Стинчкомб обнаружил, что бунтарское и антиобщественное поведение является, «по большей части, реакцией на саму школу», а британский Комитет Кроузера выяснил, что, когда в 1947 году правительство увеличило минимальный возраст окончания школы с четырнадцати лет до пятнадцати, резко увеличилось число случаев антиобщественного поведения у четырнадцатилетних подростков, обнаруживших себя запертыми все в той же клетке[24].

Часть вины за законы об обязательном обучении и массовом школьном образовании следует возложить на профсоюзы, которые ради ограждения себя от конкуренции со стороны молодых рабочих стремятся как можно дольше держать их в учебных заведениях и не подпускать к рынку труда. Таким образом, и профсоюзы, и предприниматели являются мощными лоббистами обязательного обучения и, следовательно,

незанятости большей части молодежи.

Высшее образование

Если не считать законов об обязательном школьном образовании, все критические замечания в адрес государственных школ могут быть направлены и в адрес государственных учреждений высшего образования, но с одним примечательным добавлением. В случае государственного высшего образования можно с уверенностью говорить о том, что это – механизм перекачки средств наименее обеспеченных слоев на субсидирование образования более обеспеченных групп! Это происходит по трем основным причинам: структура налогообложения не прогрессивна, т.е. не берет с богатых больше; студенты колледжей обычно имеют более обеспеченных родителей, чем те, кто в колледжи не идет; окончив колледж, человек зарабатывает больше, чем тот, кто там не учился. В результате государственный колледж оказывается механизмом перераспределения дохода в пользу более состоятельных слоев! Как оправдать это с точки зрения морали?

Профессоры Вейсброд и Хансен уже продемонстрировали подобный эффект перераспределения в своем исследовании колледжей Висконсина и Калифорнии. Они обнаружили, например, что в 1964–1965-х годах средний семейный доход жителей Висконсина, дети которых не обучались в университете, составил 6500 долларов, а у семей, дети которых учились в университете, он был равен 9700 долларам. В Калифорнии эти доходы составили, соответственно, 7900 и 12 000 долларов. Больший разрыв доходов в случае Калифорнии объясняется тем, что в этом штате структура налогов была менее прогрессивна. Дуглас Уиндхам выявил сходный механизм перераспределения от бедных к богатым в штате Флорида. Вейсброд и Хансен на основании своего калифорнийского исследования сделали следующий вывод:

> В целом эти субсидии ведут не к уменьшению, а к увеличению неравенства между людьми разного социального и экономического положения, поскольку семьи с меньшим доходом либо не имеют права на эти субсидии, либо не могут ими воспользоваться в силу других условий и ограничений, связанных с их материальным положением. То, что мы обнаружили в Калифорнии,– чрезвычайно неравное распределение

> субсидий через государственную систему высшего образования – имеет, вероятно, еще большие масштабы в других штатах. Ни в одном штате нет столь разветвленной системы местных профессиональных колледжей[25*],как в Калифорнии, а потому ни в одном штате такой большой процент выпускников средней школы не получает государственное высшее образование. В результате можно быть уверенным, что в Калифорнии не получает субсидий меньший процент молодых людей, чем в других штатах[26].

Более того, частные колледжи не только поставлены властями штатов в неравное финансовое положение из-за нечестной конкуренции, вызванной государственными субсидиями, но и подвергаются с их стороны детальному контролю и регулированию. Так, в штате Нью-Йорк никто не может создать организацию с названием «колледж» или «университет», пока не купит у властей облигацию стоимостью 500 000 долларов. Нет сомнений, что это отсекает от рынка высшего образования небольшие и небогатые образовательные учреждения. Кроме того, региональные ассоциации колледжей, имеющие право аккредитовать образовательное учреждение или отказать ему в праве выдачи дипломов, в состоянии закрыть *любой* колледж, не соответствующий установленным требованиям к содержанию учебных курсов или к финансированию. Например, эти ассоциации отказывают в аккредитации колледжу, если он работает ради прибыли и управляется собственником, а не попечительским советом, даже когда учебный процесс в нем поставлен безупречно. Поскольку колледжи, управляемые собственниками, которые заинтересованы в эффективном и качественном обслуживании клиентов, в финансовом плане бывают более успешными, эта дискриминация ложится дополнительным нелегким бременем на частную систему высшего образования. В последние годы успешно работавший Marjorie Webster Junior College в Вашингтоне был почти на грани закрытия из-за того, что региональная ассоциация отказала ему в аккредитации. Могут возразить, что региональные ассоциации – это организации частные, а не государственные. Но они работают в тесном контакте с федеральным правительством, которое, например, отказывает неаккредитованным колледжам в предоставлении обычных стипендий или льгот в оплате за обучение для ветеранов вооруженных сил[27].

Дискриминация частных колледжей (и других организаций) не ограничивается аккредитацией и стипендиями. Еще больший

ущерб им наносит структура подоходного налога. Освободив управляемые попечительскими советами образовательные учреждения от подоходных налогов и обложив налогами колледжи и университеты, находящиеся в частной собственности, федеральное правительство и власти штатов мешают развитию того, что могло бы стать самой эффективной и кредитоспособной частью системы образования. Либертарианцы, естественно, не предлагают облагать налогами колледжи, управляемые попечительскими советами, но хотят освободить от налогов и частные колледжи. Либертарианская этика требует равенства не в рабстве, а в свободе.

Вообще говоря, совет попечителей – это плохой способ управления для любой организации. Прежде всего, в отличие от ориентированных на прибыль компаний и корпораций, фирма, управляемая попечительским советом, *никому* не принадлежит. Попечители *не могут* воспользоваться прибылью от успешной деятельности организации, поэтому у них нет стимулов действовать эффективно или должным образом служить клиентам. Пока колледж или другая организация не страдает от чрезмерной недостачи средств, он может жить, не особенно заботясь об эффективности. Поскольку попечители не могут пользоваться прибылью от улучшения качества работы, обычно они работают спустя рукава. Более того, как правило они скованы требованиями уставных документов. Например, попечительский совет колледжа не имеет права ради экономии средств своей организации превратить часть территории кампуса в коммерческое предприятие, скажем, в приносящую прибыль парковку.

В случае управляемых попечителями колледжей, в которых студенты оплачивают лишь малую часть стоимости своего образования, а основные средства приходят в виде субсидий или пожертвований, дело не ограничивается недобросовестностью по отношению к клиентам. Обычная рыночная ситуация, когда производитель продает продукцию, а потребители оплачивают ее полную стоимость, осталась в прошлом. Несоответствие между стоимостью услуг и оплатой ведет к неудовлетворительным результатам для всех участников. Потребители, например, чувствуют, что тон задают менеджеры. Напротив, как заметил один либертарианец в разгар студенческих волнений в конце 1960-х годов, «в Берлице никто не бастует». Более того, тот факт, что настоящими «потребителями» являются органы власти, фонды или преуспевшие выпускники, пожертвования которых служат основным источником средств колледжа, означает, что высшее образование неизбежно ориентируется на их требования и

в меньшей степени заботится о нуждах студентов. Вот что говорят об этом профессоры Бьюкенен и Девлетоглу:

> Посредничество правительства между университетами и студентами как потребителями их услуг создало ситуацию, в которой университеты не могут соответствовать требованиям студентов и направить ресурсы непосредственно на удовлетворение этих требований. Чтобы получить финансирование, университетам приходится конкурировать с другими видами деятельности, субсидируемыми за счет налогов (с вооруженными силами, средними школами, программами социального обеспечения и т.д.). Интересы же студентов отступают на второй план, а возникающие в итоге студенческие волнения только подогревают наблюдаемый нами хаос… Растущая зависимость от финансовой поддержки государства, отраженная в системе бесплатного обучения, сама по себе может стать существенным источником нестабильности[28].

Либертарианский рецепт наведения порядка в сфере образования очень прост: убрать правительство из образовательного процесса. Правительство пыталось формировать молодежь страны с помощью системы государственных школ и создавать будущих лидеров нации с помощью контролируемой государством системы высшего образования. Отмена законов об обязательном обучении избавит школы от роли тюремных надсмотрщиков для молодежи и даст свободу всем тем, кому плохо в школах, предоставит им возможности для личной независимости и производительного труда. Ликвидация государственных школ покончит с уродливым бременем налога на недвижимость и откроет пути для удовлетворения потребностей и запросов нашего многообразного и изменчивого населения. Ликвидация системы государственного образования положит конец несправедливым принудительным субсидиям, предоставляемым большим семьям, причем зачастую семьям из обеспеченных классов в ущерб малоимущим. Правительственная политика воспитания молодежи в соответствии с желаниями государства будет свободой выбора и свободой деятельности, короче говоря, подлинно свободным образованием, осуществляемым в рамках формальных образовательных учреждений и за их пределами.

8. Социальное обеспечение и «государство всеобщего благосостояния»

Почему возник кризис социального обеспечения?

Почти каждый, независимо от его политических взглядов, согласится, что в Соединенных Штатах что-то не в порядке со стремительно расширяющейся системой социального обеспечения, под прикрытием которой постоянно растущая доля населения может вести праздную жизнь паразитов, требовательно претендующих на то, что производит остальная часть общества. Некоторые статистические данные помогут представить масштабы этой все более и более обостряющейся проблемы. В 1934 году, в разгар величайшей за всю историю Америки депрессии, в момент наибольшего упада нашей экономической жизни, совокупные расходы государства на социальное обеспечение составили 5,8 млрд долларов, из которых на прямые платежи нуждающимся («социальное вспомоществование») пришлось 2,5 млрд. В 1976 году после четырех десятилетий величайшего в истории Америки экономического бума, когда мы достигли самого высокого уровня жизни в истории человечества, а уровень безработицы был сравнительно невелик, расходы правительства на программы социального обеспечения составили 331,4 млрд. долларов, из которых на прямые выплаты нуждающимся пришлось 48,9 млрд. Короче говоря, за эти четыре десятилетия общий рост расходов на социальное обеспечение составил невообразимые 5614%,а величина расходов на общественное вспомоществование выросла на 1856%.Или,иными словами, в период с 1934 по 1976 год расходы на социальное обеспечение ежегодно увеличивались на 133,7%, а расходы на социальное вспомоществование – на 44,2%.

Что касается прямых выплат клиентам системы соцобеспечения, то за 1934–1950-е годы величина этих расходов практически не увеличилась, но в ходе бума, начавшегося после окончания Второй мировой войны, они начали расти с поражающей скоростью – на 84,4% ежегодно в 1950–1976-е годы.

Часть этого огромного роста расходов можно отнести на счет инфляции, которая уменьшала покупательную способность доллара. Если скорректировать все цифры с учетом инфляции и выразить их в постоянных долларах 1958 года, мы получим следующие цифры: в 1934 году совокупные расходы на

социальное обеспечение составили 13,7 млрд. долларов, прямые выплаты нуждающимся – 5,9 млрд. В 1976 году на совокупные расходы на социальное обеспечение пришлось 247,7 млрд. долларов, на прямые выплаты нуждающимся – 36,5 млрд.

Таким образом, даже с учетом инфляции правительственные расходы на социальное обеспечение выросли за 42 года на 1798%, или на 42,8% в год, а расходы на пособия увеличились на 519%, или на 12,4% в год. Более того, если взять данные о расходах на выплату пособий за 1950 и 1976 годы и скорректировать их с учетом инфляции, мы получим, что за период экономического бума расходы на социальные пособия выросли на 1077%,или на 41,4% в год. Если провести дальнейшую корректировку цифр с учетом роста населения (в 1934 году население Америки составляло 126 млн человек, а к 1976-му оно выросло до 215 млн),то и в этом случае мы получим почти десятикратное увеличение совокупных расходов на социальное обеспечение (от 108 до 1152 долларов на душу населения в постоянных долларах 1958 года) и более чем трехкратное увеличение объема вспомоществования (от 47 долларов на душу населения в 1934 году до 170 долларов в 1976-м).

Еще несколько сопоставлений: за период небывалого процветания с 1955 по 1976 год число людей, получающих пособия, увеличилось впятеро – с 2,2 до 11,2 млн.За 1952–1970-е годы число детей в возрасте до 18 лет выросло на 42%, а число получателей пособий – на 400%.Население города Нью-Йорк за этот период не изменилось, а вот число получателей пособий подскочило от 330 000 в 1960 году до 1,2 млн в 1971-м. Нет никаких сомнений, что вскоре нас ждет кризис системы социального обеспечения[1].

Масштабы кризиса сильно увеличатся, если в состав «платежей по соцобеспечению» включить все виды государственной помощи бедным. Так, федеральная помощь бедным почти утроилась за 1960–1969 годы – с 9,5 млрд. долларов до 27,7 млрд. Соответствующие расходы штатов и местных органов власти выросли с 3,3 млрд долларов в 1935 году до 46 млрд, т.е. на 1300%! Совокупные расходы на социальное обеспечение составили в 1969 году 73,7 млрд.

Большинство людей представляют себе ситуацию, в которой находятся те, кто живет за счет социального обеспечения, почти как природную катастрофу (вроде наводнения или извержения вулкана),происходящую помимо воли тех, кому приходится существовать за счет государственных выплат. Обычно говорят, что всему виной бедность – из-за нее люди и целые семьи начинают жить на пособия. Но как бы ни определялась бедность,

какой бы уровень дохода ни был установлен в качестве порога бедности, не приходится отрицать, что с 1930-х годов число людей или семей, живущих ниже уровня бедности неуклонно *снижалось*, а не наоборот. Таким образом, масштаб бедности никак не может служить объяснением грандиозного роста числа получателей пособий.

Загадку легко решить, поняв, что число получателей социальных выплат представляет собой, как говорят экономисты, «положительную функцию предложения», иными словами, когда *стимулы* перехода на социальное обеспечение растут, список получателей удлиняется, и то же самое происходит, когда слабеют *препятствия* к переходу на пособие. Как ни странно, никто не ставит под сомнение эту закономерность во всех других областях экономики. Представьте, например, что кто-то (правительство или эксцентричный миллиардер, не важно) предлагает дополнительные 10 000 долларов каждому, кто согласится работать на обувной фабрике. Понятно, что у ее ворот немедленно выстроится очередь. То же самое происходит, когда слабеют препятствия, скажем, если правительство пообещает освободить всех занятых в обувной промышленности от уплаты подоходного налога. Если применить такой подход к анализу клиентуры системы социального обеспечения, все загадки рассеются, как дым.

Что представляют собой существенные стимулы и препятствия для перехода на пособие, и как они менялись? Очевидно, что чрезвычайно важным фактором является величина дохода в виде пособий *в сравнении* с доходом от производительного труда. Проще говоря, предположим, что средний или реальный заработок (грубо говоря, заработок, доступный среднему работнику) в определенной местности составляет 7000 долларов в год. Предположим также, что в виде социального пособия можно получить 3000 долларов в год. Это означает, что средняя *чистая* выгода от продуктивной занятости (до уплаты налогов) составляет 4000 долларов в год. Теперь предположим, что пособия увеличились до 5000 долларов (а можно допустить, что средняя заработная плата уменьшилась до 5000 долларов). Дифференциал – чистый выигрыш от работы – уменьшился вполовину, с 4000 долларов в год до 2000.Стоит отметить еще, что результатом будет значительное увеличение списка получателей пособий (и оно окажется еще значительнее, если учесть, что, получая 7000 долларов, рабочему придется платить повышенные налоги на поддержку стремительно растущих рядов получателей пособий, которые, кстати, практически не платят никаких налогов).В общем, можно

предположить, что когда размер пособий растет быстрее, чем средняя заработная плата – а именно так оно и было,– очередь за пособиями будет быстро увеличиваться. Эффект окажется еще сильнее, если учесть, что не каждый получает среднюю зарплату, так что в ряды получателей пособий первыми ринутся работники, зарабатывающие меньше среднего. В нашем примере, если пособия вырастут до 5000 долларов в год, чего можно ждать от рабочих, зарабатывающих 4000, 5000 и даже 6000? Получая 5000 долларов в год, человек, который прежде получал на 2000 больше, чем клиент системы соцобеспечения, вдруг обнаружит, что его разница в оплате снизилась до нуля, и он зарабатывает не больше – а с учетом налогов даже *меньше*,– чем получатель пособия, праздность которого вознаграждает государство. Что же удивительного, если он немедленно ринется в ряды получателей пособий?

Возвращаясь к фактам, отметим, что за период с 1952 по 1970 год, когда число получателей пособий выросло впятеро, с 2 млн до 10, среднемесячное пособие для семьи увеличилось в два с лишним раза: с 82 долларов до 187, т.е. почти на 130%, тогда как потребительские цены за тот же период выросли только на 50%.Более того, в 1968 году в Нью-Йорке инициативная комиссия граждан, обеспокоенных состоянием городского бюджета, сравнила десять штатов с самым быстрым ростом числа получателей пособий с десятью штатами с самым низким ростом. Комиссия обнаружила, что в десяти первых штатах величина среднемесячного пособия была вдвое выше, чем в штатах с медленным ростом числа получателей пособий. (В первой группе месячное пособие на одного человека составляло в среднем 177 долларов, а во второй – только 88[2].)

Другой пример воздействия больших социальных пособий и их соотношения с заработной платой привела комиссия Маккона, исследовавшая беспорядки 1965 года в Уоттсе[3*] Комиссия обнаружила, что минимальная заработная плата там составляла около 220 долларов в месяц, из которых нужно было оплачивать еще одежду и транспорт. А существуя на пособие, средняя семья получала от 177 до 238 долларов в месяц, при этом о транспортных расходах и дополнительной одежде можно было не беспокоиться[4].

Другим мощным фактором разрастания списка получателей пособий является быстрое исчезновение всяких препятствий к получению социальных выплат. Главным препятствием всегда было клеймо позора, которого не мог не стыдиться получатель пособия,– он как паразит кормится не собственным трудом, а живет за счет других. Распространение ценностей современного

либерализма привело к разрушению этого клейма. Более того, правительственные ведомства и социальные работники сами настойчиво зазывают людей в ряды получателей пособий. Классическая идея заключалась в том, что социальный работник помогает людям обрести самостоятельность, помогает им встать на ноги. В случае получателей пособий, целью системы соцобеспечения было помочь людям как можно быстрее перестать нуждаться в государственной помощи. Но сегодня у социальных работников противоположная цель: занести в ведомость получателей пособий как можно больше имен, рекламировать свои достижения и объяснять людям их права. Результатом стало снижение критериев, по которым назначается пособие, упрощение процедур и отказ от требований, дававших прежде право на социальные выплаты, – таких как постоянное проживание, стаж работы и даже проверка дохода. Стоит высказать идею, что нужно требовать от получателей пособий, чтобы они устраивались на работу и обретали самостоятельность, и тебя немедленно запишут в реакционеры. А раз жизнь на пособие перестала считаться позором, люди больше не избегают этого статуса, а стремятся к нему. Ирвинг Кристол язвительно описал «взрывной рост систем соцобеспечения» 1960-х годов:

> Этот «взрыв» был создан – отчасти намеренно, отчасти непредумышленно – государственными служащими и должностными лицами, участвовавшими в политике «войны с бедностью». В пропаганде и проведении этой политики были задействованы многие из тех, кто впоследствии сам пришел в замешательство из-за стремительного расширения системы соцобеспечения. Не удивительно, что они не сразу осознали, что проблема, которую они пытаются решить,– это та самая проблема, которую они же и создали.
>
> Вот причины, приведшие к взрывному росту системы соцобеспечения в 1960-е годы:
>
> 1. Число малообеспеченных, имеющих право на пособие, растет по мере того, как власти совершенствуют определения «бедности» и «нужды». Война с бедностью расширила официальное определение этих понятий, что автоматически привело к увеличению числа лиц, имеющих право на государственную помощь.
>
> 2. Число людей, имеющих право на пособие и обращающихся за ним, растет с повышением размера пособий, а в 1960-е годы он увеличивался. Когда пособия (плюс сопутствующие блага, такие как бесплатная

медицинская помощь и продовольственные талоны) сопоставимы с невысокой заработной платой, многие бедные люди разумно отдают предпочтение пособиям. Сегодня в Нью-Йорке и во многих других крупных городах социальные пособия не только сравнимы с минимальной заработной платой, но и превосходят ее.

3. Нежелание людей, имеющих право на вспомоществование, обращаться за ним – нежелание, основанное на гордости, незнании или страхе,– уменьшается, когда проводится пропагандистская кампания за присоединение к системе социального обеспечения. В 1960-е годы в этой кампании с успехом участвовали: а) различные гражданские организации, финансируемые и опекаемые Управлением по созданию экономических возможностей, б) движение за право на социальное обеспечение и в) социальные работники (среди которых появилось много выпускников колледжей), считавшие своим моральным долгом помочь людям стать получателями пособий, вместо того чтобы, как это было в прошлом, помочь им от них отказаться. Делу помогали и суды, устранявшие всевозможные правовые барьеры (например, требование о постоянном проживании)… Каким-то образом тот факт, что все больше и больше малообеспеченных граждан получают пособия и что сами пособия стали больше, не сделал жизнь лучше даже для бедных, получающих государственную помощь. Их жизнь не стала безоблачней по сравнению с тем временем, когда они были бедны и не получали пособий. Что-то явно пошло не так. Либеральная и сострадательная социальная политика породила множество непредвиденных и малоприятных последствий[5].

Прежде социальные работники вдохновлялись совсем другими, либертарианскими, идеями. У них были два главных принципа: а) вся помощь должна предоставляться добровольно и из частных фондов, а не принудительно и из собираемых правительством налогов, и б) помощь должна предоставляться только для того, чтобы ее получатель как можно быстрее обрел независимость и начал трудиться. В конечном счете, второе следует из первого, поскольку никакая частная организация не обладает теми неограниченными средствами, которые можно собирать с привычного ко всему налогоплательщика. Так как частные фонды ограничены, не может быть и речи об идее права

на пособие как постоянного и неограниченного права претендовать на продукцию других людей. К тому же социальные работники осознавали, что помощь симулянтам, которые отказываются работать или рассматривают жизнь на пособие как нормальный образ жизни, бессмысленна. Отсюда и пошло различение между достойными и недостойными бедняками. Так, в XIX веке в Англии Благотворительное общество (Charity Organization Society) считало незаслуживающими помощи людей, которые в этой помощи не нуждались, обманщиков, тех, кто попал в сложное положение из-за собственной «непредусмотрительности или расточительности, так что нет надежды помочь им обрести в будущем независимость от благотворительной помощи»[6].

Хотя английский классический либерализм и принимал в целом правительственную политику вспомоществования в рамках Закона о бедных, при этом он настаивал на строгих сдерживающих мерах: право на помощь предоставлялось далеко не всем, к тому же условия пребывания в работных домах были сделаны достаточно малоприятными, чтобы гарантировать, что подобного рода помощь будет не столько привлекать людей, сколько удерживать их на почтительном расстоянии от этих заведений. Что же касается недостойных бедных, страдающих исключительно по своей вине, то помешать им злоупотреблять системой помощи можно было, только «сделав ее сколь можно неприятной для претендента, т.е. требуя от него или трудиться, или жить в работном доме»[7].

Хотя суровое сдерживание лучше, чем широкое гостеприимство и разглагольствования о правах получателей пособий, либертарианцы призывают к полной ликвидации государственной системы благотворительности, поскольку помочь делу может только благотворительность частная, нацеленная на помощь достойным бедным в как можно более быстром обретении самостоятельности. В конце концов, до Великой депрессии в Соединенных Штатах практически не существовало государственной благотворительности, и при этом, несмотря на много более низкий уровень жизни в те времена, на улицах никто не умирал от голода. В наши дни трехмиллионная церковь мормонов осуществляет частную программу благотворительной помощи. В XIX веке эти замечательные люди, гонимые нуждой и преследованиями, эмигрировали в Юту и соседние штаты, где упорным трудом и прилежанием добились очень высокого уровня благосостояния. Среди мормонов крайне редки получатели государственных пособий. Мормонов учат быть независимыми, самостоятельными и избегать подачек от

государства. Мормоны очень религиозны, а потому успешно впитали эти замечательные ценности. Более того, их церковь активно помогает бедным в своей среде, при этом действуя так, чтобы нуждающиеся как можно быстрее обрели самостоятельность.

Обратите внимание, например, на следующие принципы мормонской благотворительности:

> С 1830 года, когда была организована церковь мормонов, она ориентирует своих членов на поддержание экономической независимости, побуждает людей к бережливости и созданию предприятий, предоставляющих рабочие места. Она всегда готова прийти на помощь впавшим в нужду верующим.

В 1936 году мормонская церковь создала

> церковный план вспомоществования… систему, при которой проклятие праздности останется в прошлом, с грехом жизни на пособия будет покончено, а среди людей опять утвердятся независимость, прилежание, бережливость и самоуважение. Церковь хочет помогать людям в том, чтобы они могли помогать сами себе. Труд должен воцариться как господствующий принцип жизни членов нашей церкви[8].

От социальных работников мормонская церковь требует действовать соответственно:

> Верные этому принципу социальные работники будут честно учить и призывать членов церкви изо всех сил стремиться к самостоятельности. Никто из истинных мормонов, пока он трудоспособен, не снимет с себя по доброй воле бремя самообеспечения. Пока ему хватает сил, он с помощью Всемогущего и собственного труда будет обеспечивать себя тем, что нужно для жизни[9].

Непосредственные цели программы помощи таковы:

> 1. Устроить на выгодную работу тех, кто способен трудиться;
> 2. Предоставить, насколько это возможно, рабочие места в рамках программы вспомоществования тем, кто не в состоянии заниматься выгодной работой;
> 3. Выделять средства для предоставления

нуждающимся, за которых церковь берет на себя ответственность, всего необходимого для жизни[10].

По мере возможности эта программа осуществляется децентрализованными усилиями небольших групп:

> Семьи, соседи, кворумы священников, приходы и другие организационные ячейки церкви могут счесть разумным и желательным предоставлять друг другу взаимную помощь. Такие группы могут сажать и убирать зерновые, перерабатывать пищевые продукты, хранить пищу, одежду и топливо и осуществлять другие проекты, сулящие им взаимную выгоду[11].

Собраниям мормонских епископов и священников предписано помогать своим собратьям в обретении самостоятельности:

> В своей мирской ипостаси епископ смотрит на каждого трудоспособного нуждающегося человека как на чисто временную проблему и заботится о нем до тех пор, пока тот не сможет самостоятельно справляться с трудностями. Кворум священников должен видеть в нуждающемся своем члене постоянную проблему до тех пор, пока не будут улажены не только его мирские дела, но и духовные потребности. В качестве конкретного примера: епископ оказывает помощь до тех пор, пока художник или ремесленник не имеет заказов и живет в нужде. Кворум священников помогает ему утвердиться в своей профессии и пытается присматривать за ним, пока он не станет вполне самостоятельным и активным в выполнении своих обязанностей.

Конкретная помощь нуждающимся, возложенная на кворум священников, включает:

> 1. Устройство нуждающихся и членов их семей на постоянную работу. В некоторых случаях посредством профессионально-технического обучения кворумы помогали членам общины подготовиться к более квалифицированной работе;
> 2. Помощь нуждающимся и их семьям в открытии собственного дела[12].

Первейшая цель церкви мормонов заключается в том, чтобы

найти работу нуждающимся:

> Подыскание подходящей работы в рамках программы помощи нуждающимся – главная забота кворума священников. Они и члены общества помощи должны всегда быть в курсе потенциальных вакансий. Если каждый член приходского комитета хорошо справляется с этой своей задачей, большинство безработных будет устроено на выгодную работу стараниями группы или приходского комитета[13].

Другим членам общины, желающим завести собственный малый бизнес, церковь помогает небольшими ссудами, а члены кворума священников могут выступить гарантами возврата ссуды. Те мормоны, которых не удается устроить на работу или сделать малыми предпринимателями, «должны получить, если это возможно, производительную занятость в церковном хозяйстве». Церковь настаивает на том, что получатели помощи должны работать, насколько хватает сил:

> Совершенно необходимо, чтобы люди, получившие помощь церкви, работали изо всех своих сил, возмещая таким образом то, что получили… Работу в рамках благотворительных проектов следует рассматривать не как постоянную, а как временную занятость. Тем не менее ее следует продолжать до тех пор, пока человек продолжает получать помощь общины. Благодаря этому сохраняется духовное благополучие людей в то время, когда им помогают наладить свои мирские дела. Это избавляет человека от чувства неуверенности[14].

Если работы пока нет, епископ может направить получателей благотворительной помощи поработать на тех, кто сам нуждается в помощи, а последние возмещают это церкви по преобладающей ставке оплаты труда. В общем, от получателей помощи ожидают, что они в ответ сделают посильный вклад в благотворительную программу церкви в форме денег, продуктов или собственного труда[15].

В дополнение к этой всеобъемлющей системе частной помощи, основанной на стремлении к независимости, мормонская церковь сурово запрещает своим членам обращаться к государственной системе соцобеспечения. «От местных должностных лиц церкви требуется подчеркивать важность того, что каждый человек, каждая семья и каждая церковная община должны становиться самостоятельными и независимыми от

государственной поддержки». И еще: «Стремление к государственной помощи и получение ее слишком часто влекут за собой праздность и питают другие пороки, связанные с государственными подачками. Это разрушает независимость, прилежание, бережливость и самоуважение человека»[16].

Для частной, добровольной, рациональной, индивидуалистической программы социальной помощи нет лучшего образца, чем мормонская церковь. Правительственная система социального обеспечения должна быть ликвидирована, и будем надеяться, что по всей стране возникнут многочисленные программы взаимопомощи, сходные с мормонской.

В мормонском опыте воодушевляет демонстрация того, что число людей, получающих пособия, зависит не от уровня дохода, а от их культурных и моральных ценностей. Еще одним свидетельством тому могут служить проживающие в Нью-Йорке американцы албанского происхождения.

Эти американизированные албанцы чрезвычайно бедны и в Нью-Йорке живут в самых бедных районах. Статистика скудна, но их средний доход заведомо ниже, чем у облюбованных прессой темнокожих и пуэрториканцев. Но ни один албаноамериканец не живет на пособие по соцобеспечению. Почему? Потому что он горд и независим. Как сказал один из их лидеров: «Албанцы не просят милостыню, а для нас получать пособие – это то же, что просить подаяния на улице»[17].

Сходную ситуацию мы обнаруживаем в угасающей, бедной, почти исключительно католической польско-американской общине Нортсайд в Бруклине. Несмотря на низкие доходы, безысходность и обветшавшие жилища, в этой общине с населением 15 000 человек практически нет получателей социальных пособий. Почему? Рудольф Д. Стобиерски, президент Совета развития общины Нортсайд, отвечает без промедления: «Для них пособие – это унижение»[18].

Ценности определяются не только религией или этническими особенностями. Профессор Бэнфилд в своей блестящей работе «Безблагодатный город» продемонстрировал зависимость личных ценностей от того, что он называет культурой высшего и низшего классов. Для Бэнфилда класс напрямую не связан с уровнем дохода или общественным положением, но его идея во многом перекрывает эти обычные определения. В его определении класса главное – это разное отношение к настоящему и будущему: члены высшего и среднего классов ориентированы на будущее, целеустремленны, рациональны и сдержаны. В свою очередь, люди низшего класса ориентированы на настоящее, капризны, гедонистичны, лишены жизненных целей, а потому лишены и

энергии для профессионального или карьерного роста. В силу этого люди первого типа *обычно* имеют более высокий доход и хорошую работу, а люди второго типа *обычно* бедны, не имеют работы и живут на пособия. Короче говоря, вопреки всем утверждениям либералов, в долгосрочной перспективе экономическое положение людей зависит от них самих, а не от внешних факторов. Так, Бэнфилд приводит данные Даниэля Розенблатта о безразличии городских бедняков к услугам медицины – в силу «общего отсутствия ориентации на будущее»:

> Например, городским беднякам не свойственно регулярно проводить техосмотр автомобилей для предотвращения крупных поломок – у них иная система ценностей. Сходным образом, предметы домашнего обихода обычно изношены и сломаны – нет привычки постоянно заботиться об их сохранности. Покупки в кредит очень распространены – никто не думает о том, что потом придется месяцами погашать долг.
>
> К телу относятся примерно как к мебели – оно изнашивается, но его не ремонтируют. За зубами обычно не ухаживают, и даже возможность бесплатно вставить искусственные зубы не вызывает интереса. В любом случае искусственные зубы используются не часто. Даже люди, носящие очки, зачастую избегают посещения окулиста, хотя возможности для этого имеются. Можно сказать, что средний класс воспринимает тело как машину, о которой нужно заботиться и поддерживать на ходу с помощью протезирования, лечения, косметической хирургии и прочих мер, тогда как для бедных тело – что-то вроде предмета одноразового пользования: в молодости оно радует, а с годами изнашивается, и к этому нужно стоически приспосабливаться[19].

Бэнфилд отмечает также, что уровень смертности в среде низшего класса всегда был и остается до сих пор существенно более высоким, чем в группах высшего класса. Причина различий, по большей части, заключается не в бедности или малой величине подушевого дохода, а в ценностях или культуре граждан низшего класса. Так, характерными для низшего класса причинами ранней смерти являются алкоголизм, наркомания, бытовые убийства и венерические болезни.

Детская смертность в этих группах также высока – в два-три раза выше, чем в семьях высшего класса. То, что дело здесь не в уровне дохода, а в культурных ценностях, видно из проведенного

Бэнфилдом сопоставления двух иммигрантских общин в Нью-Йорке начала XX века – русских евреев и ирландцев. В тот период ирландские иммигранты были преимущественно ориентированы на настоящее и принадлежали по своим установкам к низшему классу, тогда как русские евреи, жившие в условиях невероятной скученности и зарабатывавшие, пожалуй, даже меньше ирландцев, в большинстве своем были ориентированы на будущее, отличались целеустремленностью и по своим ценностям и жизненным установкам принадлежали к высшему классу. В начале XX века ожидаемая продолжительность жизни для ирландских иммигрантов составляла всего лишь 38 лет, а для русских евреев – более 50. Более того, по данным проведенного в семи городах США в 1911–1916-х годах исследования, детская смертность в группах с самым низким доходом была втрое выше, чем в группах с самым высоким доходом, в то время как у евреев уровень детской смертности был крайне низок[20].

С безработицей дело обстояло точно так же, как с болезнями и смертностью, и все это было тесно связано с бедностью и пособиями. Бэнфилд приводит данные профессора Майкла Д. Пиоре о принципиальной нетрудоспособности многих или даже большинства из тех, кто привык к низким доходам и безработице. Пиоре обнаружил, что их проблема не столько в том, чтобы найти хорошо оплачиваемую надежную работу или освоить необходимые для этого навыки, сколько в отсутствии силы духа, необходимой, чтобы удержаться на такой работе. Эти люди могут не явиться на работу, уйти с рабочего места, никого не предупредив, нахамить начальству, а порой и стащить что-нибудь[21]. Более того, Питер Дерингер, обследовавший в 1968 году рынок труда в Бостонском гетто, обнаружил, что около 70% ищущих работу получили от местного бюро по трудоустройству направление, но более половины предложений были отвергнуты с порога, а из тех людей, кто согласился работать, примерно 40% продержались на новом месте не более месяца. Дерингер заключает: «Безработица в гетто – это в значительной мере результат нежелания работать, а не нехватки рабочих мест»[22].

Очень поучительно будет сравнить, как описывают отказ безработных из низшего класса от постоянной работы холодно осуждающий их профессор Бэнфилд и горячо одобряющий их левый социолог Элвин Гулднер. Первый пишет: «Люди, привыкшие слоняться без дела, жить за счет пособий, женской проституции и воровства, редко склонны мириться со скучной рутиной „хорошей“ работы»[23]. Размышляя о безуспешности попыток социальных работников отвлечь этих людей от «жизни, полной безответственности, похоти и необузданной агрессии»,

Гулднер заявляет, что для них предлагаемая сделка непривлекательна:

> Стоит отказаться от беспорядочных половых связей, от вспышек ярости и отсутствия самоконтроля… и тогда вас или ваших детей могут допустить в мир трехразового питания, дипломов о среднем или даже высшем образовании, в мир чековых книжек, надежных рабочих мест и респектабельности[24].

Любопытно здесь то, что Бэнфилд и Гулднер, рассматривающие картину с противоположных точек идеологического спектра, одинаково понимают сущность происходящего, хотя и относятся к нему по-разному: устойчивая безработица и бедность – это результат добровольного выбора безработных, а не отсутствия рабочих мест.

Отношение Гулднера типично для современных левых и либералов: просто им стыдно навязывать (даже ненасильственно) культуре низшего класса, прославленной своей «естественностью» и отсутствием самоконтроля, буржуазные ценности, свойственные среднему классу. Пожалуй, это достаточно честно, но тогда хотя бы не рассчитывайте и не просите, чтобы трудолюбивый и настойчивый средний класс был вынужден поддерживать и субсидировать паразитические ценности праздной и безответственной жизни, столь ненавистные ему и столь явно пагубные для жизни любого общества. Если люди не хотят себя контролировать, пусть не делают этого, но только за свой собственный счет, и пусть сами несут все последствия такого выбора, а не используют машину государственного насилия, чтобы заставить прилежных и контролирующих себя буржуа брать эти последствия на себя. Короче говоря, необходимо ликвидировать систему социального обеспечения.

Если главная проблема с бедняками из низшего класса – это безответственная поглощенность настоящим и если избавить людей от соцобеспечения и зависимости можно только привив им буржуазную озабоченность будущим (вариант мормонов), то хотя бы поощряйте и поддерживайте эти ценности, а не топчите их. Характерные для социальных работников леволиберальные установки ориентируют бедных в неверном направлении, внушая им идею, что они имеют право требовать пособий, требовать, чтобы кто-то их кормил. Более того, доступность социальных пособий явно потворствует ориентации на сиюминутную реальность, на отвращение к труду и безответственность, увековечивая тем самым порочный круг бедности и пособий. Как говорит Бэнфилд, «пожалуй, нет лучшего способа заставить

людей забыть о будущем, чем обеспечить каждого щедрым социальным пособием»[25].

В своих нападках на систему соцобеспечения консерваторы обычно говорят о ее этических и моральных пороках, заставляющих налогоплательщиков содержать бездельников, а левые критики указывают на моральное разложение «клиентов» соцобеспечения, которые привыкают к своей зависимости от щедрости государства и его бюрократии. И те и другие правы – никакого противоречия между ними нет. Мы видели, что существуют добровольные программы, например, у мормонов, основанные на правильном понимании этих проблем. Да и старые либеральные критики государственных подачек в равной мере подчеркивали моральное разложение получателей и насилие над основным населением страны, которое оплачивает соцобеспечение.

Так, в XIX веке англичанин Томас Макай заявил, что реформа соцобеспечения «состоит в воссоздании и развитии искусства независимости». Он призывал «не к расширению филантропии, а к большему уважению к достоинству человека и к большей вере в его способность трудом найти путь к спасению». Макай заклеймил презрением и высмеял сторонников расширения системы соцобеспечения, этих

> лезущих не в свое дело филантропов, которые в безответственной погоне за дешевой популярностью используют налог, отнятый у своих соседей, чтобы умножить число возможностей оступиться на пути… для толпы, которая всегда слишком готова впасть в зависимость[26].

Макай добавляет, что

> требуемая законом помощь нуждающимся, «воплощенная в системе соцобеспечения», оказывает самое опасное, а временами и деморализующее влияние на наши общественные порядки. Реальная необходимость этого никоим образом не доказана. А кажущаяся необходимость вырастает преимущественно из того факта, что система создала население, зависимое от нее[27].

Развивая тему зависимости, Макай отмечает, что

> наибольшую горечь в страданиях бедных вызывает не сама по себе бедность, а сознание зависимости,

> которая не может не быть составной частью государственной помощи. От этого чувства избавиться невозможно, но оно может быть дополнительно обострено самой щедростью системы социального обеспечения[28].

Макай делает вывод, что

> у законодателей или администраторов есть единственный путь к сокращению нищеты – ликвидировать или ограничить требуемые законом меры против бедности. Нет сомнений, что страна может иметь ровно столько нищих, скольких она пожелает содержать. Устраните или ограничьте эти меры… и вступят в действие новые силы: естественная способность человека быть независимым, естественные связи родства и дружбы. В число последних я бы включил частную, но никоим образом не государственную, благотворительность[29].

Ведущая благотворительная организации Англии в конце XIX века, Благотворительное общество, действовала в точном соответствии с принципом «помоги человеку обрести самостоятельность».Как отмечает Моуат, историк Общества,

> Благотворительное общество воплотило идею, направленную на примирение царящих в социуме разногласий, на устранение нищеты и создание счастливого, уверенного в своих силах общества. Оно верило, что самая серьезная составляющая бедности – это деградация личности малоимущих. Неразборчивая благотворительность только ухудшала их репутацию, вела к падению силы духа. Подлинное милосердие требовало дружбы, мысли, помощи, которые могли бы восстановить самоуважение человека и его способность содержать себя и свою семью[30].

Одним из самых пагубных последствий системы соцобеспечения является то, что она решительно гасит потенциал самопомощи, обесценивая финансовые стимулы к нормальной жизни. Есть оценки, согласно которым каждый доллар, вложенный ущербным человеком в нормализацию своей жизни, приносит ему от 10 до 17 долларов прироста будущих доходов в пересчет на текущие цены. Но стимулы искажены еще и потому, что, наладив нормальную жизнь, человек теряет право на

социальное пособие, на пособие по нетрудоспособности и на страховое пособие по безработице. В результате большинство нетрудоспособных решают не тратить усилий на восстановление трудоспособности31. Более того, многие сегодня знакомы с такой неприглядной особенностью системы социального обеспечения, ярко отличающей ее от всех частных страховых фондов: если получателю достанет наглости работать и зарабатывать после 62 лет, его лишают пособия.

В наши дни, когда большинство людей неодобрительно смотрит на рост населения, мало кто из активистов борьбы с демографическим взрывом обращает внимание на следующую особенность системы соцобеспечения: поскольку детские пособия выделяются на каждого ребенка в семье, система фактически субсидирует рост рождаемости. Более того, на стимулы к рождению большого числа детей с максимальной готовностью откликаются именно те семьи, которые, вообще-то говоря, не могут себе позволить и одного ребенка, так что результатом оказывается их вечная зависимость от государственной благотворительности и более того – наследственная прикрепленность к этой системе.

В последние годы много говорилось о том, что правительство должно обеспечивать семьи детскими садами и яслями, чтобы матери могли работать. Рынок, по всей видимости, не в состоянии оказывать эту важную услугу.

Поскольку насущные потребности людей удовлетворяет именно рынок, возникает вопрос, почему же именно в этом случае он не справляется со своей задачей. Ответ прост: правительство окружило этот бизнес рядом труднопреодолимых и дорогостоящих требований. Попросту говоря, если вам нужно на время подбросить своего ребенка приятелю или родственнику или вы просите соседку за деньги присмотреть за вашим ребенком, то все в порядке и никто не станет интересоваться их образованием, опытом работы или размером квартиры. Но если ваш друг или соседка попробуют превратить присмотр за детьми в небольшой бизнес, на них обрушится вся мощь государства. Так, государство настаивает, чтобы детские сады и ясли работали по лицензии, а лицензии не выдают, если в штате нет дипломированной медсестры, если не выгорожено минимальное пространство для игр и общая площадь помещения меньше установленных пределов. Есть и другие нелепые и недешевые ограничения, которыми правительство не стесняет приятелей, родственников или соседей, да и самих матерей. Уберите все эти ограничения, и рынок с радостью удовлетворит спрос.

Последние тринадцать лет поэт Нед О'Горман содержит

частный детский сам в Гарлеме. Доход от этого бизнеса очень невелик, но он вот-вот будет закрыт из-за вмешательства нью-йоркского правительства. Хотя город признает «добросовестность и эффективность» этого детского сада, О'Горману угрожают штрафами и закрытием, поскольку у него в штате нет дипломированного социального работника, присутствия которого требует закон в случае, если в заведении присматривают за пятью детьми или более. Вот что думает об этом сам О'Горман:

> Какого черта я должен нанимать кого-то только потому, что у него есть при себе клочок бумаги с печатью, на котором значится, что он чему-то там учился и может работать в детском садике? Если после тринадцати лет работы в Гарлеме я со своей квалификацией им не подхожу, то кто же, спрашивается, подходит?[32]

Пример с детским садом демонстрирует очень важную вещь: если рынок не справляется с удовлетворением спроса, значит все дело в государстве. Дайте рынку действовать свободно, и мы забудем о нехватке детских садов и яслей так же, как мы никогда не слышали о дефиците мотелей, стиральных машин, телевизоров и всего остального, что необходимо в повседневной жизни.

«Государство всеобщего благосостояния»: бремя и субсидии

В самом ли деле современное «государство всеобщего благосостояния» помогает бедным? Общепринятая идея, которая вызвала к жизни такой тип государства, сводится к тому, что оно перераспределяет доход и богатство от богатых к бедным: через прогрессивные налоги забирает деньги у богатых, а через многочисленные пособия и услуги раздает их бедным. Но даже либералы, эти защитники и соратники «государства всеобщего благосостояния», начинают понимать, что эта идея – от начала и до конца – всего лишь миф. Правительственные контракты, особенно оборонные, перекачивают средства налогоплательщиков в карманы привилегированных корпораций и хорошо оплачиваемых промышленных рабочих. Законы о минимальном размере оплаты труда порождают безработицу, особенно среди самых бедных, необразованных и неквалифицированные рабочих – на Юге, среди негритянских подростков – в гетто и среди не получивших профессиональной подготовки – по всей стране. Установленный законом минимум заработной платы, естественно, не гарантирует занятость кому бы то ни было, но

зато он не позволяет никого взять на работу по меньшей ставке. Результатом оказывается безработица. Экономисты продемонстрировали, что рост федерального минимума заработной платы создал известный разрыв в уровне занятости белых и темнокожих подростков и поднял уровень безработицы среди негритянских подростков мужского пола с послевоенных 8% до нынешних 35% и более – до уровня намного более катастрофичного, чем даже массовая безработица депрессивных 1930-х годов (20–25%)[33].

Мы уже знаем, как государственное высшее образование перераспределяет доход от бедных к богатым. Система правительственного лицензирования, охватывающая одну профессию за другой, делает их недоступными для менее обеспеченных и менее квалифицированных работников. Уже начало возникать понимание того, что программы реконструкции городов, задуманные, вроде бы для приведения трущоб в приличный вид, фактически ведут к сносу домов, в которых живут беднейшие горожане, и выдавливанию их в еще более перенаселенные и нездоровые жилища, а все выгоды достаются субсидируемым арендаторам, которые платят за жилье меньше, чем потребовал бы рынок, профсоюзам строителей, привилегированным застройщикам и деловым кругам. Уже стало общим местом, что профсоюзы, некогда столь опекаемые либералами, заняты главным образом тем, что, опираясь на правительственные привилегии, отсекают от рынка меньшинства. Федеральная политика высоких сельскохозяйственных цен обирает налогоплательщиков, чтобы еще выше поднять цены на продукты питания, от чего страдают беднейшие потребители, а выгоду получают отнюдь не мелкие фермеры, а самые богатые производители сельхозпродукции, обрабатывающие огромные площади. (Поскольку фермерам платят за килограмм или бушель продукции, выгода достается самым крупным производителям, а так как фермерам зачастую платят за *отказ* от производства, за вывод земель из эксплуатации, безработица поражает беднейшие слои сельскохозяйственного населения – арендаторов и батраков.) Законы о зонировании застройки в развивающихся пригородах закрывают допуск в эти районы беднейшим горожанам, чаще всего неграм, пытающимся перебраться туда вслед за уходящими из центров городов рабочими местами. Почтовая служба США берет повышенную плату за доставку корреспонденции, чтобы субсидировать распространение газет и журналов. Федеральное управление по жилищным вопросам субсидирует ипотечные кредиты для зажиточных домовладельцев. Федеральное бюро мелиорации субсидирует

воду для орошения богатых ферм на Западе, а страдают от этого бедняки из центров городов, которым приходится платить за воду больше. Управление электрификации сельских районов и Управление ресурсами бассейна реки Теннеси субсидируют электроснабжение богатых фермеров, жителей пригородов и корпораций. По сардоническому замечанию профессора Брозена,

> электричество для пораженных нуждой корпораций, таких как Alcoa, Inc. и DuPont Company, субсидируется за счет того, что Управление ресурсами бассейна Теннеси освобождено от налогов (в цене электричества, производимого частными компаниями,27% приходится на налоги)[34].

Правительственное регулирование ведет к монополизации и картелизации промышленности, что оборачивается ростом цен и ограничением производства, конкуренции и прогресса, примером чему может служить регулирование железнодорожных и авиационных перевозок, добычи нефти и газа и сферы коммунальных услуг. Так, Управление гражданской авиации, закрепляя воздушные маршруты за привилегированными компаниями, отсекает от рынка и даже выдавливает с него мелких конкурентов. Законы о принудительном ограничении отбора нефти устанавливают верхний предел добычи, что ведет к соответствующему росту цен, усиливаемому ограничениями на импорт той же нефти. По всей стране власти наделяют монопольными привилегиями газовые, электрические и телефонные компании, защищая их от конкуренции, и обеспечивают им гарантированную прибыль, устанавливая соответствующие тарифы для потребителей. История всегда и везде одна и та же: «государство всеобщего благосостояния» обирает массы населения[35].

Большинство верит, что американская система налогов берет с богатых намного больше, чем с бедных, и тем самым осуществляет перераспределение доходов в пользу групп с малыми доходами. (Перераспределение действует и во многих других направлениях, например, от налогоплательщиков в целом к корпорациям Lockheed или General Dynamics.) Но даже федеральный подоходный налог, всеми признаваемый прогрессивным (с богатых взимается намного больше, чем с бедных, а со средних классов – по средней ставке), при более пристальном рассмотрении работает не совсем так. Например, налог на социальное страхование открыто регрессивен, потому что обирает, прежде всего, низшие и средние слои населения: с дохода в 8000 долларов в год выплачивается ровно такой же

налог (и его величина ежегодно растет), как с дохода в 1 млн долларов. Налог на реализованный прирост капитала, взимаемый с богатых акционеров и домовладельцев, намного меньше обычного подоходного налога. Частные трасты и фонды освобождены от налогов, и то же самое с доходом от облигаций, выпускаемых штатами и муниципалитетами. Ниже приведены оценки величины процента дохода, отдаваемого на федеральные налоги.

1965

Совокупный годовой доход, USD Доля дохода, уходящая на уплату федерального налога у разных классов плательщиков, %

До 2000___ 19
2000–4000___ 16
4000–6000___ 17
6000–8000___ 17
8000–10 000___ 18
10 000–15 000___ 19
Свыше 15 000___ 32
В среднем ___ 22

Если федеральные налоги все же несколько прогрессивны, то налоги штатов и местные налоги отчетливо регрессивны. Налоги на недвижимость: а) пропорциональны, б) затрагивают только владельцев недвижимости и в) зависят от политической удачливости местных собственников. Налог с продаж и акцизы в большей степени ложатся на бедных. Ниже приводится оценка процента дохода, уходящего на уплату налогов штатов и местных налогов.

1965

Совокупный годовой доход, USD Доля дохода, уходящая на уплату федерального налога у разных классов плательщиков, %

До 2000___ 25
2000–4000__ 11
4000–6000__ 10
6000–8000__ 9
8000–10 000__ 9
10 000–15 000__ 9
Свыше 15 000__ 7
В среднем ___ 9

Ниже приведена оценка совокупного воздействия налогов –

федеральных, штатов и местных – на разные группы налогоплательщиков.

1965

Совокупный годовой доход, USD[36] Доля дохода, уходящая на уплату федерального налога у разных классов плательщиков, %

До 2000__ 44
2000–4000__ 27
4000–6000__ 27
6000–8000__ 27
8000–10000__ 27
10 000–15000__ 27
Свыше 15 000__ 38
В среднем____ 31

Данные за 1968 год показывают, что за три года налоговое бремя групп с наименьшими доходами увеличилось.

1968

Совокупный годовой доход, USD[37] Доля дохода, уходящая на уплату федерального налога у разных классов плательщиков, %

До 2000__ 50
2000–4000__ 35
4000–6000__ 31
6000–8000__ 30
8000–10000__ 29
10 000–15000__ 30
15 000–25000__ 30
25 000–50000__ 33
Свыше 50 000__ 45

Многие экономисты пытаются смягчить получающуюся картину и утверждают, что те, кто зарабатывают, например, менее 2000 долларов, получают в виде пособий и других трансфертных платежей больше, чем отдают в виде налогов. Но при этом игнорируется тот ключевой факт, что в каждой группе налогоплательщиков *одни* получают пособия, а *другие* платят налоги. И налогоплательщиков как следует обирают, чтобы субсидировать получателей пособий. Короче говоря, бедных и средние классы облагают налогом, чтобы предоставить дешевое муниципальное жилье другим бедным и лицам среднего класса. Работающие бедные платят огромные налоги, чтобы оплатить пособия неработающим бедным.

В США много форм перераспределения налогов: в пользу Lockheed Corporation, в пользу получателей пособий и т.д., но налоги богатых не достаются бедным. Перераспределение осуществляется внутри каждой категории налогоплательщиков: одних бедных вынуждают платить за других.

Эту жутковатую картину подтверждают разные оценки. Например, по оценкам Фонда налогообложения (Tax Foundation), совокупные налоги – федеральные, штатов и местные – поглощают 34% общего дохода тех, кто зарабатывает менее 3000 долларов в год[38].

Речь, конечно, не о том, чтобы завести действительно прогрессивную структуру налогов и как следует обирать богатых, просто важно знать, что современное «государство всеобщего благосостояния», гордящееся своей помощью бедным за счет богатых, на самом деле этого не делает. По сути, разорение богатых с помощью налогов имело бы катастрофические последствия для всей страны, в том числе для малообеспеченных слоев. Ведь именно богатые обеспечивают бóльшую часть сбережений, инвестиционного капитала, они принимают стратегические решения и финансируют технологические новшества, которые обеспечили Соединенным Штатам невиданный в истории высокий уровень жизни. Налоговая экспроприация богатых была бы делом не только глубоко аморальным, но явилась бы бессмысленным наказанием за те добродетели – бережливость, предусмотрительность и инвестиции,– которые создали богатство страны. Это все равно что зарезать курицу, которая несет золотые яйца.

Что может сделать правительство?

Что *может* сделать государство для помощи бедным? Правильный ответ дают только либертарианцы: уйти с дороги. Пусть правительство уберет созданные им барьеры на пути производительной энергии всех групп населения – богатых, средних и бедных классов, и результатом станет огромный рост благосостояния и уровня жизни каждого, а прежде всего бедных, от имени которых действует так называемое государство всеобщего благосостояния.

У правительства есть четыре способа уйти с пути американского народа. Во-первых, оно может ликвидировать – или, по меньшей мере, радикально понизить – уровень налогообложения, которое губительно действует на сбережения, энергию, инвестиции и технологическое развитие. По сути дела,

новые рабочие места и рост заработной платы, которые стали бы результатом резкого снижения налогов, самую большую пользу принесли бы группам с наименьшими доходами. Как отмечает профессор Брозен,

> если правительство будет меньше хлопотать о снижении неравенства в распределении дохода, неравенства станет меньше. При повышении уровня сбережений и инвестиций быстрее всего растут самые низкие ставки заработной платы, а с ростом заработков ослабнет и неравенство в распределении дохода[39].

Лучший способ помочь бедным – это сократить налоги и убрать все препятствия для сбережений, инвестиций и создания рабочих мест. Как давным-давно отметил д-р Ф.А. Харпер, производственные инвестиции – это «высшая форма экономического милосердия». Харпер писал:

> Согласно одному подходу, милосердие – это стремление поделиться коркой хлеба. Согласно другому, высшей формой экономического милосердия являются сбережения и машины для производства дополнительных буханок хлеба.
>
> Эти два подхода противоречат друг другу только потому, что каждый из методов полностью поглощает время и энергию тех, кто выбирает тот или иной путь… Эти подходы опираются на разные представления о природе экономического мира. Первый исходит из идеи, что совокупность экономических благ неизменна. Второй основывается на представлении, что производство может беспредельно возрастать.
>
> Разница между ними подобна несходству между двумерными и трехмерными картинками. Двумерное изображение всегда неизменно, но в третьем измерении, благодаря сбережениям и машинам, все может беспредельно увеличиваться… Вся история человечества отрицает идею неизменности суммы экономических благ. История говорит, что сбережения и умножение средств производства – это единственный путь к росту[40].

Об этом же красноречиво высказалась Изабель Паттерсон:

Что же касается частного филантропа и частного капиталиста как таковых, то возьмите случай истинно нуждающегося человека, вполне трудоспособного, и представьте, что филантроп дал ему одежду, пищу и крышу над головой, а когда все это будет съедено и изношено, он окажется там же, где был, разве что разовьет за это время привычку к зависимости. Но представьте, что некто, и не думающий ни о какой благотворительности, а просто нуждающийся в рабочей силе, наймет этого нуждающегося за определенную плату. Наниматель сделал благое дело. Но и условия нанятого изменились. В чем же главное различие между двумя действиями?

Оно в том, что не думающий о филантропии наниматель вернул нанятого им человека в **производство**, подключил его к великому потоку энергии, тогда как филантроп отвел его энергию в то русло, из которого невозможен возврат в производство, и тем самым понизил вероятность того, что объект его попечительства когда-либо найдет работу…

Если бы мы провели перекличку искренних филантропов с начала времен, то обнаружили бы, что все вместе они своей филантропической деятельностью не дали человечеству и десятой доли тех благ, которые принесла чисто эгоистическая активность Томаса Алвы Эдисона, не говоря уж о величайших умах, которые дали миру научные принципы, использовавшиеся Эдисоном. Несчетное множество мыслителей, изобретателей и организаторов способствовали повышению комфорта, здоровья и счастья людей именно потому, что это не было их целью[41].

Во-вторых, резкое сокращение или ликвидация налогов должны сопровождаться эквивалентным уменьшением государственных расходов. Скудные экономические ресурсы не должны впредь тратиться на расточительные и непроизводительные нужды – на многомиллиардные космические программы, общественные расходы, военно-промышленный комплекс и т.д.

Эти ресурсы должны высвободиться для производства товаров и вещей, нужных массовому потребителю. Расширение производства обеспечит потребителей товарами и услугами более дешевыми и более качественными. Правительственные субсидии

и контракты перестанут быть помехой для роста производства и эффективности. Более того, энергия и изобретательность лучших ученых и инженеров перестанут расходоваться на расточительные правительственные программы исследований и будут высвобождены для мирной и продуктивной деятельности, для изобретений, полезных потребителям[42].

В-третьих, правительство могло бы прекратить поборы с бедных, т.е. перестать облагать их налогами в пользу богатых (см. выше о сельскохозяйственных субсидиях, ирригации, высшем образовании, Lockheed Corporation и т.п.). Покончив с этой практикой, правительство сняло бы с бедных бремя, сковывающее их производственную энергию.

Наконец, правительство могло бы оказать бедным самую большую услугу, если бы устранило созданные им самим препятствия. Так, законы о минимальном размере заработной платы выталкивают с рынка труда самых бедных и наименее производительных членов общества. Привилегии, предоставленные правительством профсоюзам, позволяют им не допускать к самым оплачиваемым видам деятельности представителей самых бедных меньшинств. Законы о лицензировании, запрет азартных игр и другие установленные правительством ограничения не позволяют бедным начать собственный малый бизнес и самим создать для себя рабочие места. Так, власти всех уровней повсеместно поддерживают ограничения на торговлю вразнос, используя при этом как прямые запреты, так и очень дорогие лицензии. С торговли вразнос начинали многие иммигранты, совсем бедные и безо всякого капитала, и некоторые из них стали потом крупными предпринимателями. Но сегодня этот путь закрыт. Сделано это преимущественно для защиты стационарных предприятий розничной торговли, опасающихся убытков в результате открытой конкуренции с юркой толпой уличных торговцев.

Типичным примером того, как правительство тормозит производительную активность бедных, является история нейрохирурга д-ра Томаса Мэтью, основателя негритянской организации взаимопомощи Negro, финансирующей свою деятельность за счет облигационных займов. В середине 1960-х годов д-р Мэтью, несмотря на противодействие нью-йоркского муниципалитета, основал успешную межрасовую клинику в негритянской части Куинса. Вскоре он обнаружил, что общественный транспорт там настолько не развит, что это создает серьезные затруднения для сотрудников и пациентов клиники. Тогда д-р Мэтью купил несколько автобусов и организовал автобусное сообщение – регулярное, эффективное и

пользовавшееся популярностью. Проблемой было то, что у него не было городской лицензии на автобусные перевозки – это привилегия неэффективных, но защищаемых законом транспортных монополистов. Обнаружив, что нелицензированным перевозчикам запрещено взимать плату за проезд, изобретательный д-р Мэтью сделал свои автобусы бесплатными, но пассажиры получили возможность покупать за 25 центов облигации компании.

Затея оказалась настолько удачной, что Мэтью создал еще один автобусный маршрут в Гарлеме, но тут нью-йоркские власти встревожились и пошли на решительные действия. В начале 1968 года они подали в суд и закрыли оба маршрута за работу без лицензии.

Спустя пару лет д-р Мэтью и его коллеги захватили пустующее здание в Гарлеме, которое принадлежало городским властям. (Муниципалитет Нью-Йорка – это крупнейший в городе владелец трущоб, потому что к нему отходят все дома, брошенные собственниками из-за непосильных налогов, а потому постепенно приходящие в полный упадок.) Д-р Мэтью создал дешевую клинику – и это в период быстрого удорожания медицинских услуг и нехватки больничных коек. Город сумел закрыть и эту клинику под предлогом нарушения требований пожарной безопасности. Раз за разом роль правительства сводилась к тому, чтобы перекрыть все инициативы по развитию бедных районов. Неудивительно, что когда белый чиновник нью-йоркского муниципалитета спросил д-ра Мэтью, чем власти могли бы помочь проектам развития негритянской взаимопомощи, Мэтью ответил: «Уйдите с пути и дайте нам самим позаботиться о себе». Вот еще один пример того, как действует государство. Несколько лет назад федеральное правительство и власти Нью-Йорка громко объявили, что намерены капитально отремонтировать 37 зданий в Гарлеме. Но вместо обычной практики, когда продаются контракты на капитальный ремонт каждого дома в отдельности, правительство решило, что всеми 37 домами будет заниматься один подрядчик. Тем самым правительство гарантировало, что на контракт не смогут претендовать небольшие, принадлежащие темнокожим владельцам строительные фирмы, и проект, естественным образом, достался крупной строительной компании, принадлежавшей белому. Еще один пример: в 1966 году федеральное Управление по делам малого бизнеса открыло программу поддержки создания малых фирм темнокожими предпринимателями. Но правительство выставило определенные условия получения льготных кредитов. Во-первых, оно решило,

что заемщиками могут быть только те, кто живет за чертой бедности. Но поскольку очень бедные люди обычно не создают новых компаний, это условие поставило вне игры многие небольшие фирмы, принадлежащие людям с довольно скромными доходами – как раз тем, кто способен быть мелкими предпринимателями. К этому было добавлено еще одно условие: все негры, претендующие на льготное кредитование, должны сначала «доказать, что их община действительно нуждается в этих услугах» и они заполнят заметную «экономическую пустоту», – и все это для пользы бюрократов, не имеющих представления о хозяйственной жизни[43].

Поразительные данные о том, в какой мере правительство «помогает» бедным, содержатся в неопубликованной работе Вашингтонского института политических исследований. Задачей исследования была оценка притока государственных денег (федеральных и местных) в бедный негритянский район Шоу-Кардозо в Вашингтоне и сопоставление этой величины с оттоком денег в виде налогов. В 1967 году население Шоу-Кардозо составляло 84 000 человек (в том числе 79 000 черных),а средний семейный доход был равен 5600 долларов в год. Совокупный личный доход жителей района составил в том году 126,5 млн долларов. Величина правительственных субсидий (от социальных пособий до расходов на содержание государственных школ) была равна 45,7 млн.Субсидии были столь щедры, что составили почти 40% совокупного дохода жителей Шоу- Кардозо? Возможно, но при этом общая сумма выплаченных ими налогов равнялась 50 млн – чистый отток средств из этого бедного гетто за год составил 4,3 млн долларов! Можно ли после этого утверждать, что ликвидация разбухшего, непроизводительного «государства всеобщего благосостояния» больно ударит по бедным?[44]

Правительству нетрудно помочь бедным, да и всем остальным, просто убравшись с дороги: ликвидировав баррикады, состоящие из налогов, субсидий, неэффективности и монополистических привилегий. Как сказал профессор Брозен, подводя итог своего анализа «государства всеобщего благосостояния»,

> обычно государство представляло собой механизм обогащения немногих за счет многих. Рынок обогащает многих, и при этом мало кто оказывается внакладе. Государство не изменило своих привычек с римских времен – хлеба и зрелищ для масс, хотя сегодня оно гордится тем, что снабжает публику образованием, медициной, а также бесплатным молоком и духовными

ценностями. Оно все еще остается источником монопольных привилегий и власти для немногих за фасадом благосостояния для большинства – благосостояния, которое было бы куда более изобильным, если бы политики не отбирали у людей средства, чтобы создавать иллюзию того, будто они заботятся о своих избирателях[45].

Отрицательный подоходный налог

К сожалению, движение по демонтажу нынешней системы, поддержанное чуть не всеми – от президента Никсона и Милтона Фридмана на правом фланге до множества людей на левом, происходит не в сторону свободы, а в противоположном направлении. Называется все это «гарантированный годовой доход», «отрицательный подоходный налог» или, как у Никсона, «план помощи семье». В отличие от царящих ныне неэффективности, неравенстве и запретов, гарантированный годовой доход сделает получение пособий делом легким, эффективным и автоматическим: налоговые органы будут ежегодно переводить деньги семьям, доход которых оказался *ниже* определенного базового уровня, а финансироваться эта благодать будет, разумеется, за счет налогов тех, кто зарабатывает *больше* базового уровня. И работа этого простого и стройного механизма обойдется нам всего лишь в несколько миллиардов долларов в год.

Но здесь спрятана ловушка: все оценки сделаны в *предположении*, что каждый из получателей пособий и плательщиков налогов продолжит работать так же напряженно, как и прежде. Но предположение это сомнительно: гарантированный годовой доход окажет деморализующее воздействие и на плательщиков налогов, и на получателей пособий.

Существующую систему соцобеспечения спасает от полного краха только одно – трудность получения права на пособие и позорное клеймо бездельника, живущего за счет остальных граждан. Получатель пособий до сих пор носит своего рода клеймо, хоть и менее заметное в последние годы. Ему все еще приходится иметь дело с неэффективным, безличным и запутанным бюрократическим механизмом. Но гарантированный годовой доход, сделав получение пособий делом простым и автоматическим, устранит главное препятствие в «функции предложения» пособий, что приведет к массовому переходу людей в ряды получателей гарантированной социальной помощи. Более того, новое пособие будет восприниматься как

автоматическое право, а не как привилегия или подарок, и клеймо стыда и позора исчезнет окончательно. Представьте себе, что чертой бедности объявят годовой доход в 4000 долларов, и каждый зарабатывающий менее этой суммы будет автоматически получать от дяди Сэма разницу сразу после подачи налоговой декларации. Человек с нулевым доходом получит от правительства 4000 долларов, заработавший 3000 – получит 1000 долларов и т.д. Вроде бы ясно, что если зарабатываешь менее 4000,то нет никакого смысла работать вообще. Чего ради, спрашивается, трудиться, если вовсе неработающий сосед будет иметь те же самые деньги? Короче говоря, *чистый* доход от продолжения трудовой деятельности станет равным нулю, так что все работоспособное население страны с доходом ниже 4000 долларов немедленно перейдет на законное пособие.

Но это еще не все. А как поведут себя люди, зарабатывающие ровно 4000 долларов в год или чуть больше? Человек, зарабатывающий 4500,через год обнаружит, что живущий по соседству бездельник, вовсе отказывающийся работать, получает от правительства 4000, так что весь его заработок за работу по сорок часов в неделю составляет только 500 долларов в год. Поэтому он тоже бросит работу и перейдет на пособие. Точно также поступят те, кто зарабатывает 5000 долларов в год и т.д.

Но и на этом дело не кончится. Когда все, зарабатывающие меньше 4000 долларов и даже несколько больше этого, бросят работать и перейдут на пособие, расходы на социальную помощь вырастут многократно, а чтобы их финансировать, придется существенно повысить налоги на тех, кто продолжит работать. Но тогда и у них посленалоговый доход резко упадет, так что многие из них также переберутся на пособие. Возьмем пример человека, зарабатывающего 6000 долларов в год. С самого начала его чистый доход от работы составляет только 2000,а если ему придется платить, скажем, 500 долларов налогов на содержание неработающих, его чистый доход составит только 1500 в год. А если потом ему придется отдавать в виде налогов еще 1000, чтобы финансировать быстро разрастающиеся ряды бездельников, его доход от работы упадет до 500 долларов в год, и он также перейдет на пособие. Таким образом, гарантированный годовой доход гарантированно приведет к катастрофе, когда работать станет некому – все будут ждать пособий.

Помимо всего этого есть еще ряд дополнительных соображений. На практике, конечно, пособие, изначально установленное в сумме 4000 долларов, надолго на этом уровне не задержится: непреодолимое давление клиентов системы соцобеспечения и других заинтересованных лиц неизбежно

обернется ежегодным повышением этой планки, так что спираль движения вниз станет круче, а экономический крах приблизится. На практике гарантированный годовой доход вопреки надеждам консервативных сторонников такого метода не *заменит* существующую лоскутную систему соцобеспечения, а просто станет дополнением к остальным программам. Именно это произошло с издавна существовавшими в штатах программами помощи. Когда в рамках «нового курса» принимали федеральную программу социального обеспечения, много говорили о том, что она превосходно заменит старую лоскутную систему программ помощи. На практике же, разумеется, ничего такого не случилось, и через старые программы помощи сейчас распределяют намного больше денег, чем в 1930-е годы. Постоянно растущая система социального обеспечения просто дополнила кучу старых программ. Наконец, популистские обещания президента Никсона, что трудоспособных получателей пособий заставят работать,– это патентованное жульничество. Они, конечно, будут изо всех сил искать «подходящую» работу, а всем агентствам по трудоустройству безработных прекрасно известно, что «подходящую» работу в таких случаях найти практически невозможно[46].

Всевозможные схемы гарантированного годового дохода на самом деле не устраняют известные пороки системы социального обеспечения, а всего лишь еще глубже затягивают в болото этих самых пороков. Единственное действенное решение предлагают либертарианцы: ликвидация пособий во имя свободы и добровольной деятельности всех и каждого, бедных и богатых в равной степени.

9. Инфляция и экономические циклы: крах кейнсианской парадигмы

До 1973–1974 годов кейнсианцы, сформировавшие в конце 1930-х основную экономическую доктрину этого периода, чувствовали себя на конех[1]. Буквально все приняли идею Кейнса, что в рыночной экономике есть нечто такое, что делает ее подверженной колебаниям уровня расходов (на практике кейнсианцев интересовала только ситуация недостаточных расходов), а потому государство обязано вмешиваться и компенсировать этот дефект рынка. Для компенсации природного неравновесия рынка правительство должно было манипулировать уровнем расходов и дефицитом бюджета (на практике – постоянно их увеличивать). Управлять этой жизненно важной макроэкономической функцией правительства должен был, разумеется, совет кейнсианских экономистов (Совет экономических консультантов при президенте США), задача которого состояла в «точной настройке» экономики, необходимой для того, чтобы избежать как инфляции, так и рецессии, и регулировать совокупную величину расходов таким образом, чтобы гарантировать поддержание полной занятости в отсутствие инфляции.

К 1973–1974 годам даже кейнсианцы, наконец, осознали, что с этим самонадеянным сценарием что-то не в порядке и что пришла пора пересмотреть основы своей теории. Ведь за четыре десятилетия кейнсианской «точной настройки» не только не удалось избавиться от хронической инфляции, возникшей в ходе Второй мировой войны, – именно в это время инфляция стала двузначной (около 13% в год). И мало того, так еще в 1973–1974 годах Соединенные Штаты вошли в самую глубокую и продолжительную рецессию со времен 1930-х годов (ее следовало бы назвать депрессией, но к тому времени экономисты отказались от этого термина как неполиткорректного). В кейнсианской картине мира не было предусмотрено такого поразительного сочетания – значительная инфляция на фоне глубокой рецессии. Экономисты привыкли к тому, что либо экономика переживает бум, и тогда цены растут, либо экономика пребывает в состоянии спада или депрессии, и тогда имеет место высокая безработица, а цены падают. В период бума кейнсианское правительство должно было «понижать чрезмерную покупательную способность», для чего следовало увеличивать налоги и откачивать деньги из экономики. А в период спада правительство должно было

увеличивать расходы и наращивать дефицит бюджета, т.е. накачивать деньги в экономику. Но что должно было делать правительство, когда в экономике одновременно наблюдаются инфляция и спад, сопровождающийся массовой безработицей? Как можно одновременно давить на газ и тормоз экономического механизма?

Уже в ходе спада 1958 года проявилась некоторая странность– в первые в истории в разгар спада индекс потребительских цен продолжил расти, хоть и незначительно. Но тучка была совсем маленькой, похожей на облачко, и кейнсианцы сочли, что тревожиться не о чем.

Потребительские цены не прервали рост и в период спада 1966 года, но спад был настолько незначительным, что это тоже никого не встревожило. А вот значительная инфляция в период спада 1969–1971 годов оказалась уже ударом. Впрочем, настоящее смятение в рядах кейнсианцев началось только в период глубокого спада 1973–1974 годов, сопровождавшегося двузначной инфляцией. Пришлось признать не только то, что провалилась политика «точной настройки» и мы все еще имеем дело с давно похороненными экономическими циклами, но и то, что когда экономика пребывала в состоянии хронической и даже ускоряющейся инфляции, она при этом не могла выбраться из рецессии, т.е. имел место инфляционный спад или стагфляция (стагнация + инфляция). Явление было не только совершенно новым, но еще и необъяснимым – господствовавшая экономическая теория не предусматривала ничего подобного.

При этом инфляционная ситуация явно ухудшалась: примерно 1–2% в год в период Эйзенхауэра, 3–4% в год при Кеннеди, 5–6% в год при Джонсоне и около 13% в 1973–1974 годах, после чего она снизилась до 6%, но только под напором резкого и продолжительного спада 1973–1976 годов. Несколько вещей нуждаются в объяснении:1) откуда взялась хроническая и ускоряющаяся инфляция? 2) почему инфляция сохранялась даже в период глубокой депрессии? А раз уж мы заговорили обо всем этом, то очень важно понять, 3) что порождает экономические циклы? Откуда эта нескончаемая последовательность подъемов и спадов?

К счастью, ответы на эти вопросы уже даны, и дала их вытесненная на задворки австрийская школа экономической теории и, в частности, теория денег и циклов деловой активности, развитая в Австрии Людвигом фон Мизесом и его последователем Фридрихом А. фон Хайеком, который и познакомил с этой теорией Лондонскую школу экономики в начале 1930-х годов. Собственно говоря, предложенная Хайеком

австрийская теория циклов деловой активности покорила молодых британских экономистов именно потому, что только она давала удовлетворительное объяснение Великой депрессии 1930-х годов. Вначале 30-х будущие лидеры кейнсианства, такие как Джон Р. Хикс, Абба Р. Лернер, Лайонел Роббинс и Николас Калдор в Англии и Элвин Хансен в Соединенных Штатах, были последователями Хайека. Но опубликованная в 1936 году работа Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег» смешала все карты – произошла настоящая кейнсианская революция, высокомерно провозгласившая, что никто прежде не мог объяснить природу экономического цикла и Великой депрессии. Следует подчеркнуть, что в ходе глубоких дебатов кейнсианская теория не одержала победы над австрийским подходом. Напротив, как нередко бывало в истории общественных наук, кейнсианство просто вошло в моду, а непобежденная австрийская теория впала в забвение.

В течение четырех десятилетий австрийская теория была жива, но почти незаметна: верность ей хранили только Мизес (в Нью-Йоркском университете) и Хайек (в Чикагском), а также горстка их последователей. Далеко не случайно, что возрождение австрийской теории совпало с появлением стагфляции и ставшим очевидным поражением кейнсианства. В 1974 году в колледже Ройалтон, штат Вермонт, состоялась первая за несколько десятилетий конференция австрийской школы экономической теории. В том же году сообщество экономистов было поражено присуждением Нобелевской премии по экономике Хайеку. После этого «австрийцы» провели конференции в Хартфордском университете, в Виндзорском замке в Англии и в Нью-Йоркском университете, причем даже Хикс и Лернер дали понять, что отчасти возвращаются к позиции, которой придерживались в молодости. Были проведены региональные конференции на Восточном и Западном побережье, на Среднем Западе и на Юго-Западе США. Публикуются книги и статьи, и, пожалуй, самое важное, появились чрезвычайно способные аспиранты и молодые профессора, связавшие свою научную карьеру с разработкой австрийского подхода, так что в будущем можно ждать результатов его применения.

Деньги и инфляция

Что же говорит о нашей проблеме воскресшая австрийская теория?[2] Прежде всего нужно отметить, что инфляция не является неотвратимой спутницей экономики, что она не может

рассматриваться как неизбежное условие роста и процветания. На протяжении большей части XIX века (если не считать периода войны 1812 года и Гражданской войны) цены падали, но при этом экономика росла и полным ходом шла индустриализация. Падение цен не препятствовало процветанию предпринимательства.

Таким образом, падающие цены – это *нормальное* свойство растущей рыночной экономики. Как же получилось, что сама идея неуклонно падающих цен стала восприниматься как нечто совершенно невозможное, как сказка? Почему в Соединенных Штатах и во всем мире с момента окончания Второй мировой войны наблюдается постоянный рост цен, временами довольно быстрый? До этого быстрый рост цен наблюдался во время Первой и Второй мировых войн, но в мирные периоды они падали даже в ходе великого бума 1920-х годов и очень сильно упали в ходе Великой депрессии. Короче говоря, сама идея инфляции как нормы мирного времени утвердилась только после Второй мировой войны.

Инфляцию часто объясняют алчностью дельцов – в погоне за прибылью они всегда рады накручивать цены. Но разве бизнес стал алчным только после Второй мировой войны? Разве он был менее алчным в XIX веке и вплоть до 1941 года? Почему же тогда не было инфляции? Более того, если бизнесмены в своей неутолимой жадности вздувают цены на 10% в год, почему они останавливаются на этом? Почему они медлят? Почему не поднимут цены сразу на 50%,на 100% или на 200%? *Что их удерживает*?

Сходное возражение должно быть выдвинуто и против другого распространенного объяснения инфляции: все зло от профсоюзов, это они добиваются роста заработной платы, а в результате предпринимателям приходится поднимать цены. Однако инфляция известна, по меньшей мере, со времен Древнего Рима, когда никаких профсоюзов еще в помине не было. К тому же нет свидетельств того, что там, где активно действуют профсоюзы, заработки и цены на соответствующую продукцию растут быстрее, чем в отраслях, профсоюзами не охваченных. А значит, неизбежен все тот же вопрос: почему бизнес не поднимает цены выше определенного предела? Что позволяет поднимать цены на определенную величину, но ни на полпроцента больше? Если профсоюзы настолько сильны, а бизнес настолько податлив, почему тогда заработная плата и цены не увеличиваются на 50% или на 100% в год? *Что их удерживает*?

Несколько лет назад инициированная правительством пропагандистская кампания на телевидении подошла к ответу

чуть ближе: во всем виноваты потребители, которые со свинской жадностью слишком много едят и тратят. По крайней мере, мы приблизились к объяснению того, что не дает бизнесу и профсоюзам требовать еще больших цен – потребители не заплатят. Несколько лет назад резко подскочили цены на кофе, а через год-другой они столь же резко упали – их не приняли потребители, начавшие переключаться с кофе на более дешевые заменители. Так вот что их удерживает – потребительский спрос.

Но это заставляет нас сделать шаг назад. Ведь если потребительский спрос в любой данный момент ограничен, каким же образом ему удается год за годом расти и оправдывать или допускать рост цен и заработной платы? А если он может за год вырасти на 10%,что мешает ему подняться на 50%? Короче, что позволяет потребительскому спросу расти год за годом, но при этом удерживает этот рост в определенных рамках? Чтобы продвинуться в нашем детективном расследовании, нужно сначала проанализировать значение термина «цена». Что такое цена? Цена любого количества продукции – это сумма денег, которую должен уплатить покупатель. Короче, если кому-то приходится выкладывать семь долларов за десять булок хлеба, значит, цена этих десяти булок составляет семь долларов, а поскольку обычно говорят о цене единицы продукции, то хлеб стоит 70 центов за одну булку. В этом обмене участвуют две стороны – покупатель с деньгами и продавец с хлебом. Следует понять, что рыночная цена возникает в ходе взаимодействия этих двух сторон. С одной стороны, если на рынок попадет больше хлеба, его цена понизится (рост предложения ведет к понижению цены). С другой, если у покупателей хлеба заведутся в кармане лишние деньги, цена хлеба повысится (рост спроса ведет к повышению цены).

Итак, мы обнаружили ключевой элемент, который ограничивает потребительский спрос и, соответственно, рост цен: количество денег в распоряжении потребителей. Если в их карманах денег станет на 20% больше, их спрос и, при прочих равных, цены смогут вырасти на те же 20%.Мы обнаружили ключевой фактор – количество денег.

Если взять все существующие в экономике цены, ключевым фактором станет общий объем или количество денег в обращении. Собственно говоря, чтобы найти связь между количеством денег и инфляцией, нужно взглянуть шире и перейти от рынка хлеба или кофе к экономике в целом. Потому что *все* цены обратно пропорциональны предложению товаров и прямо пропорциональны спросу на них. Но пока экономика растет, предложение товаров год от года увеличивается. Так что

если взять в уравнении сторону предложения, большинство цен должно снижаться, и мы, как в XIX веке, должны испытывать неуклонное падение цен (дефляцию). Если бы причиной хронической инфляции была сторона предложения – деятельность производителей, т.е. фирм и профсоюзов, тогда постоянный рост цен мог бы объясняться столь же постоянным уменьшением предложения. Но поскольку предложение заметно увеличивается, источником инфляции должна быть сторона спроса, а решающим фактором на стороне спроса, как уже было отмечено, является общее количество денег в экономике.

И в самом деле, если присмотреться внимательнее, мы обнаружим, что в прошлом количество денег в обращении увеличивалось достаточно быстро. Оно росло и в XIX веке, но намного медленнее, чем производство товаров и услуг. А после Второй мировой войны количество денег в нашей стране и за рубежом росло намного быстрее, чем производство товаров. Отсюда и инфляция.

Тогда главным становится вопрос: кто контролирует и определяет количество денег в экономике, кто отвечает за их рост, особенно в последние десятилетия? Чтобы ответить на него, нужно сначала рассмотреть, как в рыночной экономике возникли деньги. Деньги возникли, когда люди задумались о том, какой из полезных товаров может играть роль универсального средства обмена, а требование к таким деньгам-товарам очень просты и понятны: на них должен быть высокий стабильный спрос; они должны обладать высокой ценностью в пересчете на единицу веса; быть долговечными, чтобы их можно было хранить; мобильными, чтобы легко было перемещать их с места на место; легко опознаваемыми и делимыми на более мелкие части без потери ценности. История знает множество товаров, использовавшихся в разных обществах в качестве денег: соль, сахар, морские раковины, скот, табак, сигареты (в лагерях для военнопленных времен Второй мировой войны). Но два товара всегда и везде в конечном итоге побеждали в этом соревновании – золото и серебро.

Металлы всегда обращались по весу – *тонна* железа, *фунт* меди и т.д. – а цены на металлы всегда устанавливали на единицу веса. Золото и серебро не исключение. Все современные денежные единицы первоначально обозначали единицу веса золота или серебра. Например, британский фунт стерлингов назван так потому, что в свое время он являлся *фунтом серебра*. (Чтобы представить, как сильно обесценился фунт за прошедшие столетия, нужно иметь в виду, что сегодня за фунт стерлингов можно купить на рынке всего две пятых *унции* серебра. Вот вам

результат инфляции в Британии – понижение ценности фунта). Доллар (талер) – это название богемской серебряной монеты весом в одну унцию. Позднее доллар определили как одну двадцатую унции золота.

Когда общество или страна принимает некий товар в качестве денег, а единица веса этого товара превращается в денежную единицу, говорят, что в этой стране действует, скажем, золотой или серебряный стандарт. Поскольку рынки пришли к решению, что лучшими стандартами являются золотой или серебряный, для экономик переход к золотому или серебряному стандарту был естественным. В этом случае предложение или количество золота определяется рыночными силами: технологическими условиями добычи, ценами на другие товары и т.д.

Как только рынки приняли золото и серебро в качестве денег, на сцене появилось государство, чтобы взять под контроль денежное обращение в обществе. Мотивы такого поведения государства достаточно очевидны: контроль над денежным обращением перешел от рынка к группе лиц, входящих в государственный аппарат. Да и смысл операции очень понятен: ведь это была альтернатива налогообложению, которое всегда вызывало протест публики.

А так правители получили возможность создавать свои деньги и тратить их или ссужать союзникам. Но золотое время для государства настало, когда научились печатать бумажные деньги, а государство смогло изменить определение доллара, фунта или марки, так что они стали обозначать не единицу веса золота или серебра, а название полосок бумаги, отпечатанных центральным правительством. Выпуск бумажных денег обходится недорого, а печатать их можно сколько угодно. На отлаживание этого сложного механизма потребовались века, но теперь выпуск денег полностью в руках центрального правительства. Последствия этого видны невооруженным глазом.

Представьте только, что случится, если правительство предложит каким-то людям, скажем, семейству Джонсов, следующее: «Вы получаете абсолютное и неограниченное право печатать доллары, определять их количество в обращении. И это абсолютная монополия: любой другой, кто посмеет делать то же самое, надолго отправится в тюрьму как опасный фальшивомонетчик. Мы надеемся, что вы будете разумно использовать вручаемые вам полномочия». Легко предсказать, как поведет себя семья Джонсов. Сначала они будут действовать осмотрительно и благоразумно – раздадут долги, купят всякие полезные вещи, но потом, пьянея от своей волшебной власти над деньгами, пустятся во все тяжкие, начнут покупать предметы

роскоши, одаривать друзей. Результатом станет постоянный и даже ускоряющийся рост количества денег в обращении, а это породит постоянную и даже ускоряющуюся инфляцию.

Но ведь именно это делали и делают правительства – все правительства. Только вместо того, чтобы даровать монопольное право печатать фальшивые деньги Джонсам или другому семейству, правительство наделило этим правом само себя. Так же, как государство присвоило себе монопольное право легально похищать людей и называет это *воинским призывом*, так же, как оно ввело монополию на легализованный грабеж и называет это *налогообложением*, оно взяло себе и монопольное право подделывать деньги и называет это «функцией предложения» долларов (или франков, марок, фунтов). Вместо золотого стандарта, вместо денег, которые приходят извне, количество которых регулируется рынком, мы теперь имеем установленный декретом бумажный стандарт. Иными словами, доллар, франк и другие валюты – это просто полоски бумаги, на которых написано, что это деньги, выпускаемые правительством.

Более того, как любой фальшивомонетчик заинтересован в том, чтобы напечатать столько денег, сколько он сможет сбыть, так и государство печатает столько денег, сколько оно может разместить в экономике, и точно также оно использует право взимать налоги – собирает столько денег, сколько может собрать, не вызывая чрезмерно активного протеста. Правительственный контроль над количеством денег в обращении изначально инфляционен – любая группа людей, получившая право печатать деньги, всегда будет печатать их в избыточном количестве.

Федеральный резерв и банки с частичным резервированием

Просто печатать деньги считается теперь старомодным. Уж слишком *бросается в глаза*, когда в обращение попадает слишком много крупных купюр, так что у публики может зародиться опасная догадка: оказывается, инфляция – результат того, что государство печатает банкноты. Так правительство может лишиться власти. Поэтому оно обратилось к, намного более сложным и утонченным, а потому и менее заметным способам делать все то же самое – увеличивать количество денег в обращении, чтобы всегда иметь больше средств на всевозможные расходы и субсидии привилегированным политическим группам. Идея заключалась в том, что вместо того, чтобы перегружать работой печатный пресс, можно сохранить в качестве основных денег (законного средства платежа) бумажные доллары (марки,

франки или фунты), а сверх этой базы построить пирамиду таинственных и невидимых, но от этого не менее действенных банковских депозитов до востребования, являющихся основой чековых расчетов. Итогом стал контролируемый правительством инфляционный механизм, в работе которого разбираются только банкиры, экономисты и сотрудники центральных банков. И сделано это было умышленно.

Прежде всего следует понять, что вся система коммерческих банков в Соединенных Штатах и других странах действует под полным контролем государственных властей – и банки рады этому контролю, потому что он позволяет им создавать деньги. Инструментом контроля является центральный банк страны – правительственное учреждение, власть которого опирается на его монопольную привилегию печатать деньги. В Соединенных Штатах роль центрального банка исполняет Федеральная резервная система (ФРС). Федеральный резерв позволяет коммерческим банкам надстраивать над собственными резервами (депозитами банков в ФРС) пирамиду депозитов (чековых счетов) в соотношении примерно 6:1. Иными словами, если резервы банка в ФРС увеличиваются на 1 млрд долларов, этот банк может и даже должен создать на этом основании пирамиду депозитов до востребования на 6 млрд долларов, т.е. банк создает 6 млрд новых денег.

Почему банковские депозиты до востребования образуют большую часть денежной массы? Это не полноценные деньги или средства платежа, которыми являются банкноты ФРС. Но они представляют собой обещание банка погасить выписанный на депозит до востребования чек наличными (банкнотами ФРС), как только этого пожелает владелец депозита (текущего или чекового счета). Все дело в том, что у банков *нет этих денег*, да и быть не может, потому что они должны в шесть раз больше, чем все их резервы, сами представляющие собой чековый счет в ФРС. Однако ФРС успешно внушает публике доверие к банкам, к их надежности и добросовестности. Когда банки попадают в сложное положение, ФРС может прийти им на помощь и делает это. Если бы публика разобралась в том, что происходит, и ринулась бы в банки за своими деньгами, ФРС могла бы без труда *напечатать* достаточно денег, чтобы вывести банки из кризиса.

Таким образом, ФРС контролирует темп инфляции с помощью коэффициента (6:1) создания банковских денег или, что существеннее, определяя общую величину банковских резервов. Иными словами, когда ФРС нужно увеличить количество денег в обращении на 6 млрд долларов, она не печатает эти 6 млрд, а выпускает распоряжение об увеличении банковских резервов на 1

млрд и предоставляет самим банкам создать 6 млрд новых чековых денег. При этом публика не понимает ни самого процесса, ни его значимости.

Каким образом банки создают новые депозиты? Они их просто ссужают. Предположим, например, что банки получили 1 млрд долларов новых резервов. Тогда они просто раздадут кредитов на 6 млрд и под эти кредиты будут созданы новые депозиты до востребования. Короче говоря, когда коммерческие банки ссужают деньги частным лицам, фирмам или правительственным организациям, они дают в долг не уже существующие деньги, которые люди заработали, сберегли и положили на свои счета, хотя именно так представляет себе это дело публика. Они выдают в долг новые депозиты до востребования, созданные ими в ходе предоставления ссуд – и ограничивают их только резервные требования или установленный центральным банком максимальный коэффициент соотношения между депозитами и резервами, т.е.6:1. Ведь, в конце-то концов, они не печатают бумажные доллары и не добывают золото из-под земли, а всего лишь эмитируют новые счета до востребования или адресованные к самим себе чековые требования о выплате наличных, и у них нет никаких шансов удовлетворить эти требования, если публика в едином порыве потребует вернуть деньги, которые люди положили на свои банковские счета.

Каким же образом ФРС определяет совокупные резервы коммерческих банков? Она может *ссужать* им свои резервные средства, причем делает это по искусственно низкой ставке процента (учетная ставка, или ставка рефинансирования). Но банки не любят много брать в долг у ФРС, поэтому совокупная величина задолженности банков у ФРС никогда не бывает уж очень значительной. Для ФРС самым существенным методом увеличения совокупной величины резервов является малоизвестный или малопонятный публике метод покупок на свободном рынке. На деле это означает, что Федеральный резервный банк выходит на открытый рынок и покупает активы. Строго говоря, не имеет никакого значения, какие именно активы он покупает. Это может быть, например, карманный калькулятор за 20 долларов. Предположим, что Федеральный резервный банк покупает карманный калькулятор фирмы XYZ Electronics за 20 долларов. Федеральный резервный банк получил свой калькулятор, но здесь важно, что XYZ Electronics получила чек на 20 долларов от Федерального резервного банка. Банки ФРС не могут открывать депозиты до востребования для частных лиц и организаций – только для банков и федерального правительства.

Поэтому XYZ Electronics может сделать со своим 20-долларовым чеком только одну вещь – поместить его на собственный счет, скажем, в банке Acme. В этой точке происходит еще одна операция: чековый счет XYZ Electronics, ее депозит до востребования, увеличивается на 20 долларов. А банк Acme получает чек Федерального резервного банка.

Итак, случилось следующее: счет XYZ Electronics в банке Acme увеличился на 20 долларов, но при этом никакие другие счета не изменились ни на цент. Получается, что в конце этого начального этапа – этапа I – количество денег в обращении выросло на 20 долларов, на ту величину, которую ФРС истратила на покупку актива. Если спросить, а где ФРС добыла 20 долларов на покупку калькулятора, ответ будет таким: *создала из ничего*, просто выписала чек на саму себя. Ни у Федерального резервного банка, ни у кого другого не было этих 20 долларов до той минуты, когда они были созданы в процессе покупки, осуществленной ФРС.

Но это еще не все. Ведь теперь банк Acme к своему удовольствию обнаружил, что у него есть чек Федерального резервного банка. Он обращается в ФРС, кладет этот чек на свой счет и его резерв, т.е. его депозит до востребования в банке Федерального резерва, возрастает на 20 долларов. Теперь, когда резервы банковской системы выросли на 20 долларов, она может расширять кредитование, т.е. создавать дополнительные депозиты до востребования в форме займов фирмам (или частным потребителям, или правительству), пока суммарный прирост чековых денег не составит 120 долларов. Таким образом, в конце этапа II мы получаем следующее: ФРС купила калькулятор за 20 долларов и тем самым увеличила банковские резервы ровно на эту величину; банковские депозиты до востребования увеличились, соответственно, на 120 долларов; банковские ссуды юридическим и физическим лицам увеличились на 100 долларов. Количество денег в обращении увеличилось на 120 долларов, из которых 100 долларов были созданы банками в ходе предоставления бизнесу ссуд в виде чековых денег, а 20 долларов были созданы банком Федерального резерва в результате приобретения калькулятора.

На практике, конечно, ФРС не тратит время на покупку всякой ерунды. Для накачивания экономики деньгами нужно покупать такое количество активов, что пройти мимо одного из самых изобильных и ликвидных из них невозможно. Речь идет об облигациях правительства США и других правительственных ценных бумагах. В США рынок правительственных облигаций очень велик и очень ликвиден, так что ФРС может обойтись без политических конфликтов, неизбежных в случае, если бы ей

пришлось решать, какие именно частные акции или облигации она будет покупать. Правительству также выгодно, что рынок его обязательств имеет надежную опору, поддерживающую цены на правительственные облигации.

Предположим, однако, что некий банк, возможно, под давлением своих вкладчиков, вынужден обналичить часть своих чековых депозитов в ФРС, чтобы получить настоящие деньги. Что случится с ФРС, которая своими чеками создала новые банковские резервы буквально из ничего? Придется ли ей объявить о своем банкротстве? Ни в коем случае, потому что у ФРС есть монополия на печатание наличных, и она просто погасит свой депозит до востребования, напечатав нужное количество денег. Короче говоря, если банк явится в ФРС и потребует, чтобы из его резервов ему выдали 20 долларов – или 20 млн долларов – ФРС просто напечатает нужное количество денег и расплатится с банком. Как видим, ФРС занимает очень завидное положение – она может печатать собственные деньги.

Наконец мы получили ключ к тайне современного инфляционного процесса. Это процесс постоянного наращивания денежной массы в ходе постоянных покупок Федеральной резервной системой правительственных ценных бумаг на открытом рынке. Если ФРС, скажем, нужно увеличить количество денег в обращении на 6 млрд долларов, она купит на открытом рынке правительственных облигаций на 1 млрд (если коэффициент «депозиты до востребования/резервы» равен 6:1), и цель будет быстро достигнута. Фактически день за днем, даже в тот момент, когда вы читаете эти строки, ФРС присутствует на открытом рынке в Нью-Йорке и покупает намеченное накануне количество гособлигаций, чем обеспечивает поддержание запланированного темпа инфляции.

История денег в XX столетии – это история последовательного устранения ограничений, сковывавших возможности государства печатать деньги, так что в итоге государство получило полную свободу раздувать по своей воле денежную массу и, соответственно, поднимать уровень цен. В 1913 году Федеральная резервная система была создана именно для того, чтобы сделать возможным этот процесс. Новая система позволила увеличить количество денег в обращении и с помощью инфляции оплатить расходы на ведение Первой мировой войны. В 1933 году был сделан еще один роковой шаг: правительство Соединенных Штатов отказалось от золотого стандарта, т.е. по закону доллару все еще соответствовало определенное количество золота, но в реальности он перестал быть конвертируемым. Иными словами, до 1933 года способность ФРС

необоснованно увеличивать количество денег в обращении была скована: она обязана была по требованию погашать свои собственные банкноты соответствующим количеством золота.

Есть существенная разница между золотом и банкнотами Федеральной резервной системы. Правительство не умеет создавать золото из ничего. Золото приходится добывать из-под земли, и это недешевый процесс. А вот банкноты можно печатать сколько угодно, и это очень дешево. В 1933 году правительство Соединенных Штатов ликвидировало обмен бумажных денег на золото и перевело страну на бумажный стандарт; при этом государство оказалось монопольным поставщиком бумажных долларов. Именно отказ от золотого стандарта проложил путь к инфляционной денежной политике во время Второй мировой войны и после нее.

Но и после этого осталось одно ограничение, сдерживавшее способность правительства США бесконечно раздувать денежную массу. Соединенные Штаты отказались от золотого стандарта во внутреннем обороте, но их обязательство погашать золотом бумажные доллары, предъявленные иностранными правительствами, сохранилось. Иными словами, на международной арене сохранялась урезанная форма золотого стандарта. В 1950–1960-х годах Соединенные Штаты наращивали количество денег в обращении и повышали уровень цен, а параллельно в руках европейских правительств скапливались доллары и долларовые требования (в бумажных и чековых деньгах). Были предприняты грандиозные усилия, чтобы убедить иностранные правительства не требовать конвертации накопившихся у них долларов в золото, но в августе 1971 года Соединенным Штатам пришлось объявить о своем банкротстве – правительство закрыло «золотое окно» и отказалось погашать свои международные обязательства золотом. Далеко не случайно, что за этим отказом от последнего сдерживающего механизма последовала двузначная инфляция 1973–1974 годов в США и других странах мира.

Мы нашли объяснение хронической инфляции в современном мире, в том числе и в Соединенных Штатах: повсеместный переход от золотого стандарта к бумажному и развитие центральных банков, беспрепятственно эмитирующих чековые деньги на базе подверженных инфляции бумажных денег. В результате правительство получило полный контроль над количеством денег в обращении.

Уяснив ситуацию с инфляцией, нам предстоит теперь проанализировать проблему цикла деловой активности, спадов и инфляционных спадов или стагфляции. Откуда берется цикл

деловой активности и откуда возник таинственный феномен стагфляции?

Банковские кредиты и экономические циклы

Экономические циклы, или циклы деловой активности, возникли в Западном мире во второй половине XVIII века. Они привлекли к себе внимание, потому что появились вроде бы беспричинно, и прежде ничего подобного мир еще не знал. Экономический цикл состоит из регулярно повторяющихся (хотя и не строго периодических) подъемов и спадов, когда инфляционные периоды, отличающиеся повышенной деловой активностью, ростом цен и занятости, сменяются спадами или депрессиями, сопровождающимися затуханием активности, ростом безработицы и падением цен, а спустя какое-то время спад оканчивается, начинается восстановление хозяйственной деятельности и приходит очередной подъем.

Казалось бы, для такого рода цикличного движения экономики нет никаких причин. В некоторых видах деятельности, разумеется, циклы происходят по чисто природным причинам. Так, например, семилетний цикл размножения саранчи порождает семилетний цикл в области борьбы с саранчой, в производстве соответствующих ядохимикатов и оборудования. Но если брать экономику в целом, нет никаких оснований для чередования подъемов и спадов. По сути дела, есть основания рассчитывать как раз на противоположное, потому что свободный рынок обычно работает гладко и эффективно, не порождает значительных ошибок, которые делаются явными, когда очередной подъем неожиданно сменяется спадом и результатом оказываются значительные убытки. И до конца XVIII века масштабных экономических циклов не наблюдалось. Обычно хозяйственная жизнь развивалась гладко, и все шло своим чередом, пока не происходило нечто ужасное: значительный неурожай зерна вызывал крах экономики села, король отбирал у финансистов большую часть денег и в результате начиналась депрессия или война, которая приводила к расстройству торговли. В каждом из этих случаев хозяйственная жизнь получала легко различимый удар, так что не было нужды в поисках дальнейших объяснений.

Откуда же взялись экономические циклы? Сразу было замечено, что цикл поражает в каждой стране самые развитые районы: портовые города, через которые велась торговля с самыми развитыми мировыми центрами производства. В этот

период в Западной Европе, а точнее в самых передовых центрах производства и торговли возникли два жизненно важных явления: индустриализация и коммерческие банки. Банки вели дело на основе частичного резервирования, о котором мы говорили выше, а в Лондоне в конце XVIII века возник первый в мировой истории центральный банк, Банк Англии. В XIX веке в среде экономистов и знатоков финансового дела возникли два типа теорий, пытавшихся объяснить новое и весьма тревожное явление: одни взваливали вину за экономические циклы на промышленность, а другие – на банковскую систему. Первые в конечном итоге считали, что циклы деловой активности – это порождение рыночной экономики, и авторы подобных теорий призывали либо к ликвидации рынка (например, Карл Маркс), либо к жесткому государственному контролю и регулированию, направленному на сглаживание циклов (лорд Кейнс). Однако специалисты, считавшие, что проблему создают банки с системой частичного резервирования, видели причину экономических циклов в неправильной организации денежного обращения и банковского дела, которые даже английский классический либерализм никогда не освобождал от жесткого правительственного контроля. Таким образом, даже в XIX веке возложить вину за периодичность подъемов и спадов на банковскую систему означало, по сути, обвинить в этом государство.

Мы не можем здесь детально рассматривать промахи той экономической школы, которая считала, что циклы соприродны рынку. Достаточно сказать, что эти теории не в состоянии объяснить рост цен в период подъема и их падение во время спада или множество ошибок в хозяйственных решениях, которые выявляются в момент начала спада в виде массовых убытков и банкротств. Первую теорию цикла, основанную на особенностях денежного обращения и банковской системы, предложили в начале XIX века английский экономист классической школы Давид Рикардо и его последователи, которые разработали монетарную теорию цикла деловой активности[3]. Смысл этой теории примерно таков: банки с частичным резервированием, контролируемые и подстегиваемые правительством и его центральным банком, расширяют кредит. Когда на базе наличных бумажных и золотых денег выстраивается пирамида кредитов, увеличивается количество денег в обращении (в виде банковских депозитов, а в тот исторический период – в виде кредитных билетов). Увеличение количества денег в обращении толкает вверх цены и запускает инфляционный процесс. По мере раскручивания инфляции, питаемой наращиванием кредитных билетов и банковских депозитов на основе наличных денег,

происходит рост цен на отечественную продукцию. В конце концов, дело доходит до того, что импортные товары делаются дешевле отечественных, так что импорт растет, а экспорт падает. Возникает и начинает увеличиваться дефицит платежного баланса, и его приходится покрывать золотом, которое из переживающей инфляционный бум страны начинает перетекать в страны со стабильными ценами. В результате оттока золота из страны растущая пирамида кредита теряет устойчивость, а банки обнаруживают, что им грозит банкротство. Наконец, правительству и банкам приходится останавливать выдачу кредитов, и, спасая себя, банки начинают сокращать кредитование.

Неожиданный переход от расширения кредита к его сжатию меняет всю картину экономической жизни, и вместо подъема воцаряется спад. Банки сокращают свои расходы, и деловая активность снижается, потому что от фирм требуют срочного возврата кредитов. Уменьшение количества денег ведет к общему понижению цен (дефляции). Наступает фаза спада, рецессии или депрессии. Но по мере уменьшения денежной массы и падения цен отечественные товары опять делаются привлекательнее иностранных, и баланс платежей меняет знак – из дефицитного он делается профицитным. Золото начинает возвращаться в страну, а поскольку при этом продолжается сокращение объемов кредитования, банки обретают уверенность в будущем, и начинается фаза оживления экономической активности.

У теории Рикардо был целый ряд достоинств. Отталкиваясь от количества банковских денег (которое всегда увеличивается во время подъема и уменьшается во время спада), она объясняла поведение цен. Объясняла она также поведение платежного баланса. Более того, она установила связь между подъемом и спадом, так что спад предстал последствием предшествовавшего ему подъема. И не только последствием, но и целебным средством адаптации экономики к условиям, сложившимся в результате действия сил, породивших подъем.

Короче говоря, впервые спад предстал не как Божья кара и не как катастрофа, порожденная закономерностями индустриализованной рыночной экономики. Рикардианцы поняли, что главным злом был инфляционный подъем экономики, создаваемый правительственным вмешательством в механизм денежного обращения и банковского кредита, а спад, при всей нежелательности его симптомов, представляет собой необходимый процесс адаптации, очищавший экономику от последствий инфляционного бума. В ходе депрессии экономика избавляется от диспропорций и излишеств, порожденных

инфляционным бумом, и восстанавливает здоровые условия хозяйствования. Депрессия – это малоприятная, но необходимая реакция на излишества и искажения периода подъема. Почему же экономические циклы повторяются? Почему после спада начинается следующий подъем, а за ним очередной спад?

Для ответа на этот вопрос нам нужно разобраться в мотивации банков и правительства. Коммерческие банки получают прибыль за счет расширения кредита и создания новых платежных средств, поэтому при малейшей возможности они осуществляют монетизацию кредитов. Правительство также заинтересовано в инфляции, поскольку она обеспечивает рост государственных доходов (либо от печатания новых денег, либо благодаря тому, что банковская система в состоянии финансировать дефицит правительственного бюджета) и позволяет в условиях бума и дешевых кредитов подкармливать значимые экономические и политические группы. Легко понять, как начался первый подъем. Когда наступает кризис, правительство и банки вынуждены отступить. Но когда золото опять начинает притекать в страну, банки начинают чувствовать себя уверенно. А когда у банков появляется твердая почва под ногами, они начинают следовать естественной склонности и увеличивают объем платежных средств и кредитов. Так начинается следующий подъем, несущий в себе семена *очередного* неизбежного спада.

Таким образом, теория Рикардо объяснила и повторение цикла деловой активности. Но двух вещей она объяснить не смогла. Во-первых, и это самое существенное, она не объяснила множества допускаемых бизнесом в период подъема ошибок, которые неожиданно выходят на поверхность при наступлении спада. Ведь бизнесмены умеют предвидеть события, и трудно понять, почему все они начинают совершать серьезные ошибки, приводящие к серьезным убыткам. Во-вторых, важной особенностью всех экономических циклов был тот факт, что и подъемы, и спады особенно значительно сказывались на отраслях, производящих средства производства, т.е. на производителях машин, оборудования и промышленного сырья, в меньшей степени затрагивая предприятия легкой промышленности. Теория Рикардо не нашла объяснения этой особенности цикла.

Австрийская теория циклов, которую Мизес разработал, опираясь на рикардианский анализ, развила собственную теорию чрезмерного или, точнее, ошибочного инвестирования как основы делового цикла. Австрийская теория смогла объяснить не только все те явления, которые уже нашли объяснение в рамках теории рикардианцев, но и другие – обилие инвестиционных просчетов и

уязвимость производителей средств производства, особенно сильно страдающих от спадов. Как мы увидим далее, это еще и единственная теория, способная объяснить современное явление стагфляции.

Мизес начинает, как и рикардианцы: правительство и его центральный банк политикой покупки активов и наращивания банковских резервов стимулируют расширение банковского кредита. Банки наращивают кредитование, и, соответственно, возрастает количество денег в обращении в форме чековых депозитов (кредитные билеты частных банков к этому времени практически исчезли). Далее, как и у Рикардо, у Мизеса увеличение количества банковских денег ведет к росту цен, т.е. к инфляции.

Но, как отмечает Мизес, рикардианцы недооценили неблагоприятные последствия раздувания банковского кредита. Потому что здесь включается еще более пагубный механизм. Экспансия банковского кредита не только повышает цены, но и искусственно понижает процентную ставку, что вводит бизнесменов в заблуждение и побуждает их осуществлять необоснованные и нерентабельные инвестиции.

Дело в том, что на свободном рынке процентная ставка по ссудам определяется исключительно временными предпочтениями всех участников хозяйственного процесса. Ведь сущность любой ссуды состоит в том, что наличные блага (деньги, которые можно истратить немедленно) обмениваются на благо будущее (долговое обязательство, которое может быть использовано в некоем будущем). Поскольку люди всегда предпочитают деньги в кармане тем же деньгам, которыми удастся воспользоваться в будущем, наличные блага всегда оцениваются на рынке дороже, чем будущие. Выгода, получаемая из-за разницы между ними, или «лаж», и есть процентная ставка, величина которой зависит от того, насколько сильно люди предпочитают настоящее будущему, т.е. от степени их временных предпочтений.

Временные предпочтения людей определяют также соотношение между склонностью людей сберегать и вкладывать ради будущего использования и желанием все потратить не сходя с места. Если временны́е предпочтения людей уменьшаются, т.е. если степень их предпочтения настоящего будущему ослабевает, они будут потреблять меньше, а сберегать и инвестировать больше, и одновременно, по той же самой причине, падает и процентная ставка, величина скидки на время. Главным двигателем экономического роста является падение ставок временных предпочтений, которое ведет к относительному

повышению сбережений и инвестиций и относительному уменьшению потребления, что находит выражение в падении процентной ставки.

А что происходит, когда ставка процента падает не в результате добровольного понижения временных предпочтений и увеличения доли сбережений, а вследствие правительственного вмешательства, направленного на расширение кредита и увеличение объема банковских денег? Ведь новые чековые деньги, созданные в ходе предоставления банковских ссуд бизнесу, выйдут на рынок в качестве источника ссуд и, соответственно, хотя бы вначале понизят ставку процента. Иными словами, что происходит, когда уменьшение процентной ставки вызвано искусственными причинами, инициативой банков и правительства, а не естественными, т.е. связанными с изменениями оценок и предпочтений потребителей?

А происходят нехорошие вещи. Ведь на понижение ставки процента бизнесмены реагируют так, как они и должны реагировать на подобный сигнал рынка: они увеличивают вложения в средства производства. Инвестиции, особенно в обширные и долговременные проекты, которые прежде казались убыточными, теперь, когда процентная ставка упала, сразу представляются прибыльными. Короче говоря, бизнесмены реагируют так, как и следовало бы в случае *действительного* увеличения сбережений: они приступают к инвестированию в то, что выглядит как настоящие сбережения. Они повышают долю вложений в оборудование длительного пользования, средства производства, промышленное сырье и строительство в сравнении с долей расходов на производство потребительских благ.

Итак, предприятия радостно берут взаймы создаваемые банками новые деньги, которые достаются им по более дешевым ставкам, вкладывают эти деньги в средства производства, и в конце концов эти деньги обращаются в более высокую заработную плату тех, кто производит средства производства. Растущий спрос инвесторов увеличивает расходы на оплату труда, но бизнесмены уверены, что эти возросшие издержки им по плечу, потому что они обмануты вмешательством правительства и банков в операции рынка кредитов, искажающим подаваемые рынком сигналы о величине кредитного процента, сигналы, определяющие,vкакая доля ресурсов будет направлена на производство средств производства, а какая – на производство потребительских благ.

Проблемы выходят на поверхность, когда рабочие начинают тратить новые банковские деньги, которые достались им в форме более высокой заработной платы. Дело в том, что временные

предпочтения населения в *действительности* не стали ниже. Люди не намерены сберегать больше, чем сберегали до сих пор. Поэтому бóльшую часть дополнительного дохода рабочие направляют на потребление, иными словами, воспроизводят старую пропорцию потребление/сбережение. Это означает, что они переориентируют расходы на отрасли, производящие потребительские блага. Получившие повышенную заработную плату рабочие недостаточно сберегают и инвестируют, чтобы производители могли купить на эти деньги дополнительно произведенные машины, капитальное оборудование и промышленное сырье. Эта нехватка сбережений и инвестиций для покупки вновь произведенных средств производства дает о себе знать, когда в отраслях, производящих средства производства, наступает неожиданная острая депрессия. Дело в том, что когда потребители подтвердили прежнее соотношение между потреблением и сбережениями/инвестициями, сразу выясняется, что бизнес слишком много вложил в средства производства (отсюда и термин «теория чрезмерного инвестирования») и недостаточно вложил в производство потребительских благ. Правительственное вмешательство и искусственное понижение процентной ставки соблазнило бизнес, и он отреагировал так, как если бы сбережений для вложения в производство было больше, чем их было в действительности. Как только новые банковские деньги просочились через систему и потребители подтвердили свою верность прежним временным предпочтениям, становится ясно, что имеющихся сбережений для покупки вновь произведенных средств производства недостаточно, так что бизнес, как выясняется, неверно вложил имеющиеся ограниченные сбережения («теория ошибочного инвестирования»). Бизнес слишком много вложил в производство средств производства и недостаточно вложил в производство потребительских благ.

Таким образом, инфляционный бум ведет к искажению структуры цен и производства. В отраслях, производящих средства производства, цены на труд, сырье и машины в ходе бума повышаются слишком значительно, чтобы оказаться прибыльными в ситуации, когда потребители вновь утверждают прежнее желательное соотношение между потреблением и сбережениями. Поэтому депрессия рассматривается – еще в большей мере, чем в теории Рикардо – как необходимый период оздоровления, в ходе которого рыночная экономика избавляется от излишеств, ликвидирует необоснованные, неприбыльные инвестиции периода подъема и восстанавливает действительно желательное для потребителей соотношение между потреблением

и инвестициями. Депрессия – это болезненный, но необходимый процесс, в ходе которого свободный рынок избавляется от чрезмерностей и ошибок и восстанавливает рыночную экономику в ее главной функции эффективного служения массам потребителей. Поскольку в период подъема цены на факторы производства (землю, труд, машины, сырье) в отраслях, производящих средства производства, оказались чрезмерно высоки, это означает, что в ходе спада эти цены должны понизиться, пока не будут восстановлены должные рыночные соотношения цен и объемов производства.

Иначе говоря, инфляционный бум не только повышает общий уровень цен, но также искажает структуру относительных цен. Можно сказать, что инфляционное расширение кредита повышает все цены, но цены и ставки заработной платы производителей средств производства растут быстрее, чем цены и ставки заработной платы в производстве потребительских благ. А это означает, что в производстве средств производства подъем протекает в более острой форме, чем в производстве потребительских благ. Однако сущность депрессионного периода корректировки заключается в понижении цен и ставок заработной платы у производителей средств производства относительно производителей потребительских благ, чтобы побудить ресурсы вернуться из раздутого производства средств производства в обделенное производство потребительских благ. Сокращение объемов кредитования ведет к уменьшению всех цен, но цены и ставки заработной платы в производстве средств производства упадут больше, чем в производстве потребительских благ. Короче говоря, и подъем, и спад имеют более выраженный характер в производстве средств производства, чем в производстве потребительских благ. Таким образом, мы нашли объяснение, почему экономические циклы сильнее затрагивают производство средств производства.

В этой теории, однако, есть одно слабое место. Рабочие ведь начинают получать увеличенную зарплату на достаточно раннем этапе экономического подъема и тут же приступают к подтверждению желаемого соотношения между потреблением и сбережением, но как же тогда получается, что подъемы длятся годами, а никакого возмездия не наступает – необоснованность и ошибочность инвестиционных решений, принятых в ответ на искаженные банками сигналы рынка, остаются скрытыми? Иначе говоря, почему нужно так много времени, чтобы запустить оздоровляющий механизм депрессии? Дело в том, что бумы действительно были бы очень короткими (скажем, несколько месяцев), *если бы* кредитная экспансия и соответствующее

понижение процентной ставки ниже рыночного уровня были бы разовым импульсом. Но дело-то в том, что кредитная экспансия – это не разовая операция. Она длится и длится, не давая потребителям возможности утвердить предпочтительное соотношение между потреблением и сбережением, не позволяя росту издержек в производстве средств производства обогнать цены, толкаемые вверх инфляцией. Здесь все как с допингом в спорте: подъем поддерживается впрыскиванием все увеличивающихся доз стимулирующих его банковских кредитов и выдыхается только тогда, когда банкам приходится остановить кредитование или резко сократить его объемы – или из опасений краха, или под давлением населения, уставшего от непрерывной инфляции. Вот тогда расширение объемов кредитования останавливается, приходит пора платить по счетам и наступает неизбежный спад, ликвидирующий чрезмерные инвестиции периода подъема и переориентирующий экономику на производство *потребительских благ*. И чем дольше длится подъем, тем больше объем ошибочных инвестиций и тем болезненнее окажется процесс очищения спадом.

Таким образом, австрийская теория объясняет, почему в производстве средств производства ошибок (избыточности вложений в производство средств производства, которая становится очевидной после прекращения дальнейшего наращивания кредитов) больше, а интенсивность подъема и спада выше, чем в производстве потребительских благ. Она объясняет повторение цикла, переход к новому подъему так же, как рикардианская теория: когда этап ликвидаций и банкротств завершен, а корректировка цен и производственных пропорций доведена до конца, экономика и банковский сектор начинают восстанавливаться, и банки могут вернуться к естественной для них политике расширения объемов кредитования.

Как же австрийская школа объясняет стагфляцию? Каким образом в ходе последних спадов мог продолжаться рост цен? Прежде всего здесь нужно уточнить, что в ходе спада рост цен продолжился только на потребительские блага, так что публика разом получила все самое худшее одновременно из обеих составляющих цикла – спада и подъема: высокую безработицу и повышение стоимости жизни. Так, в ходе депрессии 1974–1976 годов имел место быстрый рост цен на потребительские блага, но при этом оптовые цены оставались стабильными, а цены на промышленное сырье быстро и значительно снизились. Так почему теперь в ходе спадов продолжается повышение стоимости жизни?

Вернемся назад и посмотрим, что происходило с ценами в

ходе классического, старомодного цикла подъема и спада в довоенную (до Второй мировой войны) эпоху. В ходе экономического бума объем денежной массы увеличивался, цены в целом также шли вверх, но цены на средства производства росли быстрее, чем на потребительские блага, что приводило к перетеканию ресурсов из производства потребительских благ в производство средств производства. Короче говоря, если абстрагироваться от повышения общего уровня цен, то *относительно друг друга* цена средств производства в ходе подъема увеличивалась, а цена потребительских благ *падала*. Что происходило в период спада? Обратная ситуация: объем денежной массы уменьшался, цены в целом падали, но при этом цены на средства производства снижались *быстрее*, чем цены на потребительские блага, что приводило к возвращению ресурсов из производства средств производства в производство предметов потребления. И если абстрагироваться от общего понижения уровня цен, то *относительно друг друга* цена средств производства в ходе спада понижалась, а цены на потребительские блага *увеличивались*.

Согласно точке зрения представителей австрийской школы, этот сценарий движения относительных цен в периоды подъема и спада остается неизменным. Во время экономического бума цены на средства производства по-прежнему растут, а цены на потребительские блага относительно них снижаются; во время спада цены движутся в противоположных направлениях. Разница лишь в том, что, как было отмечено выше, теперь мы имеем дело с другими деньгами. После отказа от золотого стандарта ФРС может наращивать находящийся в обращении объем денежной массы *в любое время*, не обращая внимания ни на подъемы, ни на спады. С самого начала 1930-х годов экономика не испытывала последствий сокращения денежной массы, и в обозримом будущем ничего такого также не будет. А поскольку количество денег в обращении теперь постоянно увеличивается, то постоянно растет и общий уровень цен, иногда чуть быстрее, иногда чуть медленнее.

Короче говоря, в ходе классического спада цены на потребительские блага всегда повышались относительно цен на средства производства. Так, если цены на потребительские блага в ходе спада понижались на 10%, а цены на средства производства падали на 30%, значит имел место существенный *относительный рост* цен на предметы потребления. Но с точки зрения потребителя падение стоимости жизни можно только приветствовать, и это являлось сладкой оболочкой горькой пилюли спада или депрессии. Даже в ходе Великой депрессии

1930-х годов с ее очень высокой безработицей 75–80% сохранившего занятость взрослого населения радовались падению цен на потребительские блага.

Но сейчас, когда действует кейнсианский механизм тонкой настройки, пилюля лишилась своей сладкой оболочки. Теперь, когда денежной массе, а вместе с ней и общему уровню цен, не позволяют сокращаться, рост относительной стоимости потребительских благ в период спада предстает перед потребителями как заметное повышение номинальных цен. Теперь и во время депрессии стоимость жизни продолжает расти, так что им достается все самое худшее. В классическую эпоху, когда мы еще не знали ни о лорде Кейнсе, ни о Совете экономических консультантов при президенте США, потребитель страдал от чего-то одного – от безработицы в период спада и от роста цен в период бума.

Какие политические выводы можно сделать из анализа цикла деловой активности, проведенного экономистами австрийской школы? Они прямо противоположны тем выводам, что делают кейнсианцы. Ведь если источником вируса, искажающего структуры относительных цен и производства, является расширение объема банковского кредитования, австрийское предписание для политики в отношении экономического цикла будет следующим: если мы пребываем в состоянии подъема, правительство и его банки должны немедленно остановить инфляционное наращивание кредитов. Это, разумеется, приведет к мгновенному прекращению экономического бума и переходу к неизбежному спаду или депрессии. Но чем дольше правительство оттягивает это решение, тем более мучительным станет процесс корректировки в ходе спада. Чем раньше начнется депрессионное очищение экономики, тем лучше. Это также означает, что правительство не должно оттягивать момент наступления депрессии. Нужно дать ей как можно быстрее сделать свою работу, чтобы стало возможным восстановление нормальной хозяйственной жизни. В частности, правительство должно воздерживаться от вмешательства в экономику, столь дорогого сердцам кейнсианцев. Оно не должно поддерживать неустойчивые компании и отрасли, не должно спасать фирмы, попавшие в сложное положение. Потому что тем самым оно просто затягивает агонию и превращает острую и быструю фазу депрессии в длительную хроническую болезнь. Правительство не должно предпринимать попыток поддерживать ставки заработной платы или цены, особенно в отраслях, производящих средства производства, потому что тем самым оно способно только на непредсказуемый срок затянуть процесс корректировки,

осуществляемый депрессией. При этом оно вызовет затяжную тяжелую депрессию и массовую безработицу в жизненно важных отраслях, производящих средства производства. Правительство не должно делать попыток остановить депрессию с помощью инфляции. Потому что даже если такая попытка окажется удачной, чего никто не может гарантировать, этим будут посеяны семена еще более острой и продолжительной депрессии в будущем. Правительство не должно стимулировать потребление и не должно увеличивать собственные расходы, потому что это ведет к дополнительному росту коэффициента потребление/инвестиции, тогда как есть только одно средство ускорить процесс корректировки – понизить величину этого коэффициента, чтобы как можно больше убыточных инвестиций вновь стали прибыльными и экономически обоснованными. У правительства есть только один способ помочь этому процессу – сократить собственный бюджет и тем самым увеличить долю инвестиций относительно потребления (поскольку правительственные расходы можно рассматривать как потребительские расходы бюрократов и политиков) в рамках всей экономики.

В соответствии с анализом депрессии и делового цикла, проведенным австрийскими теоретиками, получается, что правительство должно проводить политику ничегонеделания. Оно должно воздерживаться от всего, что может увеличивать количество денег в обращении, и при этом проводить политику строгого невмешательства – политику *laissez-faire*. Все остальное может только затруднить и оттянуть процесс корректировки рынков. Чем меньше государство будет вмешиваться, тем быстрее процесс корректировки дойдет до конца и начнется восстановление нормальной хозяйственной жизни.

Австрийские рекомендации диаметрально противоположны кейнсианским: государство должно держаться как можно дальше от экономики, сокращать собственный бюджет и воздерживаться от инфляционных мероприятий.

Итак, австрийский анализ цикла деловой активности гармонично сочетается с либертарианским подходом к правительству и свободной экономике. Поскольку государство всегда тяготеет к инфляционным мерам и вмешательству в экономику, либертарианцы подчеркивают необходимость абсолютного отделения монетарной политики и банковского дела от государства. Это предполагает ликвидацию Федеральной резервной системы и возврат к товарным деньгам (например, к золоту или серебру): денежная единица должна снова стать единицей веса производимого рынком товара, а не названием клочка бумаги, печатаемого действующими под крышей закона

фальшивомонетчиками.

10. Государственный сектор I. Правительство как предприниматель

Люди склонны действовать по шаблону, особенно в области управления государством. На рынке и в общественной жизни мы в целом привыкли к изменениям и быстро к ним приноравливаемся, быстро осваиваем все новые чудеса и достижения нашей цивилизации. Мы жадно овладеваем новыми товарами, новыми стилями жизни и новыми идеями. Но во всем, что касается управления государством, мы слепо следуем шаблонам столетней давности и готовы верить, что как оно есть, так и должно быть. В частности, правительство – Соединенных Штатов или любое другое – с незапамятных времен снабжало нас рядом важных и даже необходимых услуг, таких как защита (включая армию, полицию и суд), тушение пожаров, улицы и дороги, вода, канализация и вывоз мусора, почтовые услуги и т.д. В общественном сознании государство настолько полно отождествляется с предоставлением всех этих услуг, что нападки на правительственные субсидии *воспринимаются* многими как нападки на сами услуги. Так что если кто-нибудь утверждает, что государство не должно предоставлять услуги правосудия, потому что частная рыночная корпорация может делать это более эффективно и даже более нравственно, многим слышится в этом призыв к ликвидации суда как такового.

Либертарианцы, желающие заменить правительство частными предприятиями во всех этих областях, воспринимаются точно так же, как если бы они говорили об обувной промышленности в условиях, когда правительство с незапамятных времен является монопольным поставщиком обуви. Если бы только правительство являлось привычным и признанным поставщиком обуви, как отнеслась бы публика к либертарианцам, выступившим с предложением отстранить правительство от обувного бизнеса и предоставить это дело частным предпринимателям? Нет сомнений, что к ним отнеслись бы следующим образом: «Как можно? Вы против того, чтобы люди, причем бедные люди, носили обувь? *Кто* будет шить и продавать обувь, если запретить правительству этим заниматься? Расскажите-ка нам! Попробуйте быть конструктивными! Легко все отрицать и нагло критиковать правительство, но лучше скажите, *кто* обеспечит страну обувью? Какие такие люди? Сколько они смогут держать обувных магазинов в каждом городе, большом и малом? Откуда они возьмут начальный капитал? Сколько будет

фирм? Какие материалы они будут использовать? А колодки какие? А какие у них будут цены? Кто будет присматривать за обувщиками, чтобы они делали приличную обувь? А кто снабдит обувью бедняков? Вы ведь можете представить себе, что у бедного человека не будет денег на пару обуви?»

Эти вопросы, кажущиеся столь смехотворными, когда они относятся к производству обуви, представляются столь же абсурдными либертарианцам, которые предлагают передать свободному рынку ответственность за тушение пожаров, охрану порядка в городах, почтовое сообщение и все остальное, чем занимается государство. Однако дело в том, что сторонник передачи какой-либо функции государства рынку не в состоянии заранее представить себе конструктивную схему такого рынка. Сила и слава свободной торговли заключаются в том, что отдельные фирмы и предприятия, конкурируя между собой, создают постоянно изменяющуюся организацию производства эффективных и передовых товаров и услуг, при этом непрерывно совершенствуется как продукция, так и сами рынки, появляются новые технологии, снижаются издержки, а требования потребителей удовлетворяются со всей возможной быстротой и эффективностью. Экономист либертарианского направления готов предложить ряд соображений по поводу того, как могут развиваться рынки в тех сферах, которые до сих пор были монополией государства. Но, по сути дела, он в состоянии только указать путь к свободе, обратиться к правительству с призывом освободить простор для творческой энергии людей, которая достигает превосходных результатов в условиях свободного рынка. Когда речь идет о будущем рынке каких-либо услуг или товаров, никто не в состоянии предсказать, например, число фирм, их размер или политику ценообразования. Просто из экономической теории и исторического опыта нам известно, что свободный рынок сделает ту же работу во много раз лучше, чем располагающая монополистическими привилегиями правительственная бюрократия.

На вопрос о том, как именно малоимущие заплатят за оборону, тушение пожаров или почтовые услуги, можно ответить встречным вопросом: а как они платят за *все*, что получают с помощью рынка? Разница лишь в том, что, как известно, товары и услуги, которые может предложить частный рынок, куда дешевле, изобильнее и намного более качественнее, чем те, что предлагает сегодня наделенное монопольными привилегиями правительство. Выиграют все, и *особенно* бедные слои населения. И также известно, что бремя налогов, за счет которых финансируется вся деятельность правительства, будет снято с плеч каждого, в том

числе и с бедняков.

Выше мы убедились, что все общепризнанные гнетущие проблемы нашего общества связаны с деятельностью государства. Мы также поняли, что острые социальные конфликты в системе государственных школ исчезнут, лишь только каждой группе родителей позволят финансировать и поддерживать тот тип образования, который они хотели бы дать своим детям. Для деятельности правительства характерны неэффективность и напряженные конфликты. Если правительство, например, оказывает монопольные услуги (скажем, образование или водоснабжение), то любые его решения принудительно навязываются всем меньшинствам – идет ли речь об организации школьного обучения (выборе между сегрегированным или десегрегированным, религиозным или светским, традиционным или прогрессивным) или всего лишь о технологии очистки воды (например, фторировать ее или нет?). Следует понять, что такого рода острые конфликты исчезают сами собой, когда каждая группа потребителей имеет возможность приобретать подходящие ей товары или услуги. Нет смысла в спорах о том, какого типа газеты следует издавать, какие учреждать церкви, печатать книги или какие автомобили производить. Все поставляемое на рынок отражает разнообразие и интенсивность потребительского спроса.

Короче говоря, *потребитель на свободном рынке – это король*, и ему старается угодить любая фирма, желающая быть прибыльной и остаться в бизнесе. *Государство в своей деятельности руководствуется совсем иным подходом.* ***На всей правительственной деятельности лежит роковой отпечаток отсутствия связи между оказанием услуги и получением платы за нее.*** В отличие от частных фирм, государственные ведомства получают доход не от того, что предоставляют потребителям дешевые и качественные услуги. Нет, источником дохода всех ведомств являются налоги. Ведомства действуют неэффективно, а их издержки растут, потому что они могут не заботиться об убытках или банкротстве, потому что в случае нехватки средств они всегда могут потребовать добавки из казны. Более того, к потребителю здесь относятся безо всякого почтения или уважения, здесь он почти помеха, ведь на него приходится расходовать скудные *государственные* ресурсы. Для ведомств потребитель – это незваный гость, мешающий плавной работе бюрократического механизма.

Таким образом, когда увеличивается спрос на товары или услуги любого частного бизнеса, фирмы в восторге, они рады открывающимся возможностям и рьяно расширяют свою деятельность, чтобы быстро и без задержек выполнять новые

заказы. Правительство, напротив, подобную ситуацию встречает с раздражением и нередко даже требует от потребителей покупать меньше и легко мирится с возникновением дефицита и ухудшением качества услуг. Так, повышение спроса на принадлежащие государству городские улицы, сопровождающееся возникновением уличных пробок, вызывает только угрозы и проклятия в адрес автомобилистов. Администрация Нью-Йорка, например, постоянно угрожает запретить использование частных автомобилей в Манхеттене, где проблема пробок достигла особенной остроты. Только правительство, разумеется, может додуматься до такого обращения с потребителями, только правительство может позволить себе подобную наглость – запретить использование частных автомобилей (грузовиков, такси или чего угодно другого) для решения проблемы пробок. Если так подходить к делу, то идеальным решением проблемы пробок был бы полный запрет любого неправительственного транспорта!

Такого рода отношение к потребителю не ограничивается сферой дорожных проблем. В Нью-Йорке, например, периодически обостряется проблема нехватки воды. А ведь монопольным поставщиком воды являются городские власти. И вот, не умея ни увеличить поставки воды, ни установить такие цены на воду, чтобы обеспечить экономное ее использование (с чем любое частное предприятие справляется просто автоматически), нью-йоркская администрация винит в этой проблеме не себя, а потребителя, который использует слишком много воды. Что же делают городские власти? Они *запрещают* устанавливать оросители на газонах и требуют от горожан меньше пить и реже мыться. *Правительство взваливает собственные промахи на потребителя, выступающего в роли козла отпущения, и пытается запугать его, вместо того чтобы вести дело как следует.*

Точно также реагирует городское правительство на вечную проблему преступности. Вместо того чтобы наладить работу полиции, власти требуют от горожан не появляться в криминогенных районах. Так, после того как Центральный парк в Манхеттене стал знаменит грабежами и другими преступлениями, в администрации Нью-Йорка придумали своеобразное решение проблемы – ввели комендантский час, запретили появляться в парке в ночные часы. Короче говоря, *если* ***невинный*** *горожанин захочет прогуляться по Центральному парку ночью, он будет арестован за нарушение комендантского часа, что, разумеется, намного проще, чем разобраться с грабителями.*

В общем, если лозунг частного предприятия – «клиент всегда прав», то ***лозунг любых правительственных ведомств –***

«клиент всегда и во всем виноват».

У политических бюрократов, разумеется, есть стандартный ответ на растущие жалобы недовольных потребителей: «Налогоплательщики должны давать нам больше денег!» Им недостаточно того, что в XX веке государственный сектор и питающее его налогообложение росли намного быстрее, чем национальный доход. Им недостаточно того, что рост неэффективности государственного аппарата опережает даже множащиеся расходы государственного бюджета. Они хотят еще больше денег!

На все предложения повысить налоги есть хороший контраргумент: «А почему частные предприятия не сталкиваются с подобными проблемами?» Почему производители электроники, копировальных аппаратов, компьютеров – да чего угодно – без проблем находят капитал для расширения производства? Почему они не жалуются на инвесторов, отказывающих им в деньгах, необходимых, чтобы улучшить снабжение потребителей? Ответ в том, что потребители охотно платят за копировальные машины, компьютеры и прочее, а потому инвесторы не сомневаются, что, вложив деньги в расширение бизнеса, смогут хорошо заработать. На частном рынке фирмы, успешно обслуживающие публику, без труда находят капитал для расширения дела, а плохо работающим компаниям приходится сворачивать свой бизнес и уходить с рынка. А вот в государственном аппарате отсутствует механизм учета прибылей и убытков, который направлял бы инвестиции в хорошо работающие ведомства и вел бы к банкротству и ликвидации ведомств, ставших ненужными или просто неэффективно работающих. Прибыли и убытки не влияют на расширение или сокращение деятельности правительственных учреждений. В государственной сфере никто не инвестирует, а потому некому гарантировать, что успешная деятельность будет расширяться, а неуспешная – сокращаться и исчезать. Правительство добывает свой капитал с помощью *принудительного* налогообложения.

Многие люди, включая некоторых государственных деятелей, полагают, что эти проблемы удалось бы решить, если бы правительством управляли как бизнесом. И в некоторых областях правительство действительно создает монопольные корпорации, которые по замыслу должны действовать на бизнес-основе. Такое решение было принято, например, в случае Почтовой службы США и не вылезающего из кризисных проблем Управления городского транспорта Нью-Йорка[1]. Этим корпорациям предписано покончить с хроническим дефицитом бюджета и разрешено размещать облигации на рынке. Нужно признать, что

такой подход действительно избавляет от бремени массу налогоплательщиков, многие из которых не обращаются к услугам почты и общественного транспорта. Но правительственной деятельности свойственны внутренние пороки, от которых не спасет никакая игра в деловой подход. Прежде всего, ***правительственная услуга – это всегда полная или частичная монополия. А монополия – это всегда принуждение и насилие:*** частная конкуренция с Почтовой службой или Управлением городского транспорта практически запрещена. Монополия означает, что предоставляемая правительством услуга всегда будет более дорогой и менее качественной, чем если бы ее оказывал свободный рынок. Для получения прибыли частное предприятие всемерно сокращает свои расходы. Правительство не может обанкротиться, а потому не заботится о снижении расходов. Защищенное от конкуренции, оно всегда может прибегнуть к сокращению объема предоставляемых услуг или повышению тарифов на них. Вторым роковым пороком этого подхода является то, что правительственная корпорация может только имитировать бизнес, но не быть им, потому что источником ее капитала остается все тот же налогоплательщик. Здесь уже ничего не поделать, и тот факт, что государственная корпорация может разместить свои облигации на рынке, основан, в конечном итоге, на том, что в случае чего они все равно будут погашены за счет налогов.

В этом есть еще одна критически важная проблема. Частные фирмы служат образцом эффективности только потому, что рынок устанавливает цены, позволяющие им *считать*, вести учет издержек и знать, что нужно делать, чтобы избежать убытков и получить прибыль. Благодаря системе цен и правильной мотивации рынок обеспечивает производство того многообразия товаров и услуг, которое характерно для современной индустриальной капиталистической экономики. Это чудо оказывается возможным благодаря экономическому расчету. А вот централизованное государственное планирование, применяемое при социализме, не может опираться на разумный механизм ценообразования, а потому *лишено* возможности рассчитывать цены и издержки. В этом главная причина провала социалистического планирования. Именно в этом, в конечном итоге, заключается причина возвращения стран Восточной Европы к рыночной экономике.

Поскольку централизованное планирование обрекает экономику на хаос и неоправданные производственные решения, государственная деятельность, ведущая к расширению *островков*

социалистического хаоса в рыночной экономике, становится источником все больших помех для рационального ведения хозяйства. По мере расширения правительственной деятельности хаос в расчетах оказывается все более разрушительным и все сильнее подрывает эффективность экономики.

В этом вопросе либертарианская программа может быть выражена одной фразой: ***ликвидация государственного сектора, приватизация всех правительственных служб и всемерное расширение сферы добровольной экономики, основанной на частном предпринимательстве.***

Теперь пора перейти от общих положений к конкретному рассмотрению основных сфер государственной деятельности и того, как они могут быть реализованы рынком.

11. Государственный сектор II. Улицы и дороги

Охрана улиц

Ликвидация государственного сектора означает, что *все* участки земли, включая улицы и дороги, будут переданы в частную собственность, станут достоянием частных лиц, корпораций, кооперативов или любых других добровольных объединений. Уже тот факт, что все улицы и земли станут частными, станет решением многих кажущихся неразрешимыми проблем. Стоит только переориентировать наше мышление, и перед нами откроется мир, в котором все земельные участки являются частным достоянием.

Возьмем, например, полицию. Как будет организована охрана порядка в тотально частной экономике? Ответ станет *отчасти* ясен, если рассмотреть мир, в котором вся земля, улицы и дороги находятся в частной собственности. Возьмите нью-йоркскую Таймс-сквер, печально известную тем, что городские власти никак не могут сделать ее безопасной для горожан. Каждый житель Нью-Йорка знает, что его город находится во власти анархии, что его повседневная безопасность зависит исключительно от миролюбия и доброжелательства других горожан. Роль полиции в поддержании порядка в Нью-Йорке минимальна, и это замечательно проявилось недавно во время недельной забастовки полицейских, когда – оцените факт! – преступность в городе оказалась ровно такой же, как в обычное время, когда полицейские, по общему мнению, находятся в полной боевой готовности. Как бы то ни было, представим себе, что Таймс-сквер, включая прилегающие улицы, стала частной и принадлежит некоему союзу местных коммерсантов. Естественно, они прекрасно понимают, что, если не сумеют обуздать преступность, если грабежи и воровство сохранятся, клиенты перетекут в другие, лучше охраняемые пространства. Они будут заинтересованы в надежной охране порядка, чтобы покупатели тянулись к ним, а не к конкурентам. В конце концов, частный бизнес всегда заботится о привлечении и удержании клиентов. Что пользы украшать витрины и прилавки, заботиться об освещении и вышколенности продавцов, если твоих клиентов могут ограбить или избить у входа в магазин?

Более того, торговцы, побуждаемые стремлением к прибыли,

позаботятся о том, чтобы охрана порядка осуществлялась не только эффективно, но также вежливо и цивилизованно. Муниципальная полиция мало того, что не заботится об эффективности или потребностях своих клиентов, она склонна проявлять свою власть грубым и насильственным образом. Жестокость полиции – хорошо известная особенность системы, которую удается держать под контролем только благодаря жалобам обиженных граждан. Но если и частная полиция попробует обращаться с людьми, т.е. с клиентами своих нанимателей, подобным же образом, эти клиенты быстро перестанут появляться в районе Таймс-сквер. Так что здесь будет кому присмотреть за тем, чтобы полицейские вели себя образцово и эффективно.

Такого рода эффективная и качественная охрана порядка будет преобладать повсюду, на всех частных улицах и земельных участках. Заводы будут охранять свою и окрестную территорию, торговцы – свои улицы, а дорожные компании обеспечат поддержание порядка на своих платных дорогах. Также будет обстоять дело и в жилых районах. Можно предположить, что там будут преобладать две формы частной собственности на улицы. В одном случае все землевладельцы могут стать совместными владельцами квартала, скажем, что-то вроде Компании квартала на 85-й улице. Эта компания и будет заниматься охраной порядка, а ее расходы будут оплачивать домовладельцы, в том числе из платы за жилье, если в районе окажется наемное жилье. Домовладельцы, естественно, будут прямо заинтересованы в том, чтобы в окрестностях поддерживался порядок, а землевладельцы сумеют оценить тот факт, что безопасность на улицах не менее важна для жильцов, чем отопление, вода и канализация. Спрашивать о том, *почему* землевладельцы в либертарианском мире абсолютной частной собственности позаботятся о безопасности улиц, так же глупо, как задаваться в наши дни вопросом о том, почему они обеспечивают арендаторов теплом или горячей водой. Делать это их заставит давление конкуренции и требование потребителей. Более того, идет ли речь о домовладельцах или об арендаторах жилья, стоимость земли и домов будет *в любом случае* зависеть от безопасности улиц, а также от других особенностей дома и его окрестностей. Спокойные и хорошо защищенные улицы будут точно так же повышать ценность земли и домов, как и ухоженность самих зданий, а уличная преступность будет снижать ценность земли и недвижимости точно так же, как и обшарпанность самих домов. Ради повышения ценности своей собственности землевладельцы, уж конечно, позаботятся о том, чтобы улицы были чистыми,

ровными и безопасными.

Другой вид частной собственности на улицы в жилых районах – это частные уличные компании, которые владеют только улицами, но не жилыми домами и строениями. Эти компании будут брать плату с землевладельцев за услуги по поддержанию чистоты, ремонту и охране порядка на улицах. Если улица хорошо освещена, подметена и свободна от криминала и хулиганства, землевладельцы и съемщики жилья потянутся туда. В противоположном случае они будут вынуждены искать другие места. Обилие жильцов и автомобилей поднимет прибыли и капитализацию уличных компаний, а в опасных и неухоженных районах их доходы будут падать. Поэтому владельцы улиц постараются сделать все возможное, чтобы на улицах, находящихся в их собственности, было хорошо, удобно и безопасно, и они будут это делать из желания получать прибыль и повышать стоимость своих компаний и, соответственно, не допустить убытков и обесценивания капитала. Намного лучше довериться здоровому экономическому эгоизму землевладельцев и уличных компаний, чем зависеть от сомнительного альтруизма бюрократов и правительственных чиновников.

Здесь кто-нибудь может задать вопрос: хорошо, пусть улицы принадлежат неким компаниям, которые, естественно, в целом готовы обслуживать клиентов со всем радушием и эффективностью, но что если какой-нибудь ненормальный или самовластный хозяин улицы вдруг решит закрыть доступ на нее кому-либо из соседних домовладельцев? Как они смогут выходить из своего дома или попадать в него? Смогут ли им навсегда перекрыть доступ к улице или, например, содрать за это непомерную плату? Ответ здесь такой же, как и на аналогичную проблему землевладельца: представьте себе, что некто, владеющий домами, которые окружают чью-то недвижимость, внезапно решил запретить ему проход по своей земле. Но эта ситуация не безвыходна. Просто в либертарианском обществе всякий покупатель дома или услуг уличной компании должен будет позаботиться о том, чтобы в контракте на покупку или аренду был оговорен доступ к улице на некий определенный срок или бессрочно. Если заранее зафиксировать в контракте свое право прохода, никаких внезапных запретов не будет, иначе это будет нарушением прав собственности землевладельца или арендатора.

В этом наброске либертарианского общества нет, конечно, ничего нового или неожиданного. Мы уже знакомы с тем, как высвобождается энергия благодаря конкуренции между транспортными системами и территориями. Например, когда в

XIX веке было построено много частных железных дорог, эти дороги и конкуренция между ними создали поразительный импульс для развития прилегающих территорий. Каждая железная дорога, желая повысить прибыли, стоимость земли и вложенного капитала делала все возможное, чтобы привлечь иммигрантов и обеспечить экономическое развитие на сопредельных территориях. И это вызвало активный отклик, люди снимались с места и переселялись в города, порты и на земли, обслуживаемые конкурировавшими железными дорогами. Та же модель могла бы сработать, если бы все улицы и дороги стали частными. Мы уже знакомы с тем, как частные торговцы и их союзы поддерживают порядок на своей территории. Магазины, банки и заводы держат охранников и сторожей. В либертарианском обществе эта разумная и действенная система будет распространена и на пространство *улиц*. Вряд ли является случайным совпадением то, что в магазинах намного реже происходят грабежи и нападения, чем на улицах перед ними: ведь в торговых залах работают бдительные частные охранники, а на улицах, под защитой муниципальной полиции, царит анархия. В последние годы в некоторых кварталах Нью-Йорка в ответ на ужасающий рост преступности уже появились частные охранники, которых нанимают землевладельцы и домовладельцы, имеющие собственность в этом квартале. Эффективность этой меры ограничена, потому что улицы принадлежат городу, а следовательно, у жителей отсутствует действенный механизм, который позволил бы собрать средства для организации по-настоящему надежной охраны. Более того, эти частные охранники не имеют права носить оружие, ведь улица не является собственностью их нанимателя, и они, в отличие от тех, кто охраняет магазины и другие объекты собственности, не имеют права принимать меры по отношению к человеку, который ведет себя подозрительно, хотя ничего преступного еще не совершил. Короче говоря, у их работодателей нет тех административных и финансовых возможностей, которыми обладает собственник территории.

Более того, полиция, оплачиваемая землевладельцами и жителями квартала или улицы, не только положит конец жестокости государственной полиции, но и покончит с той сложившейся тенденцией, когда во многих местах стражей порядка воспринимают как иноземных захватчиков и колонизаторов, цель которых не служить людям, а притеснять их. Например, сегодня в Америке наряды муниципальной полиции патрулируют негритянские районы многих городов, и это притом, что негры враждебно относятся к городским властям. Полиция,

контролируемая и оплачиваемая жителями и землевладельцами района, будет восприниматься совершенно иначе – не как чуждая и опасная сила, а как служба, дружественно расположенная к жителям.

О достоинствах частной и муниципальной полиции можно судить по опыту одного квартала в Гарлеме. На 135-й улице между Седьмой и Восьмой авеню есть отделение полиции, входящее в 82-й полицейский участок нью-йоркской полиции. Августейшее присутствие отделения полиции никак не мешало разгулу ночных грабежей в этом квартале. Зимой 1966 года терпение людей кончилось, и пятнадцать владельцев магазинов наняли охрану для патрулирования квартала по ночам. Охранников им поставляло частное агентство LeroyV. George[1].

Самой организованной и успешной частной полицией в американской истории была железнодорожная полиция, которую содержали многие железные дороги для охраны пассажиров и груза от воровства и вандализма. В своем современном виде она была создана в конце Первой мировой войны Ассоциацией американских железных дорог (American Railway Association) и работала настолько хорошо, что к 1929 году штрафы, налагаемые на железнодорожные компании за утрату и порчу грузов и багажа, сократились на 93%. В начале 1930-х годов железнодорожная полиция задерживала за год до 10 000 правонарушителей, и качество ее работы было настолько высоким, что суды признавали виновность до 97% задержанных (намного больше, чем в случае любой муниципальной полиции). Служащие железнодорожной полиции были вооружены, имели право задерживать правонарушителей и пользовались хорошей репутацией[2].

Правила поведения на улицах

Одним из непременных последствий того, что вся земля в стране перейдет в частную собственность, будет большее разнообразие правил жизни. Характер действий частной полиции, устанавливаемые ею правила поведения будут зависеть от пожеланий землевладельцев или владельцев улицы. Так, в неспокойных жилых районах полиция будет ограничивать право прохода и проезда – проникнуть на территорию можно будет только при наличии предварительной договоренности или подтверждающем звонке на ворота одного из жителей. Короче говоря, это будут те же самые правила, что действуют сегодня в частных многоквартирных домах или поместьях. Там, где

обстановка более спокойная, вход будет открыт для всех, а промежуточных уровней бдительности и контроля может быть сколько угодно. В торговых районах, вероятнее всего, доступ будет открыт для каждого – нельзя отпугивать клиентов. В общем, будет полная свобода для проявления желаний и предпочтений жителей и собственников.

На это могут возразить, что возникают условия для дискриминации в отношении тех, кто хотел бы арендовать жилье или воспользоваться улицей. Это, бесспорно, так. Либертарианец исходит из абсолютного права каждого человека выбирать, кому предоставить право находиться на его территории, а кому отказать.

Дискриминация, т.е. право проявлять свои симпатии и антипатии, – это неотъемлемая часть свободы выбора и, соответственно, свободного общества. Но в условиях свободного рынка дискриминация сопряжена с немалыми издержками, которые, несомненно, лягут на владельца недвижимости.

Представьте себе, например, землевладельца, которому принадлежит дом или целый квартал. Он *может* просто устанавливать арендную плату на рыночном уровне и не ломать голову над составом жильцов. Но при этом возникают всякого рода опасности. Он может решить, например, не сдавать жилья семьям с маленькими детьми, потому что дети всегда могут что-то сломать и испортить. Либо он может решить, что с таких семей будет брать дороже, чтобы возместить себе риск возможных убытков, так что на свободном рынке арендная плата для таких семей будет повышенной. В большинстве случаев на рынке так и происходит. А как быть с дискриминацией, за которой стоят не экономические, а личные предпочтения землевладельца? Можно представить себе землевладельца, который без ума от американцев шведского происхождения ростом не ниже шести футов, и хочет сдавать жилье только таким семьям. В свободном обществе он имеет полное право на это. Но и все издержки лягут только на него. Ведь это означает, что ему придется отказывать всем нанимателям, если они не являются рослыми потомками шведов. Пример может показаться диковатым, но что-то в этом роде неизбежно, когда кто-нибудь на рынке решает руководствоваться личными вкусами. Если, например, землевладелец не любит рыжих и намерен не пускать их в дом, ему придется терпеть убытки, хоть и не такие значительные, как в первом примере.

В любом случае на свободном рынке за подобного рода вкусовщину человеку придется платить отказом от прибыли или услуг (если он выступает в роли потребителя). Если потребитель

решает бойкотировать товары продавцов, которые ему почему-либо несимпатичны, то время от времени ему придется отказываться от каких-то товаров и услуг.

В свободном обществе все владельцы недвижимости будут устанавливать правила ее использования или доступа на свою территорию. Чем жестче правила, тем у́же круг людей, получающих доступ, так что каждому придется выбирать между преимуществами более жесткого контроля и перспективой лишиться дохода. Например, землевладелец может потребовать, как это делал Джордж Пульман, изобретатель одноименного вагона, в своем частном городе в Иллинойсе в конце XIX века, чтобы все горожане всегда и везде появлялись только в пиджаках и галстуках. Право такое есть, вот только сомнительно, чтобы многим захотелось жить в доме или квартале, где действуют подобные правила, так что землевладельцу подобная прихоть может обойтись недешево.

Принцип, согласно которому владелец управляет своей собственностью, помогает опровергнуть обычный довод в пользу государственного вмешательства в экономику. Довод этот примерно таков: «В конце концов государство устанавливает правила дорожного движения – красный и зеленый свет, правостороннее движение, верхний предел скорости. Каждый понимает, что если бы не эти правила, на дорогах установился бы хаос. Так почему государство не должно устанавливать порядок и в экономике?» Никто ведь и не говорит, что не нужны единые правила дорожного движения, конечно, они нужны. И государство устанавливало эти правила, потому что именно ему принадлежали улицы и дороги и оно отвечало за порядок на них. А вот в либертарианском обществе правила пользования своими дорогами будут устанавливать *частные* собственники.

Но не получится ли так, что в идеально свободном обществе на дорогах воцарится хаос? Что если на одних улицах знак «стоп» будет обозначаться красным сигналом, а на других зеленым или голубым? Если на одних улицах будет левостороннее движение, а на других – правостороннее? Абсурдные опасения. Очевидно ведь, что все собственники дорог будут заинтересованы в единообразии правил, чтобы по дорогам можно было двигаться беспрепятственно. Если кто-то вздумает ввести на своей улице левостороннее движение или зеленый сигнал в качества сигнала остановки, количество аварий быстро станет таким, что его улицей никто не захочет пользоваться. В XIX веке в Америке частные железные дороги столкнулись с подобными проблемами, но разрешили их быстро и к взаимной выгоде, договорившись о стандартизации ширины путей, устройства стрелок и даже о

единой классификации грузов по шести тысячам позиций. Более того, не правительство, а железные дороги упорядочили ситуацию с часовыми поясами на всей территории страны. Чтобы иметь возможность двигаться по расписанию, железным дорогам пришлось выработать единый подход, и в 1883 году они договорились заменить существовавшие в стране 54 часовых пояса теми четырьмя, которые действуют и по сей день. Нью-йоркская финансовая газета Commercial and Financial Chronicle написала, что «законы торговли и инстинкт самосохранения стимулировали реформы, которые не могли провести никакие законодательные органы»[3].

Плата за пользование улицами и дорогами

Если проанализировать и оценить деятельность правительства по строительству и содержанию улиц и дорог, станет понятно, что никакая частная собственность не могла бы привести к более неэффективным и иррациональным результатам. Сегодня общепризнано, например, что правительства на федеральном уровне и на уровне штатов, подталкиваемые лоббистами автомобильных и нефтяных компаний, производителей шин, строительными подрядчиками и профсоюзами, вложило чрезмерные средства в строительство дорог. Автомобильные дороги, в огромных масштабах субсидирующие пользователей, сыграли главную роль в удушении железнодорожных перевозок. Для грузовиков, например, построены и содержатся за счет налогоплательщиков выделенные полосы, а вот железнодорожным компаниям приходится самим строить и содержать пути. Более того, субсидируемые программы строительства дорог привели к чрезмерному разрастанию завязанных на автомобильный транспорт пригородов, к принудительному сносу бессчетного числа городских домов и искажению облика городских центров. Цена для налогоплательщиков и экономики была огромной.

Особенно большие субсидии достались жителям пригородов, регулярно приезжающим на автомобиле в город, и это стало важнейшим фактором обострения транспортных проблем в городах. По оценке профессора Уильяма Викрея из Колумбийского университета, расходы на строительство городских скоростных автострад составили от 6 до 27 центов на автомобиле-милю, тогда как водители через налоги на бензин и другие налоги на владение автотранспортом платят лишь около 1 цента на автомобиле-милю. За поддержание в порядке городских

улиц платит налогоплательщик, а не водитель. Более того, налог на бензин платится с мили пути независимо от того, какие именно улицы или дороги были использованы водителем, а также независимо от времени суток, когда совершается поездка. Поэтому когда автотрассы финансируются из общего налога на топливо, пользователи дешевых сельских шоссе своими деньгами субсидируют тех, кто ездит по намного более дорогим городским автотрассам. Строительство и содержание сельских дорог обычно обходится всего в 2 цента за автомобиле-милю[4].

Кроме того, налог на бензин вряд ли является подходящей системой ценообразования на использование дорог, и вряд ли частная фирма предложила бы когда-либо подобный подход к установлению цен на использование дорог. Частный бизнес назначает цены на свои товары и услуги таким образом, чтобы обеспечить расчистку рынка – чтобы спрос и предложение были равны и не возникало бы ни дефицита товаров, ни нереализованных запасов. Тот факт, что налог на бензин уплачивается с мили пути и никак не связан с используемыми дорогами, означает, что самые популярные городские дороги и автострады страдают от ситуации, когда взимаемая цена намного ниже рыночной. Результатом являются чудовищные пробки на некоторых улицах и дорогах, особенно в часы пик, и практически не используемая сеть дорог в сельских районах. Рациональная система ценообразования одновременно обеспечивала бы максимизацию прибыли для владельцев дорог и избавляла бы нас от дорожных пробок. Сегодня, когда правительство поддерживает цены на самые перегруженные трассы на крайне низком уровне, намного уступающем рыночному, результатом оказывается хронический дефицит дорожного пространства и регулярные пробки. Пытаясь решить эту проблему, правительство неизменно игнорировало возможность более рационального ценообразования, а занималось только строительством дополнительных дорог, за которые платят опять-таки налогоплательщики, а не водители, и ситуация на дорогах становилась еще хуже. Активно наращивая предложение и сохраняя заниженные цены, правительство вызвало ухудшение ситуации на дорогах5.Все это похоже на гонку собаки за механическим зайцем. Вот что написала Washington Post о последствиях федеральной программы строительства автомагистралей в столице страны:

Окружная дорога вокруг Вашингтона была первым важным звеном в новой сети дорог. Когда летом 1964 года она была целиком введена в эксплуатацию, все говорили, что это одна из лучших магистралей в мире.

Предполагалось, что она а) разгрузит от транспорта центр Вашингтона, поскольку по ней пойдет сквозной поток машин с севера на юг, и б) свяжет между собой пригородные округа и окружающие столицу города.

В действительности окружная стала а) излюбленной дорогой для тех, кто регулярно ездит в Вашингтон из пригородов, и б) причиной грандиозного строительного бума, ускорившего исход белых и состоятельных жителей из центра города.

Окружная дорога не избавила столицу от пробок, а лишь усугубила транспортную ситуацию. Вместе с дорогами I-95, 70-S и I-66 она позволила любителям загородной жизни отселяться в сельскую глубинку, все дальше и дальше от своих рабочих мест в городе.

Ее строительство привело еще и к тому, что правительственные ведомства, торговля и услуги также переселились из города в пригороды, а созданные там рабочие места сделались недоступными для многих обитателей города[6].

Как могла бы выглядеть рациональная система ценообразования, система, созданная частными владельцами дорог? Прежде всего автотрассы стали бы платными, особенно на въезде в города, на подъезде к мостам и тоннелям, но цены устанавливались бы иначе, чем сейчас. Например, плата за проезд была бы намного выше в часы пик (в том числе летом по выходным),чем в другое время суток. На свободном рынке плата за проезд в час пик повышалась бы до тех пор, пока не исчезли бы пробки и движение не стало бы более или менее равномерным. Но, воскликнет читатель, людям ведь нужно добираться до работы? Разумеется, но при этом не обязательно ехать в личном автомобиле. Кто-то предпочтет бросить все и переселиться назад в город, другие будут договариваться о совместных поездках, а третьи пересядут на автобусы и электрички. В результате в часы пик на дорогах останутся только те, кто готов платить за это удовольствие по рыночной цене. Некоторые сумеют устроиться так, чтобы у них начало и конец рабочего дня не приходились на часы пик. По выходным также начнут ездить меньше или будут выбирать более дешевые часы для поездок. Наконец, высокая прибыль от тоннелей и мостов подтолкнет частные фирмы к строительству новых сооружений. Дорожное строительство будет вестись не под натиском лоббистов, а в соответствии с логикой калькуляции спроса и издержек.

Многие способны представить себе жизнь, когда все автострады станут частными, но становятся в тупик при мысли о частных городских улицах. Здесь-то как назначать цену? Устраивать заставы при въезде в каждый квартал? Конечно же

нет, потому что такая система будет неэкономной и неудобной, как для владельцев, так и для водителей. Прежде всего собственники улиц установят более рациональную плату за *парковку*. За стояночное место на перегруженных улицах центра города будут брать очень дорого – цена пропорциональна спросу. И в отличие от сложившейся практики, они будут брать *намного* больше с тех, кто паркует машину на целый день. Иными словами, собственники улиц попытаются добиться того, чтобы в районах скопления транспорта машины на парковках сменялись как можно чаще. Ладно, с парковками мы разобрались, здесь все несложно. А как насчет *проезда* по забитым городским улицам? Здесь как взимать плату? Есть разные способы. Прежде всего, владельцы улиц в центре города могут потребовать, чтобы каждый проезжающий покупал разрешение, которое можно крепить на ветровом стекле машины. Кроме того, они могут потребовать от тех, кто ездит по городу в часы пик, покупать дополнительную и очень дорогую лицензию, которую также можно вывешивать на лобовом стекле. Есть и другие методы. При современных технологиях можно потребовать, чтобы в каждом автомобиле был счетчик километража, отсчитывающий расстояние в часы пик и на загруженных транспортом улицах в ускоренном темпе. Тогда водитель в конце каждого месяца будет получать счет. Похожий план был лет десять назад предложен профессором А. А. Уолтерсом:

Помимо всего прочего, можно использовать… специальные счетчики километража (вроде тех, что на такси)… Они будут срабатывать при поднятии особого флажка, и плата будет взиматься за это расстояние. Такие счетчики могут найти применение в больших городах – Нью-Йорке, Лондоне, Чикаго. Для каждого времени суток можно установить, по каким улицам следует ездить с включенным счетчиком. Машинам, не оборудованным счетчиками, придется для проезда по этим улицам покупать дневной билет. За проезд по билету следует брать больше, чем получается по счетчику, потому что это разовые, нерегулярные поездки. Контроль же организовать совсем просто. Нужно поставить телекамеры, которые будут фиксировать машины без билетов или с неподнятым флагом, а нарушителям будет высылаться квитанция о штрафе[7].

Профессор Викрей также предложил разместить телекамеры на пересечении самых перегруженных транспортом улиц, чтобы фиксировать номера всех проезжающих машин и потом посылать каждому счет в соответствии с тем временем, когда машина проехала перекресток. Либо, полагает он, можно оборудовать каждую машину электронным маркером, который подавал бы

сигнал, считываемый приемным устройством, размещенным на данном перекрестке[8].

В любом случае частные предприятия и современные технологии могут легко справиться с проблемой рационального ценообразования на право пользования улицами и дорогами. На рынке бизнесмены легко решают куда более трудные проблемы – нужно предоставить им свободу действий, только и всего.

Если ликвидировать все субсидии, государственные требования и запреты и передать все, что относится к транспортной инфраструктуре – все дороги, авиалинии, железные дороги и водные маршруты – в частные руки, какими окажутся предпочтения потребителей? Вернемся ли мы, например, к железным дорогам? По имеющимся оценкам спроса и транспортных издержек, железные дороги станут главным средством дальних грузовых перевозок, авиатранспорт займет ведущее место в дальних пассажирских перевозках, грузовой автотранспорт – в перевозках на короткие расстояния, а автобусы – в маятниковых перевозках из спальных пригородов в города. Итак, железные дороги могут стать основным средством транспорта для дальних грузовых перевозкок, но вернуть прежнее положение в пассажирских перевозках им не удастся. В последние годы многие либералы, разочаровавшиеся в программах строительства автомагистралей, призывали вкладывать казенные средства в массовое строительство метро и железных дорог для маятниковых перевозок. Но эти грандиозные планы игнорируют огромные расходы и неизбежные потери. Можно согласиться с тем, что многих автотрасс не следовало строить, но они уже построены, и было бы глупо их не использовать. В последние годы некоторые здравомыслящие экономисты выступили против дорогостоящих проектов строительства новых скоростных железных дорог (вроде той, что существует в районе залива Сан-Франциско) и призвали к использованию существующих автотрасс, по которым можно пустить автобусные экспрессы для жителей пригородов[9].

Нетрудно представить себе сеть частных железных дорог и авиалиний, не получающих государственных дотаций и свободных от регулирования, но возможна ли система исключительно частных автомобильных дорог? Реализуема ли подобная модель? В ответ можно сказать лишь то, что частные дороги прекрасно зарекомендовали себя в прошлом. Например, до XVIII века в Англии дороги, неизменно принадлежавшие местным властям, были в отвратительном состоянии. При таком состоянии дорог Промышленная революция XVIII столетия оказалась бы просто невозможной, а ведь именно с нее началась

новая эпоха. Жизненно важную задачу приведения в порядок почти непроезжих английских дорог выполнили частные дорожные компании; они, начиная с 1706 года, создали сеть превосходных дорог, которым завидовала в то время вся Европа. Обычно владельцами этих компаний были местные землевладельцы, торговцы и промышленники, а свои расходы на строительство и содержание дорог они возмещали за счет платы за проезд, которую собирали на контрольных постах. Обычной практикой была сдача в аренду права собирать дорожную плату, и потенциальные арендаторы сражались за это право на аукционах. Именно благодаря этим частным дорогам в Англии развился внутренний рынок, удалось резко понизить расходы на транспортировку угля и других массовых грузов. А поскольку дорожные компании заботились о выгоде, они легко договорились объединить свои дороги в единую сеть, которая со временем охватила всю страну. И все эти достижения были результатом частного предпринимательства[10].

В Соединенных Штатах все происходило точно так же, как в Англии, только со сдвигом во времени. Столкнувшись с почти полной непригодностью дорог, устроенных местными властями, частные компании за первые три десятилетия XIX века построили в северо-восточных штатах огромную сеть превосходных дорог. Расходы они возмещали за счет платы, взимавшейся с проезжающих. Строительство финансировалось торговцами и землевладельцами, недвижимость которых была расположена вдоль дорог, и они добровольно связали все дороги в единую сеть. Эти платные дороги были первыми действительно хорошими дорогами на территории Соединенных Штатов[11].

12. Государственный сектор III. Полиция, закон и суды

Под защитой полиции

Рынок и частные предприятия существуют, а потому большинству людей нетрудно представить, как свободный рынок может обеспечить поставку большинства товаров и услуг. Сложнее всего, пожалуй, вообразить устранение государства из сферы защиты правопорядка, где полиция, суды и прочие государственные институты занимаются защитой неприкосновенности личности и собственности. Каким образом частное предпринимательство и свободный рынок могут взять на себя предоставление *этих* услуг? Каким образом свободный рынок может взять на себя надзор за соблюдением законности, изоляцией преступников и т.д.? Мы уже выяснили, что значительную часть хлопот по обеспечению порядка могут взять на себя владельцы улиц и земельных участков. Но теперь пора систематически исследовать всю сферу охраны правопорядка.

Прежде всего, даже самые ярые сторонники системы *laissez-faire* ошибочно полагают, что защиту правопорядка должно обеспечивать государство, как если бы эта самая защита представляла собой некое нерасчленимое единство, определенным количеством которого должны быть обеспечены все и каждый. Но в действительности нет такого товара, как защита правопорядка, точно так же как нет на свете «просто» еды или «просто» крыши над головой. Все мы платим налоги на содержание правоохранительных органов, но равная степень защищенности – это миф. В действительности существует бесконечное разнообразие степеней защиты. Каждому человеку или предприятию полиция может предоставить все что угодно – от полицейского, который за время ночного дежурства единожды обходит свой участок, до наряда полиции, который постоянно присутствует в вашем квартале, от патрульных автомобилей до личных круглосуточных телохранителей. Более того, полиция должна принимать множество других решений, сложность которых становится очевидной, как только мы отбрасываем миф об абсолютной защите. Каким образом полиция должна распределять свои средства и ресурсы, ограниченные не в меньшей мере, чем средства и ресурсы всех прочих людей и организаций? Сколько именно должна полиция вкладывать в

разработку и закупку электронного оборудования? А в оборудование для работы с отпечатками пальцев? Сколько нужно патрульных машин и пеших нарядов? Сколько следователей и сколько полицейских в форме?

Дело в том, что у государства нет рационального метода принятия подобных решений. Оно знает только то, что его бюджет ограничен. А потому фонды распределяются в соответствии с результатами политической борьбы, степенью бюрократической неэффективности и никчемности работников. Никто никогда не ставит вопроса о том, делает ли полиция то, что нужно гражданам, и насколько эффективно она это делает. Ситуация была бы совершенно иной, если бы полицейские функции взял на себя свободный конкурентный рынок. В этом случае потребители оплачивали бы именно тот уровень защиты, который им кажется необходимым. Потребители, которым достаточно время от времени видеть полицейского на улице, платили бы меньше тех, которые нуждаются в регулярном патрулировании, и намного меньше тех, кто желает иметь круглосуточную охрану. На свободном рынке защита предоставлялась бы в точном соответствии с тем, что хотят и могут заплатить за нее потребители. Тем самым было бы гарантировано обычное для рынка стремление к эффективности – нужно обеспечивать прибыль и избегать убытков, нужно сдерживать расходы и при этом удовлетворять запросы клиентов. Любая полицейская фирма, работающая неэффективно, быстро дошла бы до банкротства и исчезла бы с рынка.

Государственная полиция обречена на постоянное решение следующего вопроса: какие законы *на самом деле* проводить в жизнь? Чисто теоретически полиция обязана проводить в жизнь все законы, но на практике ограниченность ресурсов вынуждает их направлять силы и средства на борьбу с самыми опасными преступлениями. При этом теоретическая обязанность бороться с нарушениями всех законов сохраняется и препятствует рациональному распределению ресурсов. На свободном рынке полиция будет бороться с преступлениями, круг которых очерчен запросами клиентов. Представьте себе, например, некоего мистера Джонса, который опасается, что вскоре у него украдут редкий драгоценный камень. Он может заплатить за круглосуточную охрану своего сокровища силами любого числа частных полицейских. Однако он же может быть владельцем частной дороги в своем поместье и хотеть, чтобы ею пользовались пореже, но не будет особенно огорчаться из-за нарушителей его права частной собственности. В этом случае он не станет платить полиции за охрану этой дороги. Как и на любом рынке, все

решает клиент, а поскольку все мы окажемся в положении клиентов, каждый и будет решать сам за себя, какая защита ему нужна и сколько он готов за нее платить.

К частной полиции в целом применимо все, что было сказано об охране недвижимости. На свободном рынке полиция будет не только эффективна, но еще и заинтересована в том, чтобы воздерживаться от любой грубости и насилия в отношении потребителей, их друзей и клиентов. Частной фирмой Центральный парк охранялся бы наилучшим образом с той целью, чтобы он мог приносить максимальные доходы своему владельцу и никому бы в голову не пришло устанавливать комендантский час для законопослушных и оплачивающих услуги полиции клиентов. Свободный рынок охранных услуг вознаграждал бы предприятия, работающие эффективно и вежливо, и жестко наказывал бы все отступления от этого образца. При этом исчезло бы характерное для всех государственных ведомств противоречие между предоставлением услуг и получением оплаты, противоречия, которое в случае полиции означает, что она получает за свои услуги не добровольные платежи клиентов, а принудительно собираемые налоги.

Собственно говоря, по мере того как государственная полиция утрачивала бы эффективность, клиенты вынуждены были обращаться к частным мерам защиты. Мы уже упоминали о частной охране кварталов и даже отдельных зданий. Существуют также частные охранные агентства, страховые компании, частные детективы, а также всевозможное оборудование, вроде сейфов или охранной сигнализации. По оценке президентской комиссии по положению дел в сфере охраны правопорядка, в 1969 году правительство истратило на содержание полиции 2,8 млрд долларов, и при этом американцы в частном порядке заплатили за охранные услуги 1,35 млрд и еще 200 млн за соответствующее оборудование, так что частные расходы составили более половины государственных расходов на полицию. Эти цифры должны заставить задуматься тех доверчивых людей, которые простодушно верят, что государственная полиция каким-то образом незаменима и является необходимой принадлежностью государственного суверенитета[1].

Каждому читателю криминальных романов известно, что детективы страховых компаний ищут украденную собственность намного лучше, чем полицейские сыщики. Мало того, что страховые компании материально заинтересованы в том, чтобы избежать выплаты страховой суммы. Их интерес лежит в иной плоскости, чем у правоохранительных органов. Полиция, стоящая на охране мифических интересов общества, нацелена на то, чтобы

поймать и наказать преступника, а судьба украденного при этом оказывается на последнем месте. А вот страховые компании и их детективы, напротив, думают прежде всего о возвращении похищенного, а поимка и наказание правонарушителей интересуют их во вторую очередь. Здесь перед нами опять все то же различие между частной фирмой, которая обязана служить клиенту, пострадавшему от преступления, и государственной полицией, которая вполне свободна от такого рода соображений.

Невозможно дать точное описание рынка, существующего только в проектах и гипотезах, но есть основания думать, что в либертарианском обществе полицейские функции возьмут на себя землевладельцы или страховые компании. Поскольку страховые компании выплачивают крупные суммы жертвам преступлений, можно предположить, что они возьмутся за борьбу с преступностью, чтобы уменьшить свои расходы. В любом случае можно уверенно предположить, что частная полиция будет оплачиваться ежемесячными взносами, а к ее услугам будут обращаться по мере необходимости.

Это позволяет дать первый простой ответ на типичный вопрос людей, которым идея исключительно частной полиции могла лишь привидеться в страшном сне: «Как же так, значит, если на вас напали или вас ограбили, нужно бежать к полицейскому и договариваться о плате за то, чтобы он защитил вас?» Стоит хоть немного подумать, чтобы понять, что на свободном рынке так дела не делают. Понятно, что если человек хочет, чтобы его защищало агентство *A* или страховая компания *B*, он будет регулярно им платить, а не ждать, чтобы на него предварительно напали. «Но представьте экстренную ситуацию, и полицейский из компании *A* видит, что кого-то грабят; неужели он начнет выяснять, купила ли жертва страховку в его фирме?» Прежде всего о такого рода уличной преступности, как мы уже говорили, позаботится полиция, нанимаемая тем, кому принадлежит данная улица. Но можно взять маловероятный случай, когда в некоем месте нет уличной охраны и полицейский компании *A* оказывается свидетелем нападения на человека. Поспешит ли он ему на помощь? Решение, конечно, принимает компания *A*, но вряд ли можно себе представить, что частная охранная компания пренебрежет возможностью укрепить свою репутацию и оказать бесплатную помощь жертвам преступных посягательств, чтобы уже потом предложить им добровольно оплатить оказанную услугу. Если речь идет о домовладельце, подвергшемся нападению или грабежу, он, разумеется, обратится за помощью к своей охранной компании. Он обратится к компании *A*, а не к полиции, с которой вынужден иметь дело сегодня.

Конкуренция обеспечивает эффективность, низкие цены и высокое качество, так что нет причин для заведомой уверенности в том, что в каждой географической местности почему-то судьбой предначертано быть только одной полицейской службе. Экономисты часто заявляли, что производство некоторых товаров и услуг представляет собой естественную монополию, а потому на конкретной территории должно, в конечном итоге, остаться только одно частное охранное агентство. Возможно, так оно и есть, хотя окончательный ответ может дать только абсолютно свободный рынок. Только рынок может решить, сколько и каких фирм в состоянии выжить в условиях острой конкуренции. А пока у нас нет никаких оснований предполагать, что полицейские функции образуют естественную монополию. В конце концов, страховые компании не предполагают монополии, и если у нас есть страховые компании Metropolitan, Equitable или Prudential, то почему бы нам не иметь охранные компании Metropolitan, Equitable и Prudential? Гюстав де Молинари, французский экономист XIX века, первым в истории выдвинул предложение о свободном рынке полицейской защиты[2]. По мнению Молинари, в городах могут сосуществовать несколько конкурирующих частных полицейских служб, а в каждой сельской местности сможет быть только одна. Возможно, он был прав, но нужно отдавать себе отчет, что современные технологии делают возможным существование отделений крупных городских фирм даже в самых глухих местностях. Житель небольшой деревушки Вайоминга, таким образом, смог бы пользоваться услугами местного охранного агентства или обратиться за помощью к Metropolitan Protection Company. «Но как быть людям бедным, которые сегодня получают бесплатную защиту полиции?» На этот аргумент, чаще всего выдвигаемый против идеи тотальной приватизации охранных услуг, можно ответить несколькими способами. Один таков: эта проблема затрагивает любые товары и услуги в либертарианском обществе, не только полицию. Но разве можно обойтись без полицейской защиты? Может быть, но ведь нельзя обойтись без еды, одежды, жилья и многого другого. Безо всего этого обойтись еще труднее, чем без полиции, но почти никто не говорит, что *на этом основании* правительство должно национализировать и монополизировать предоставление еды, одежды и жилищ. Очень бедные люди будут получать свою долю защиты в порядке частной благотворительности (см. выше главу о социальном обеспечении). Более того, в особых случаях услуги полиции будут предоставляться нуждающимся бесплатно – либо самими охранными компаниями в порядке благотворительности (как это делают сегодня врачи и клиники), либо особыми

обществами бесплатного предоставления полицейской помощи, которые будут делать примерно ту же работу, какую сегодня взяли на себя общества бесплатной юридической помощи неимущим, предоставляющие им бесплатные юридические консультации и адвокатов.

Кроме того, сегодня услуги полиции отнюдь не бесплатны – их оплачивает налогоплательщик, и зачастую им является тот самый материально необеспеченный гражданин. Вполне может оказаться так, что сегодня он в виде налогов отдает на полицию больше, чем в будущем ему же придется платить за намного более эффективные услуги частных агентств. Более того, охранные предприятия смогут использовать преимущества массового рынка, на котором в силу эффекта экономии на масштабе деятельности стоимость охранных услуг окажется сравнительно небольшой. Ни одно охранное агентство не захочет из-за чрезмерных цен потерять существенную часть рынка, а следовательно, стоимость защиты будет столь же доступна, как сегодня стоимость страховки. (На деле они будут даже намного дешевле, потому что страховое дело жестко регулируется правительством, не пускающим на рынок конкурентов с низкими ценами.)

Есть еще один аргумент, выдвигаемый большинством тех, кто полностью отвергает идею тотальной приватизации полиции: не грозит ли нам неизбежная война всех против всех? Не возникнет ли анархия и неразрешимый конфликт между разными службами, когда один человек будет обращаться в свою полицию, а его соперник – в свою?

Есть несколько уровней ответа на этот ключевой контраргумент. Прежде всего, поскольку в таком обществе не будет единого государства, не будет централизованного правительства и даже сильной местной власти, мы, по крайней мере, будем избавлены от ужасов войны между государствами, обладающими оружием массового поражения, в том числе и ядерным. Разве не ясно, когда обращаешься к прошлому, что число людей, убитых в локальных конфликтах, несопоставимо с числом жертв разрушительных войн между государствами? И это легко объяснимо. Во избежание эмоций возьмем две гипотетических страны – Руританию и Уоллдавию. Если обе устроены по образцу либертарианского общества, т.е. представляют собой безгосударственные объединения частных лиц, фирм и охранных агентств, все конфликты очевидно будут носить локальный характер с использованием ограниченных арсеналов не самого разрушительного оружия. Представим себе, что в руританском городе столкнулись два охранных агентства и

между ними началась война. При любом развитии конфликта они не смогут использовать ковровые бомбардировки, ядерное или бактериологическое оружие, поскольку тогда и сами не смогут избежать уничтожения. Нужно сначала разделить территорию на монолитные массивы земель, охваченных государственной монополией, и только тогда станет возможным применение оружия массового поражения. Только в условиях традиционного соперничества между Уоллдавией и Руританией правительство каждой страны сможет применить любое оружие, в том числе ядерное, потому что тогда удар будет направлен против чужой страны и чужого народа. Более того, поскольку при таком порядке вещей каждый человек является подданным какого-то государства, в глазах правительства другой страны он оказывается врагом уже по своей природе. Гражданин Франции отождествляется с правительством Франции, и в случае войны граждане становятся таким же объектом нападения, как и государство. Но если разворачивается война между компаниями *A* и *B*, в худшем случае участниками ее станут клиенты этих компаний, но *никто из посторонних*. Вроде бы ясно, что даже при самом плохом развитии событий, когда либертарианский мир окажется в плену анархии, наше положение будет намного лучше, чем сегодня, когда все мы являемся заложниками непримиримых, анархичных наций-государств, обладающих монополией на оружие массового поражения. Не следует забывать, что мы живем, да и всегда жили в мире международной анархии, в мире склонных к насилию национальных государств, не сдерживаемых каким-нибудь международным правительством, и нет никаких шансов на то, что в обозримом будущем эта ситуация изменится.

Даже если либертарианский мир окажется анархичным, он будет избавлен от жестоких войн и массового разрушения, которые веками царили в мире монополистических государств. Даже если частные полицейские агентства не смогут жить в мире между собой, мы будем избавлены от повторения бомбардировок Дрездена и Хиросимы. Но это еще не все. Мы не согласны с утверждением, что эта местная анархия неизбежна. Разделим проблему столкновений между охранными агентствами на две разные проблемы: частные разногласия и попытка того или иного агентства стать над законом и применять насилие в корыстных целях. Предположим для начала, что частные полицейские играют по правилам, так что конфликты возникают только в результате добросовестных разногласий. Нет сомнений, что важнейшим достоинством услуг, которые может предложить клиентам любое охранное агентство, является их незаметность. Каждый их клиент, прежде всего, нуждается в том, чтобы все шло

своим чередом, без каких-либо конфликтов или беспорядков. И каждое охранное агентство будет превосходно понимать эту простую истину. Тогда становится абсурдным само предположение о непрерывных стычках и столкновениях между частными полицейскими компаниями, потому что хаос и анархия будут иметь пагубные последствия для всего их бизнеса. Грубо говоря, открытые раздоры и столкновения пагубны для бизнеса, очень пагубны. Поэтому на открытом рынке агентства позаботятся о том, чтобы такого рода стычек не было, а все разногласия улаживались в частных судах, где решения будут приниматься частными судьями или арбитрами.

Итак, прежде всего, как мы уже говорили, количество открытых конфликтов будет минимальным, потому что у владельца улицы будет своя охрана, у владельца магазина – своя, у землевладельца и домовладельца тоже будут свои охранные компании. В повседневной жизни все будут действовать на собственной территории и возможности для столкновения будут ограничены. Но предположим, что возникает конфликт между соседствующими домовладельцами, при этом каждый считает оппонента зачинщиком и обидчиком, каждый призывает на помощь собственное охранное агентство (так уж получилось, что они являются клиентами разных полицейских компаний). Что тогда? И в этом случае для двух полицейских компаний было бы бессмысленно и губительно вступать в войну между собой. Чтобы не рисковать своим положением, все полицейские компании заранее объявят, что спорные вопросы будут решаться в частных судах или арбитражах.

Суды

Допустим, судья или арбитр принимает решение, что Смит был неправ и именно он виновен в агрессии против Джонса. Если Смит принимает решение суда и готов поплатиться за свое поведение, у либертарианской теории не возникает никаких проблем. Но что, если он не принимает решения суда? Или возьмем другой пример: Джонса ограбили. Он обращается к своей полицейской компании с просьбой найти преступника. Компания приходит к выводу, что преступником является некий Браун. Что тогда? Если Браун признает свою вину, то опять-таки никаких проблем: преступник возместит причиненный им ущерб и дело будет закрыто. Но что делать, если Браун отрицает свою вину?

Эти случаи выводят нас из области полицейской защиты, и мы оказываемся в другой жизненно важной области – в области

судебной системы, где, в соответствии с общепринятыми процедурами, должны применяться методы установления того, *кто* совершил преступление или *кто* нарушил договор. Даже среди тех, кто признает возможность приватизации полицейской службы, многие останавливаются перед идеей частных судов. Каким образом *суды* могут быть частными? Каким образом суды могут выносить обязательные к исполнению приговоры в мире, не знающем правительства? Не приведет ли это к анархии и бесконечным конфликтам?

Прежде всего, монополистическая система государственного правосудия поражена теми же тяжкими проблемами, той же неэффективностью и презрением к клиентам, что и все другие сферы государственной деятельности. Всем известно, например, что при выборе судей руководствуются не их мудростью, честностью или эффективностью, а исключительно логикой политической борьбы. Более того, суд – это монополия, так что если, например, в каком-нибудь городе суды поражены коррупцией и взяточничеством, то горожане оказываются в западне – бежать им некуда. Обиженный гражданин округа Дип-Фоллс, штат Вайоминг, может обратиться только в суд штата Вайоминг или обходиться без правосудия. В либертарианском обществе судов будет много, и он сможет выбирать из множества судей. В этом случае также нет причин предполагать существование естественной монополии на правосудие. Гражданин Дип-Фоллс может, например, обратиться к местному отделению судебной компании Prudential Judicial Company.

Как будут финансироваться суды в свободном обществе? Есть разные возможности. Возможно, каждый будет подписываться на своего рода судебную страховку и ежемесячно вносить соответствующую плату, а в случае необходимости сможет использовать услуги судьи. Либо, поскольку суды, очевидно, бывают нужны реже, чем полиция, он будет платить судье гонорар за его услуги, а преступник или нарушитель контракта впоследствии возместит расходы жертве или истцу. Есть и третья возможность: суды могут наниматься охранными агентствами для разрешения спорных случаев, а можно себе представить даже вертикально интегрированные фирмы, оказывающие разом и охранные, и судебные услуги, так что у Prudential Judicial Company будут и охранное, и судебное подразделения. Только рынок может решить, какой из методов окажется наиболее удобным и востребованным.

Как известно, даже в нашем обществе люди все чаще обращаются к частным арбитрам. Государственные суды настолько перегружены делами, неэффективны и разорительны,

что все больше людей предпочитают обращаться к частным арбитрам, поскольку этот способ улаживания конфликтов требует меньше средств и времени. В последние годы частный арбитраж превращается в растущую и очень прибыльную профессию. Более того, он является добровольным предприятием, и стороны могут быстро договориться о правилах, поскольку не нуждаются в громоздких и сложных правовых процедурах, равно применимых ко всем гражданам. В арбитражных судах решения могут приниматься людьми, хорошо знающими отрасль или профессию. В настоящее время Американская ассоциация специалистов по арбитражу с девизом «Рукопожатие сильнее кулака» имеет в стране 25 региональных отделений, объединяющих 23 000 арбитров. В 1969 году Ассоциация осуществила 22 000 актов арбитража. Да и страховые компании ежегодно улаживают более 50 000 дел через систему добровольного арбитража. Например, он все чаще используется при разборе дел об автомобильных авариях.

Можно услышать возражения, что решения частных арбитров приводятся в исполнение судами, так что решение арбитра, одобренное обеими сторонами, еще должно быть признано легитимным. Это верно, но такое положение существует *только* с 1920 года, а в период 1900–1920-х годов сфера действия частного арбитража расширялась столь же стремительно, как и впоследствии. Собственно говоря, современный арбитраж зародился в Англии в период Гражданской войны в Америке, когда торговцы начали все чаще обращаться в частные суды, где решения принимали одобренные обеими сторонами арбитры, хотя их вердикты и не имели силы закона. Начиная с 1900 года добровольный арбитраж начал распространяться и в Соединенных Штатах. Фактически, в средневековой Англии вся структура торгового права, неуклюже и неэффективно применявшегося государственными судами, получила развитие в частных торговых судах. По существу, они представляли собой добровольный арбитраж, а решения их не имели силы закона. В чем же была их сила?

Дело в том, что в Средние века и вплоть до 1920 года торговцы полагались исключительно на силу остракизма и бойкота со стороны других местных торговцев. Иными словами, если кто-то отказывался подчиниться решению арбитра или игнорировал его решение, другие торговцы доводили этот факт до всеобщего сведения и все отказывались иметь дело с бунтарем, что быстро ставило того на колени. Характерный пример этого приводит Вулридж:

Торговые суды были эффективны, потому что торговцы

договаривались о том, что их решения будут исполняться. Того, кто отказывался подчиниться, не отправляли в тюрьму, но и торговцем после этого он оставался недолго. Влияние его коллег и партнеров оказывалось более действенным, чем физическое принуждение. Возьмите Джона из Хоминга, который зарабатывал на жизнь оптовой торговлей рыбой. Джон продал партию селедки, которая вся должна была быть такой же, как в предъявленных покупателю трех бочках, но, как вскоре выяснилось, в действительности была гнилой, да еще и смешана с колюшкой. Ему пришлось быстро все возместить покупателю под страхом остракизма со стороны других торговцев[3].

Со временем остракизм стал еще более эффективным средством, поскольку сложилась ситуация, когда тот, кто однажды не подчинился решению арбитра, уже не мог рассчитывать, что с ним будет иметь дело еще какой-либо посредник. Промышленник Оуэн Д.Янг, глава корпорации General Electric, пришел к выводу, что моральная цензура, осуществляемая другими бизнесменами, действует куда эффективнее, чем официальная судебная система. Современные технологии, компьютеры и кредитные рейтинги делают угрозу общенационального остракизма еще более действенной, чем когдалибо в прошлом.

Ну ладно, в случае торговых и профессиональных конфликтов можно обойтись добровольным арбитражем, но как быть с настоящими преступниками – с разбойниками, насильниками, взломщиками сейфов? Приходится признать, что в этих случаях остракизм, пожалуй, не сработает, даже если иметь в виду, что при этом владельцы улиц откажутся допускать подобную публику в зону своего влияния и ответственности. Для уголовных дел необходимы суды и принуждающая сила закона.

Каким же образом будут действовать суды в либертарианском обществе? В частности, каким образом они будут *принуждать* к выполнению своих решений? Ведь им придется при этом соблюдать главный принцип такого общества – никакого насилия против человека, которого суд еще не признал преступником, а иначе полиция и сам суд будут подлежать суду за агрессию, если выяснится, что они применили силу к человеку, невиновному в противоправной деятельности. Ведь здесь, в отличие от этатистской системы, полицейские и судьи не будут обладать особой привилегией на использование силы.

Рассмотрим случай, о котором мы говорили выше. Мистер Джонс был ограблен, нанятое им охранное агентство установило, что преступление совершил некто Браун, а Браун отрицает свою вину. Как быть? Прежде всего нужно понять, что в настоящее

время нет никакого мирового суда, как нет и мирового правительства, которое обеспечивало бы исполнение его приговоров, но, несмотря на это состояние международной анархии, конфликты между частными гражданами разных стран улаживаются достаточно просто. Представьте себе, что некий гражданин Уругвая жалуется на то, что его обманул гражданин Аргентины. В какой суд он обратится? В суд своей страны, т.е. в суд истца. Дело будет рассмотрено судом Уругвая, а суд Аргентины признает его решение. Точно также все обстоит, если обманутым себя сочтет американец, который подаст в суд на гражданина Канады. В Европе после падения Римской империи, когда германские племена жили бок о бок, если вестгот считал, что франк его обидел, он обращался в вестготский суд и франки принимали его решение. С точки зрения либертарианства так и следует делать: истец, поскольку именно он обижен, естественно, действует через свой суд. Так и в нашем случае Джонс обратится к услугам судебной компании Prudential Court Company и обвинит Брауна в воровстве.

Нельзя исключить того, что и Браун окажется клиентом этой же судебной компании, и в таком случае здесь проблем не будет – решение окажется обязательным для обеих сторон. Следует иметь в виду, что Браун не может быть силой доставлен в суд, потому что пока он не осужден, с ним следует обращаться как с невиновным. Но Браун будет оповещен, что против него возбуждено дело по такому-то обвинению и было бы желательно, чтобы он или его представитель присутствовали на процессе. Если он проигнорирует это предложение, то его будут судить *in absentia** (Заочно (лат.)), а Брауну это невыгодно, потому что тогда его интересы на суде не будут представлены. Если Брауна признают виновным, то суд и судебные исполнители применят силу для его ареста и приведения приговора в исполнение, а главной частью наказания, естественно, будет возмещение ущерба, причиненного им истцу.

А как быть, если Браун не признает суд компании Prudential Court? Что, если он является клиентом другой судебной компании, Metropolitan Court Company? Этот случай сложнее. Как быть тогда? Начнем с того, что ограбленный Джонс подал иск в Prudential Court Company. Если Брауна признают невиновным, на том дело и кончится. Предположим, однако, что Брауна признали виновным. Если он в ответ не предпримет никаких действий, решение суда войдет в силу. Предположим, что Браун обращается к помощи Metropolitan Court Company и требует защиты от действий продажной или неразумной судебной компании Prudential. Дело будет рассмотрено в Metropolitan. Если она также

сочтет Брауна виновным, за дело возьмутся судебные исполнители и Браун понесет наказание. Но предположим, что Metropolitan признала Брауна невиновным. Что тогда? Неужели дело кончится вооруженной схваткой между судебными исполнителями двух судебных компаний?

Такое поведение компаний было бы нелогичным и вредным для них. Существенной частью их деятельности является принятие справедливых, беспристрастных и действенных решений относительно того, кто именно совершил преступление. Вынести приговор, а потом затеять стрельбу – едва ли клиенты могут счесть это ценной услугой суда. Поэтому необходимой частью судебной системы будет процедура апелляции. Иными словами, каждый суд возьмет на себя обязательство подчиняться решениям апелляционного разбирательства, которое проведет третейский судья по запросу судебных компаний Metropolitan и Prudential. Третейский судья примет решение, и его приговор будет считаться окончательным и обязательным для всех сторон. После чего за дело возьмутся судебные исполнители компании Prudential.

Апелляционный суд! Но разве вместе с ним в систему не возвращается правительственная монополия? Нет, потому что в системе не закреплена фигура апелляционного судьи или организация, выполняющая эти функции. Иными словами, в Соединенных Штатах в настоящее время конечной апелляционной инстанцией назначен Верховный суд, так что судьи Верховного суда становятся окончательными арбитрами в любом процессе, независимо от желаний истца или ответчика. А в либертарианском обществе, напротив, конкурирующие частные суды получат возможность обратиться к любому третейскому судье, которого они сочтут компетентным, беспристрастным и справедливым. Обществу не будут навязывать ни судей, ни судебные органы.

Как будет финансироваться деятельность апелляционных судов? Есть много разных подходов, но вероятнее всего им будут платить суды низшего звена, которые будут включать соответствующие расходы в счета своих клиентов.

Но предположим, что Браун потребует обратиться к другому апелляционному судье, а потом еще к другому? Сумеет ли он избежать наказания, бесконечно подавая на апелляцию? Очевидно, что в *любом* обществе судопроизводство не может длиться бесконечно долго – где-то должен быть конец. В нашем этатистском обществе, где юридическая система монополизирована правительством, последней инстанцией назначен Верховный суд. В либертарианском обществе тоже

необходим общепринятый конечный этап судопроизводства, а поскольку в любом процессе участвуют только две стороны – истец и ответчик,– представляется разумным зафиксировать в законе следующее правило: окончательным должно быть *решение, поддержанное любыми двумя судами*. Это условие выполняется, когда к одному решению приходят суд истца и суд ответчика, а также когда любое решение принимает апелляционный суд – оно непременно совпадет с решением одного из низших судов.

Закон и суды

Теперь понятно, что либертарианскому обществу необходим свод законов. Откуда он возьмется? Откуда может взяться законодательство в правовой системе, где *нет* правительства, которое могло бы его принять, нет зафиксированной системы судебных органов и нет законодательного собрания? И прежде всего, совместим ли свод законов с принципами либертарианства?

Начнем с ответа на последний вопрос: свод законов необходим, чтобы у частных судов был ориентир. Если, например, суд *А* принимает решение, что все рыжие – прирожденные негодяи и заслуживают наказания, понятно, что это решение противоречит либертарианским принципам и представляет собой посягательство на права рыжих. Любое подобное решение будет *противоправным* и не получит поддержки общества. Поэтому необходим свод общепризнанных законов, которым должны следовать суды в своих решениях. Проще говоря, свод законов должен зафиксировать либертарианский принцип запрета посягательств на личность и собственность, сформулировать определения прав собственности, установить нормы доказательственного права (применяемые и в наше время), которые позволят выявить правонарушителя во всех конфликтах, и определить максимальное наказание по каждому виду преступлений. В рамках такого свода законов отдельные суды будут конкурировать между собой в установлении самых эффективных процедур, а уже рынок решит, какой способ отправления правосудия будет самым эффективным – с помощью судьи или с помощью жюри присяжных.

Возможно ли создание стабильного и внутренне непротиворечивого законодательства усилиями судей, занимающихся развитием и применением законов без опоры на правительство или парламент? Мало того, что *возможно*,– именно так была создана лучшая часть наших законов. Подобно

королям, законодательные собрания отличались непостоянством, нелогичностью и экспансионизмом. Они ввели в систему права непоследовательность и деспотизм. По сути дела, правительство пригодно для развития и применения закона не больше, чем для осуществления любой другой деятельности, и все государственные функции, включая полицию, суды и сам закон, должны быть отделены от государства так же, как была отделена от него религия и как могла бы быть отделена экономика!

Как было отмечено выше, весь свод торгового права был развит не государством, а частными торговыми судами. И лишь спустя много времени правительство пополнило свой арсенал этими законами. Так же обстояло дело и с морским правом, со всей совокупностью законов, регулирующих судоходство, морские перевозки, спасение людей и имущества при кораблекрушении. И здесь государство стояло в стороне, и его юрисдикция не распространялась на открытое море, а потому грузоотправителям пришлось взять на себя задачу не применения, а выработки всей структуры морского права в своих торговых судах.

Наконец, основной корпус англосаксонского права, знаменитое *общее право*, веками развивался усилиями конкурирующих между собой судей, которые применяли выдержавшие проверку временем принципы, а не переменчивые указы правительства или законодателей. Эти принципы не были произвольно навязаны каким-либо королем или парламентом; они возникали в результате столетней практики применения рациональных и очень часто либертарианских по сути принципов в ходе разрешения всевозможных конфликтов. Идея следования прецеденту была порождением *не* слепого преклонения перед прошлым, а осознанного применения общепринятых принципов общего права к решению всевозможных практических проблем. Тогда исходили из того, что судья не устанавливает правовые нормы (как он нередко делает в наши дни). Задача судьи заключалась в том, чтобы *найти* закон в совокупности общепринятых принципов общего права и потом применять этот закон к особым случаям или к новым технологическим или организационным условиям. Величие многовекового процесса создания общего права – это свидетельство его успеха.

Более того, в суде общего права судьи во многом действовали как частные арбитры, как эксперты, к которым тяжущиеся стороны приходили со своими конфликтами. Здесь не было произвольно созданного верховного суда, решения которого обладают наивысшим авторитетом, да и прецеденты, при всем уважении к ним, не обладали автоматически обязывающей силой. Итальянский правовед либертарианского направления Бруно

Леони так писал об этом:

…в Англии не могли с легкостью вводить в действие произвольные законы, потому там никогда не было возможности делать это непосредственно, в характерной внезапной, грандиозной и надменной манере законодателей. Более того, в Англии было столько судов и они так ревниво относились друг к другу, что даже знаменитый принцип прецедента, имеющего обязательную силу,не признавался ими открыто вплоть до относительно недавнего времени. Кроме того, они всегда имели право выносить решение только в связи с конкретным обращением к ним частных лиц. Наконец, относительно немного людей обращались в суд за тем, чтобы узнать от судей нормы, которыми они руководствуются в принятии решений[4].

А об отсутствии верховных судов он сказал:

… невозможно отрицать, что право юристов или прецедентное право могут приобретать характеристики законодательства, в том числе нежелательные, во всех тех случаях, когда юристы или судьи правомочны принимать окончательное решение по делу… В наше время механизм судопроизводства в тех странах, где существуют «верховные суды», приводит к навязыванию личных мнений членов этих судов или большинства членов такого суда всем остальным людям, которых это касается, во всех тех случаях, когда имеются существенные разногласия между мнением первого и убеждениями последних. Однако… эта возможность не только не подразумевается с необходимостью природой права юристов или прецедентного права, но является скорее неким отклонением… [5]

Если не считать таких отклонений, возможности судей навязывать свои взгляды были сведены к минимуму тем, что: а) судьи могли выносить решения только по рассматриваемым делам, б) каждое судебное решение относилось только к рассматриваемому случаю и в) решения всегда ориентировались на прецеденты. Более того, отмечает Леони, в отличие от законодательной или исполнительной власти, где большинство или группы влияния грубо игнорируют мнения меньшинства, судьи в силу своего положения обязаны выслушивать и учитывать аргументы спорящих сторон. «Перед судьей стороны *равны* в том смысле, что они располагают полной свободой в представлении аргументов и доказательств. Они не составляют группу, в которой инакомыслящее меньшинство склоняется перед волей большинства…». Леони отмечает сходство между этим процессом и рыночной экономикой: «Конечно, аргументы могут быть сильнее или слабее… но то, что их может выдвигать каждая сторона, позволяет сравнить ситуацию в суде с рынком, где

каждый может конкурировать со всеми остальными, чтобы продать или купить товары»[6].

Профессор Леони обнаружил, что в области *частного права*

Римский юрист по сути был исследователем: объектами его исследований были решения дел, за которыми к нему обращались граждане примерно так же, как сегодня промышленники могут обратиться к физику или инженеру за решением технической проблемы, касающейся оборудования или производства. Поэтому римское частное право представляло собой целый мир реально существующих вещей, которые были частью общего достояния всех римских граждан,– то, что можно было открыть или описать, но не принять и не ввести в действие. Никто не принимал этих законов, и никто при всем желании не мог их изменить… В этом состоит долгосрочная или, если вам так больше нравится, римская концепция определенности закона[7].

Наконец, профессор Леони сумел использовать свое знание того, как действовало римское и общее право, для ответа на жизненно важный вопрос: кто в либертарианском обществе «будет назначать судей… чтобы они занимались определением закона?» Его ответ таков: сами *люди*, люди, которые пойдут к судьям, известным своим опытом и мудростью в понимании и применении основных общих правовых принципов общества:

На самом деле почти не имеет значения, кто будет назначать судей, потому что в некотором смысле это может делать каждый, как это до некоторой степени и случается, когда люди обращаются к частным арбитрам, чтобы те уладили споры между ними… Дело в том, что назначение судей – это такая же проблема, как проблема «назначения» физиков, врачей или других опытных и образованных людей. Появление в любом обществе высокопрофессиональных людей только на первый взгляд происходит благодаря официальным назначениям.

В действительности оно основано на широком консенсусе их клиентов, коллег и публики вообще – консенсусе, без которого назначать бесполезно. Конечно, люди могут ошибаться относительно подлинной ценности тех, кого они выбрали, но это неотъемлемое свойство любого акта выбора[8].

В будущем либертарианском обществе, разумеется, свод законов не будет опираться на слепой обычай, который во многом может носить антилибертарианский характер. Основой закона будет признанный принцип либертарианства – принцип неприкосновенности личности и собственности других, иными словами, опора на разум, а не на простую, хоть и весьма авторитетную традицию. Но поскольку мы сможем опереться на принципы общего права, людям будет намного легче и проще

справиться с задачей исправления и улучшения общего права, чем если бы мы попытались сочинить весь корпус правовых принципов *de novo**(Заново (лат.)) с чистого листа.

До самого недавнего времени историки умудрялись не обращать внимания на самый поразительный исторический пример общества с развитой системой либертарианского суда и права. Да и не только суды и законы – само общество было вполне либертарианским и безгосударственным. Речь идет о древней Ирландии, которая жила в условиях либертарианства на протяжении почти тысячи лет, пока в XVII веке не была захвачена Англией. В отличие от многих других примитивных племен (таких как ибо в Западной Африке или многие европейские народности), Ирландия никоим образом не была примитивным обществом: это был весьма сложный социум, во многих отношениях самый передовой, цивилизованный и развитый в Западной Европе.

На протяжении тысячи лет кельты в Ирландии обходились безо всякого государства. Как написал ведущий знаток древнеирландского права, «здесь не было законодателей, не было судебных приставов, полиции, не было органов поддержания правопорядка… Здесь не было ни малейших следов поддерживаемого государством правосудия»[9].

Каким же образом поддерживался правопорядок? Основной политической единицей древней Ирландии был туат. Все свободные люди, владевшие землей, все ремесленники должны были принадлежать к какому-либо туату. Члены каждого туата принимали на общем собрании решения обо всех важных делах, о войне и мире с другими туатами, выбирали или смещали своих королей. Здесь существенно то, что в отличие от других примитивных племен ни узы родства, ни географические обстоятельства не обязывали никого быть членом определенного туата. Каждый был волен оставить свой туат и присоединиться к другому. Зачастую два или более туата принимали решение об объединении и создании более сильного туата. Как пишет профессор Педен, «туат– это совокупность людей, добровольно объединившихся для общей пользы и выгоды, а его территория представляла собой совокупную земельную собственность его членов»[10]. Короче говоря, там не было современного государства с его территориальным суверенитетом, существующим отдельно от земельной собственности подданных. Напротив, туаты представляли собой добровольные объединения, территорию которых составляли земельные владения его членов. Исторически на территории Ирландии существовало от 80 до 100 туатов.

А выборный король? Разве он не являлся правителем государства? Главным образом король исполнял роль верховного жреца, руководителя религиозных церемоний туата, который являлся не только социальной и политической, но и религиозной организацией. В дохристианский период статус верховного жреца был наследственным, эта практика сохранилась и после принятия христианства. Короля выбирали из числа членов королевской семьи (*derbfine*),за которой была закреплена жреческая функция. *Политические* же функции короля были строго ограничены: он являлся военным вождем туата и председательствовал на общих собраниях. Но переговоры о войне и мире он мог вести только как представитель общего собрания. Никоим образом, не являясь суверенным властителем, он не имел права вершить правосудие над членами своего туата. Он не мог принимать законы, а когда сам оказывался участником тяжбы, то обязан был передавать дело на рассмотрение независимого третейского судьи.

Каким же образом развивался закон и обеспечивалось правосудие? Прежде всего закон основывался на совокупности пришедших из незапамятной древности обычаев, сохранявшихся сначала в устной, а потом в книжной традиции в среде класса профессиональных судей, или брегонов, которые ни в каком смысле не были государственными чиновниками. Тяжущиеся стороны обращались к ним, руководствуясь их репутацией людей, знающих право, мудрых и беспристрастных. Как пишет профессор Педен,

знатоки права давали советы спорящим сторонам. Они же нередко выступали в роли третейских судей, оставаясь при этом частными лицами, а не государственными служащими. Их положение в обществе определялось исключительно знанием законов и репутацией мудрых и беспристрастных судей[11].

Более того, брегоны никак с отдельными туатами или их королями. Они были частными лицами, к которым могли обратиться члены любого туата, нуждавшиеся в третейском судье. Более того, и это имеет огромное значение, в отличие от системы правосудия в Древнем Риме брегонами все исчерпывалось – не было других судей; в древней Ирландии не было никакого государственного суда.

Именно брегоны, получавшие правовое образование, толковали и пополняли закон в соответствии с менявшимися условиями. Более того, в этой системе правосудия не было монополизма – существовало несколько конкурировавших школ правоведения, так что у ирландцев был достойный выбор.

Каким образом приводились в исполнение решения брегонов? Через детально развитую систему страхования или

поручительства. Люди были связаны между собой отношениями взаимной поруки, которые гарантировали исправление ошибок, восстановление справедливости и исполнение решений брегонов. Иными словами, сами брегоны не имели отношения к исполнению собственных решений, а занимались этим люди, связанные узами взаимной поруки. Виды поручительства были разные. Например, поручитель своей собственностью гарантировал возврат долга, а если должник отказывался возвращать долг, он вместе с истцом добивался исполнения судебного решения. В этом случае должнику приходилось платить дважды – и кредитору, и поручителю в качестве компенсации за его дополнительные хлопоты. И эта система действовала в случае любых правонарушений и неисполнений торговых договоров; иными словами, она охватывала все дела, входящие, по нашей терминологии, в сферу действия гражданского и уголовного права. Любого преступника рассматривали как должника, который обязан возместить ущерб, нанесенный им жертве преступления, которая становилась, таким образом, его кредитором. Потерпевший собирал своих поручителей и либо задерживал преступника, либо публично обвинял его в преступлении и требовал от него предстать перед судом брегонов. Обвиняемый мог послать своих поручителей, чтобы те договорились об урегулировании конфликта, либо соглашался перенести дело в суд. Если он уклонялся от того и другого, то оказывался вне закона и уже не мог обращаться в суд, потому что был опозорен для всего общества[12].

За тысячелетнюю историю кельтской Ирландии случались, конечно, войны, но они представляли собой незначительные стычки, несопоставимые с опустошительными битвами, сотрясавшими остальную Европу. Как отмечает профессор Педен,

не имея государственного аппарата принуждения, способного с помощью налогообложения и воинской повинности мобилизовать значительные вооруженные силы, ирландцы не могли сколько-нибудь длительное время участвовать в масштабных конфликтах. По европейским стандартам, ирландские войны… были жалкими драками и набегами угонщиков скота[13].

Итак, мы установили, что и теоретически, и исторически возможно существование эффективной и вежливой полиции, компетентных и знающих судей, систематически развитых и социально приемлемых законов – и все это без малейшего участия государства, наделенного монополией на насилие. Государство, претендующее на суверенное право защиты территории и получение соответствующих платежей от ее населения, может быть отделено от всей области охраны

правопорядка. Для поддержания закона и порядка государство нужно не больше, чем для всего остального. Мы еще не учли принципиально важное обстоятельство: имея монополию на применение насилия, оно веками являлось источником такого кровопролития, такой тирании и жестокости, каких нельзя ожидать ни от одной частной организации. Если взглянуть на скорбный перечень массовых убийств, эксплуатации и тирании, которым подвергалось общество со стороны правительств, следует без колебаний отвернуться от государства-левиафана и попытаться жить свободно.

Преступные защитники

Эту проблему мы оставили напоследок: что если полиция и суды окажутся продажными и предвзятыми, что если они начнут действовать в интересах, скажем, богатых клиентов? Мы показали, как либертарианская правовая и судебная системы могут действовать в условиях свободного рынка, и предположили при этом, что они действуют честно. Но что делать, если полиция или суды окажутся во власти преступников? Как быть тогда?

Прежде всего либертарианцы не закрывают глаза на этот вопрос. В отличие от утопических марксистов или левых анархистов (анархо-коммунистов или анархо-синдикалистов), либертарианцы не склонны предполагать, что жизнь в абсолютно свободном обществе, о котором они мечтают, создаст нового, чудесным образом преображенного освобожденного человека. Мы не предполагаем, что лев возляжет рядом с ягненком и что ни у кого не будет преступных помыслов против своих соседей. Разумеется, чем лучше будут люди, тем лучше будет работать любая общественная система, в частности, тем меньше работы будет у полиции и судов. Но либертарианцы не строят подобных иллюзий. Мы говорим только о том, что как бы хороши или плохи ни были люди, чисто либертарианское общество будет одновременно наиболее нравственным и наиболее эффективным, наименее криминальным и максимально безопасным для личности и собственности.

Начнем с проблемы продажного суда. Как быть, если судья благоволит богатому клиенту? Прежде всего, если учесть стимулы и санкции, действующие в свободной рыночной экономике, такого рода благоволение очень маловероятно. Само существование суда и материальное благополучие судьи будут зависеть от его справедливости, объективности, честности и приверженности истине. Это его торговая марка. Стоит только

распространиться слуху о продажности судьи, и он немедленно начнет терять клиентов, потому что даже клиенты из криминального мира вряд ли захотят иметь дело с арбитром, решения которого не принимаются обществом всерьез и который и сам может вот-вот попасть в тюрьму за обман и подлог. Если, например, обвиненный в нарушении договора Джон Смит обратился в суд, возглавляемый его зятем, ни один из честных судов не воспримет решение по этому делу всерьез. Это заведение перестанет быть судом в глазах всех, кроме разве что самого Джона Смита и его семьи.

Сравните этот встроенный механизм коррекции с нынешними государственными судами. Судей назначают или избирают на длительный срок, пожизненно, и они получают монопольное право вершить правосудие на определенной территории. Почти невозможно что-либо сделать, если судья будет принимать умеренно предвзятые и несправедливые решения, – разве что коррумпированность судьи выйдет за всякие мыслимые пределы. И вот так год за годом он будет вершить свое правосудие, получая при этом свое жалованье, начисляемое из принудительно взыскиваемых налогов. А вот в совершенно свободном обществе любое подозрение в адрес судьи или суда приведет к тому, что клиенты откажутся от его услуг, а приговоры такого судьи или суда будут игнорироваться. Это намного более эффективная система предотвращения коррупции, чем существующий механизм правительственного контроля.

Более того, искушение брать взятки будет не столь сильным и по другой причине: на свободном рынке фирмы зарабатывают не на богатых клиентах, а на массовом потребителе. Сеть универмагов Macy’s получает доход от тысяч мелких покупателей, а не от небольшого числа богатых клиентов. То же самое относится сегодня к страховой компании Metropolitan Life Insurance и будет верным для любой судебной компании Metropolitan завтра. Со стороны судов и судей было бы просто глупо рисковать доверием подавляющей массы клиентов ради благосклонности немногочисленных богачей. И сравните эту ситуацию с нынешним положением дел, когда судьи, подобно всем другим политикам, могут оказаться в долгу перед богатыми спонсорами, финансирующими кампании их политической партии.

Существует миф, что американская система обеспечивает превосходный механизм сдержек и противовесов, так что власти исполнительная, законодательная и судебная уравновешивают и сдерживают друг друга, а потому можно не опасаться чрезмерной концентрации власти в одних руках. Но вся эта система по

большей части является обманом и жульничеством. Ведь каждый из институтов власти обладает в своей области монополией на принуждение, а все они являются частью единого государства, которое в любой момент контролируется одной партией. Более того, у нас есть только две партии, близкие друг к другу по идеологии и личному составу. Они нередко вступают в сговор, а повседневное управление осуществляется государственной бюрократией, которая *не может быть* смещена решением избирателей. Сравните с этими мифическими сдержками и противовесами *реальные* сдержки и противовесы, обеспечиваемые рыночной экономикой! A&P ведет свои дела честно, потому что на нее давит конкуренция – действительная и потенциальная – со стороны Safeway, Pioneer и бесчисленного множества других магазинов. Они честны, потому что клиенты могут в любой момент от них отвернуться. На вольном рынке судейских услуг судьи будут честными потому, что при малейшем подозрении в бесчестности публика перейдет через дорогу или в соседний квартал в *другой* суд и к *другому* судье. Они будут честны из страха потерять свой бизнес. Таковы *реальные*, действенные сдержки и противовесы рыночной экономики и свободного общества.

То же самое и с перспективой криминализации частных полицейских формирований, которые могли бы заняться выколачиванием дани и рэкетом. Такое, действительно, возможно. Но в отличие от нашего нынешнего общества под рукой будут действенные сдержки и противовесы: найдутся *другие* частные полицейские формирования, которые смогут объединиться, чтобы сообща подавить хищнические посягательства на их клиентов. Если охранная компания Metropolitan Police Force превратится в банду гангстеров и рэкетиров, общество сможет призвать на помощь охранные компании Prudential или Equitable, и те сообща пресекут эту противоправную деятельность. В случае централизованного государства все иначе. Если группа гангстеров сумеет подчинить себе государственный аппарат с его монополией на принуждение, остановить их сможет разве что революция. В либертарианском обществе не будет нужды в революции, чтобы положить предел хищничеству гангстерского государства, – здесь всегда найдется достаточно честных полицейских формирований, чтобы остановить и подавить полицейских, ставших на путь бандитизма.

Да и что такое государство, если не организованный бандитизм? Что такое налогообложение, если не воровство в гигантском масштабе? Что такое война, если не массовая резня, подобную которой не могут устроить никакие частные

полицейские формирования? Что такое воинский призыв, если не массовое рабство? Можно ли представить себе, что частному полицейскому формированию сходит с рук хоть крошечная доля того, что год за годом и век за веком сходит с рук государствам?

Есть и еще одно существенное обстоятельство, которое делает почти невозможным, чтобы бандитизм переродившихся полицейских формирований мог хоть в малой степени сравниться с тем, что творят современные правительства. Правительства могут совершать чудовищные вещи во многом благодаря тому, что в глазах одурманенной публики их деятельность *легитимна*. Средний гражданин может быть недоволен или просто возмущен полицией и поборами правительства. Но он находится под обаянием идеи, внушенной столетиями государственной пропаганды, что правительство – это его законный суверен, а потому попытка воспротивиться его повелениям была бы гибельным безумием. Государственные интеллектуалы веками вдалбливали ему мысль о необходимости преклоняться перед этой легитимностью – с помощью флагов, ритуалов, церемоний, наград и конституций. Полицейская банда – *даже если* все частные полицейские формирования сольются в единую банду – не будет иметь подобной легитимности. Публика увидит в них только бандитов, а взимаемая ими дань никогда не будет считаться налогом, который следует платить автоматически. Люди быстро сплотятся против их незаконных требований, и бандиты потерпят поражение. Как только общество войдет во вкус привольной, обеспеченной и благоустроенной жизни безгосударственного либертарианского мира, государство почти заведомо проиграет. Почуяв вкус свободы, люди не захотят отказаться от нее.

Но *предположим* – только предположим – что, несмотря на все помехи и препятствия, несмотря на всю любовь к вновь обретенной свободе, несмотря на все встроенные сдержки и противовесы, обеспечиваемые свободным рынком, государство сумеет каким-то образом опять все подмять под себя. Что тогда? Тогда мы опять получим все то же государство. Мы будем не в худшем положении, чем сегодня, с нашим нынешним государством. Как выразился один философ-либертарианец, «по крайней мере, мир получит грандиозные каникулы». Звучное обещание Карла Маркса куда лучше подходит не к коммунизму, а к либертарианскому обществу: отказываясь от государства ради свободы, нам нечего терять, кроме своих цепей.

Национальная оборона

Мы подошли к последнему аргументу против либертарианства. Каждому либертарианцу приходилось слышать осторожное возражение: «Ладно, эта система действительно может работать на уровне местной полиции и судов. Но как либертарианское общество сможет защитить нас от русских?»

За этим вопросом скрывается ряд сомнительных предположений, в частности особенно сомнительное, что русские мечтают о вооруженном нападении на Соединенные Штаты. Предполагается также, что подобное желание сохранится и после того, как Соединенные Штаты превратятся в чисто либертарианское общество. При этом пренебрегают уроком истории, что войны – это результат конфликта между нациями-государствами, каждое из которых вооружено до зубов и подозревает других в желании напасть на него. Но либертарианская Америка явно не будет представлять угрозы для кого-либо, причем не в силу своей разоруженности, а потому что будет следовать политике отказа от агрессии. Когда мы перестанем быть внутренне опасными для других, маловероятно, что какая-то страна захочет напасть на нас. Один из главных пороков нации-государства заключается в том, что каждое государство идентифицирует себя со всеми гражданами, и в случае войны невинные люди становятся объектом агрессии со стороны враждебного государства. Но в либертарианском обществе подобной идентификации не будет, а потому станут крайне маловероятными и разрушительные войны. Представим себе, например, что вставшее на путь беззакония охранное предприятие Metropolitan Police Force предприняло агрессию не только против американцев, но и против мексиканцев. Если в Мексике на тот момент будет государство, то мексиканское правительство будет уверено, что к преступлениям компании Metropolitan американцы в целом отношения не имеют. Так что если мексиканская полиция предпримет карательную экспедицию против этой компании, она не станет воевать с американским народом в целом. В наши же дни все было бы совершенно наоборот. Вероятнее всего, другие американские охранные предприятия присоединятся к мексиканцам с целью наказать агрессора. Можно предположить, что исчезнет сама идея войны против либертарианской страны или, лучше сказать, либертарианской территории.

Более того, сама постановка такого рода вопроса о русских – это серьезная философская ошибка. Обдумывая *любого* рода новую систему, какой бы она ни была, мы должны *сначала* решить: хотим ли мы, чтобы она была реализована. Чтобы решить, *хотим* ли мы жить при либертарианстве, коммунизме,

левом анархизме, теократии или какой-то другой системе, нужно для начала предположить, что она уже реализована, а лишь затем появится возможность оценить, насколько эта система будет эффективна и устойчива. Я полагаю, что нам удалось показать, что либертарианская система вполне жизнеспособна и в случае реализации намного превзойдет любую другую форму общественного устройства по эффективности, моральности, богатству, материальному благосостоянию и свободе. Но мы еще ничего не сказали о том, как *перейти* от существующей системы к идеалу, ведь это два совершенно разных вопроса: какова наша идеальная цель и каковы стратегия и тактика перехода к этой идеальной цели. В вопросе о русской угрозе смешаны эти два уровня дискурса. В нем предполагается, что либертарианство почему-то не было установлено по всему миру, что оно реализовано только в Америке и нигде больше. Но зачем исходить из такого предположения? Почему бы сначала не предположить, что оно было утверждено повсеместно, и посмотреть, понравится ли нам этот мир? В конце концов, либертарианская философия вечна и не имеет временных и пространственных ограничений. Мы требуем свободы для всех и каждого, а не только для Соединенных Штатов. Если кто-то согласен, что наилучшим проектом будущего является победа либертарианства во всемирном масштабе, что такое общество будет эффективным и нравственным, что ж, пусть он *станет* либертарианцем, примет свободу как общую идеальную цель и начнет вместе с нами работать над отдельной – и очень трудной – задачей осмысления того, как реализовать этот идеал.

Если же говорить о стратегии, то очевидно, что чем более обширна территория, на которой свобода будет утверждена изначально, тем *больше* будут ее шансы на выживание, тем вероятнее, что она сможет отразить любые насильственные попытки ее разрушить. Если свобода будет единовременно утверждена во всем мире, то проблема национальной обороны, естественно, просто не возникнет. Тогда *все* проблемы будут локальными полицейскими проблемами. Если же, однако, либертарианским станет только округ Дип-Фоллс в штате Вайоминг, а остальная часть Америки и мир останутся этатистскими, шансы на выживание будут крайне невелики. Если Дип-Фоллс объявит о своей независимости и создании свободного общества, очень велики шансы, что Соединенные Штаты, учитывая историческую традицию нетерпимости к сепаратизму, быстро сокрушат новое свободное общество и полицейские силы округа Дип-Фоллс не смогут им помешать. Между этими двумя полюсами лежит бесконечное множество промежуточных

вариантов, но совершенно понятно, что чем больше будет изначально территория свободы, тем больше будут ее шансы противостоять угрозе извне. Таким образом, русский вопрос – это вопрос о стратегии, а не о базовых принципах и не о цели, для достижения которой мы готовы делать все возможное.

Впрочем, давайте рассмотрим вопрос о русской угрозе по существу. Предположим, что Советский Союз будет исполнен решимости напасть на либертарианское население на территории нынешних Соединенных Штатов (понятно, что тогда уже не будет правительства США, способного сформировать единое национальное государство). Прежде всего, вопрос о характере и количестве вооружений решат сами американские потребители. Те американцы, которым нравятся подводные лодки с ракетами Polaris на борту и которые при этом опасаются советской угрозы, подпишутся на их финансирование. Предпочитающие систему противоракетной обороны будут инвестировать в создание и развертывание соответствующих ракетных систем. Не верящие в реальность советской угрозы, а также убежденные пацифисты, не будут участвовать в финансировании национальной обороны. Разные концепции обороны будут реализованы в той мере, в какой они получат поддержку населения. Поскольку на всем протяжении истории во всех странах на войны и подготовку к войнам тратилось намного больше, чем было нужно, не столь уж бессмысленно предположение, что частные, добровольные усилия подготовят страну к обороне намного лучше, чем любое правительство. И уж определенно эти усилия будут намного более моральными.

Но давайте предположим наихудший исход. Предположим, что Советский Союз в конечном итоге вторгся и захватил территорию Америки. Что тогда? Следует отдавать себе отчет, что тут перед завоевателем начнут вставать самые серьезные проблемы. Покоренной страной можно править только потому, что в ней наличествует государственный аппарат, доводящий до населения приказы победителя и обеспечивающий их выполнение. Британия, столь значительно уступающая Индии по территории и населению, веками правила ею только потому, что местные раджи заставляли своих подданных выполнять распоряжения завоевателей. Но если на оккупированной территории отсутствовало эффективное правительство, завоеватели попадали в крайне непростую ситуацию. Когда британцы подчинили себе Западную Африку, они обнаружили, что племенем ибо (позднее сформировавшим Республику Биафра) очень трудно управлять, потому что оно было весьма свободолюбивым и не имело племенных вождей, которые могли

бы служить посредниками между своим народом и захватчиками. Англичанам потребовались столетия на подчинение себе древней Ирландии главным образом потому, что там не было государства и не было, соответственно, правительственного аппарата, который мог бы выполнять договоры и передавать населению приказы. Именно по этой причине англичане обвиняли «диких» и «нецивилизованных» ирландцев в вероломстве – они не выполняли договоров, заключенных с английскими захватчиками. Англичане так и не смогли понять, что в Ирландии не было государства, а потому воины, заключавшие договоры с англичанами, представляли *только* самих себя – они не были представителями никакой другой группы ирландского населения.

Более того, жизнь русских оккупантов будет особенно невыносимой из-за неизбежной партизанской войны. Таков один из важнейших уроков XX века, впервые преподанный двумя столетиями назад, когда американские революционеры сумели нанести поражение могущественной Британской империи. Никакая армия не способна надолго удерживать в подчинении народ, исполненный решимости сопротивляться. Если уж гигантские Соединенные Штаты со всей их экономической и военной мощью не смогли подчинить себе сравнительно малочисленное и не очень хорошо вооруженное население Вьетнама, каким образом мог бы Советский Союз подавить сопротивление американского народа? Жизнь солдат русской оккупационной армии постоянно была бы в опасности. В партизанской войне невозможно победить, потому что воюет не центральное правительство, а сам народ, люди, отстаивающие свою свободу и независимость от иностранного государства. Можно быть уверенным, что, предвидя бесконечное множество проблем, гигантские расходы и потери, неизбежно сопутствующие такому предприятию, советское правительство откажется от попытки завоевать Америку.

13. Сохранение ресурсов, экология и рост

Недовольство либералов

Леволиберальные интеллектуалы – это изумительный объект наблюдений. За последние три или четыре десятилетия – краткий миг на часах человеческой истории – они с энергией, достойной лучшего применения, выдвинули ряд серьезных обвинений в адрес рыночного капитализма. Примечательно, что каждое очередное обвинение противоречило хотя бы одному из предыдущих. Но эта противоречивость нимало не смущала либеральных интеллектуалов и не ослабляла их гнева, хотя в быстрой смене позиций нередко участвовали одни и те же люди. Меняя позицию, они сохраняли изумительную уверенность в собственной правоте.

Рассмотрим основные этапы леволиберальной эволюции:

1. В конце 1930-х и начале 1940-х годов либеральные интеллектуалы пришли к выводу, что капитализм страдает от неизбежной вековой стагнации, причина которой заключается в замедлении роста населения, исчезновении еще неосвоенных территорий и остановке технического прогресса – все возможное человечество уже изобрело. В общем, возникала перспектива вечной стагнации, массовой безработицы и необходимости замены капитализма системой государственного планирования. Все это говорилось накануне величайшего бума в американской истории!

2. В 1950-х годах, несмотря на послевоенный экономический бум, либеральные интеллектуалы не сбавляли обороты – на повестке дня был культ экономического роста. То есть рост имел место, но был недостаточно быстрым. Поэтому срочно требовался отказ от рыночного капитализма и переход к политике государственного вмешательства с целью ускорения экономического роста, наращивания инвестиций и сбережений, питающих этот рост, даже если бы мы *не хотели* столь быстрого роста.

3. В 1958 году на либеральной сцене объявилась новая звезда – Джон Кеннет Гэлбрейт с его бестселлером «Общество изобилия». И либеральные интеллектуалы как по команде поменяли позицию. Теперь вся беда оказалась опять-таки в капитализме, который, как выяснилось, растет *слишком быстро*; стагнация больше никого не тревожила, а проблемой стало *чрезмерное благополучие* – в мире супермаркетов и сияющих

лимузинов люди теряли духовность. Что следовало делать? Правильно, правительство должно было вмешаться и с помощью налогов избавить потребителей от излишнего богатства.

4. Страх перед чрезмерной зажиточностью длился недолго. Его сменила озабоченность проблемой бедности, которую возбудила опубликованная в 1962 году книга Майкла Харрингтона «Другая Америка». Но хотя проблемой теперь стало не богатство, а растущая бедность, лекарство осталось прежним – правительство должно вмешаться, ввести плановое развитие и обложить налогами богатых, чтобы помочь бедным. На несколько лет мы вовлеклись в войну с бедностью.

5. Стагнация, замедленный рост, чрезмерное изобилие, зияющая бедность – интеллектуальные моды менялись, как длина дамских юбок. В 1964 году к счастью просуществовавший недолго Комитет по тройной революции выпустил нашумевший тогда манифест, замкнувший цикл интеллектуального круговращения. Два или три безумных года мы носились с идеей, что беда Америки – не стагнация, а ее прямая противоположность: в ближайшие годы все предприятия в Америке будут автоматизированы и компьютеризированы, производство и доходы неизмеримо возрастут, но при этом *все* окажутся безработными. Рыночный капитализм неизбежно порождает массовую безработицу, а лекарство от нее – легко догадаться! – энергичное вмешательство государства или откровенный социализм. В середине 1960-х годов мы несколько лет страдали от того, что было метко названо «истерией автоматизации»[1].

6. К концу 1960-х годов всем стало ясно, что автоматизации боялись напрасно, что она идет примерно с той же скоростью, с какой некогда шла механизация, да и вообще из-за рецессии 1969 года рост производительности труда замедлился. В наши дни об ужасных перспективах автоматизации уже никто не вспоминает. Сегодня мы пребываем в седьмой фазе либерального круговращения.

7. Теперь мы снова чрезмерно богаты, капитализм растет слишком быстро, и все озабочены проблемами экологии и исчерпания природных ресурсов. Необходимы государственное планирование или социализм, способные остановить рост и построить общество и экономику с нулевым ростом, чтобы избежать в некоем отдаленном будущем отрицательного роста, или движения вспять. Мы вернулись к позиции Гэлбрейта, которую усилили наукообразными разглагольствованиями о промышленных отходах, экологии и «космическом кораблике Земля», а главным злом стали промышленные технологии. Капитализм навязал человечеству технологии и рост (в том числе

рост населения, промышленности и загрязнения среды), и только правительство может избавить нас от всех этих бед.

Не так уж редко приходится сталкиваться с людьми, занимающими внутренне несовместимые позиции 5 и 7,которые *в одно и то же время* утверждают, что: а) мы живем в эпоху изобилия, а потому больше не нуждаемся в частной собственности, капитализме или материальных стимулах к производству, и б) что капиталистическая алчность ведет к стремительному истощению ресурсов и толкает мир к дефициту всех жизненно важных вещей. На все эти проблемы либералы дают традиционный для себя ответ: рыночный капитализм должен быть заменен социализмом или государственным планированием. Великий экономист Йозеф Шумпетер еще поколение назад дал замечательно лаконичную характеристику позиции либеральных интеллектуалов:

… капитализм предстал перед судьями, в карманах у которых уже лежит его смертный приговор. Они его и вынесут, какие бы доводы не приводила защита; единственный успех, на который может рассчитывать обвиняемый,– это измененная формулировка обвинительного акта[2].

Итак, могут быть выдвинуты другие обвинения, но другого приговора ждать не приходится.

Критика технологий и экономического развития

Модную атаку на экономический рост и богатство ведут хорошо устроившиеся в жизни, довольные собой либералы из высшего класса. Когда есть возможность наслаждаться материальным достатком и уровнем жизни, о котором не могли и мечтать самые богатые люди прошлого, легко высмеивать материализм и призывать к замораживанию экономического прогресса[3]. Разговоры об остановке роста, когда в мире еще полно нищеты и убожества, просто непристойны, и даже в Соединенных Штатах рано пока говорить о пресыщенности и сверхизобилии. Да и сами либералы из высшего класса не были пока замечены в отказе от своего жалованья в качестве вклада в войну с материализмом и изобилием.

Широкая атака на технологии еще более безответственна. Если вернуть технологии к уровню доиндустриального мира, результатом окажутся массовый голод и беспрецедентное вымирание человечества. Выживание большей части мирового населения зависит от современных технологий и промышленности. В доколумбову эпоху Североамериканский

континент мог прокормить примерно миллион индейцев, и жили они чрезвычайно бедно. Сегодня благодаря современным технологиям и промышленности здесь могут жить несколько сот миллионов человек, и все они имеют намного более высокий уровень жизни. Ликвидируйте современную промышленность, и вы ликвидируете людей. Можно предположить, что нашим борцам с перенаселенностью такое решение демографической проблемы вполне подходит, но подавляющее большинство остальных людей такое варварское «окончательное решение» никак не устраивает.

Безответственная атака на технологии – это очередной либеральный перевертыш: с этими лозунгами носятся те же самые либеральные интеллектуалы, которые 30 лет назад отвергали капитализм за неспособность в полной мере использовать потенциал современной техники, призывали к введению государственного планирования и передаче власти новой технократической элите. Сегодня те же самые интеллектуалы, еще недавно призывавшие к диктатуре технократов, пытаются лишить нас жизненно важных достижений современных технологий.

При этом противоречащие сами себе кульбиты либеральной мысли продолжаются, и многие из противников современных технологий, забыв о прежних страхах перед сплошной автоматизацией и массовой безработицей, теперь с *прежней* уверенностью пророчат остановку технического прогресса. Они жизнерадостно предвидят, что ускоренное развитие и совершенствование технологий уже позади, и предсказывают человечеству мрачное будущее. Таковы методы псевдонаучного прогнозирования знаменитого Римского клуба с его идеологией остановки технического прогресса. Как пишут Пассел, Робертс и Росс в своей критике Доклада Римского клуба, «если бы телефонные компании сохранили технологию начала XX века, сегодня для обслуживания телефонных звонков потребовалось бы держать на коммутаторах 20 миллионов телефонисток». Или, как заметил британский публицист Норман Макре, «при сохранении транспортных технологий 1880-х годов современные города были бы погребены под многометровым слоем конского навоза»[4]. Или так:

Модель [Римского клуба] исходит из того,что потребности промышленности и сельского хозяйства будут расти по экспоненте, но при этом произвольно ограничивает темпы технического прогресса, способные удовлетворить эти потребности…

Преподобный Томас Мальтус двести лет назад пришел к

сходным выводам без помощи компьютеров… Мальтус доказывал, что численность населения увеличивается по экспоненте, а вот производство продуктов питания растет в лучшем случае линейно. Он предположил, что для восстановления равновесия потребуются периодические войны и массовый голод…

Единственным объяснением подобного рода спекуляций может служить близорукость. Мальтус ошибся – производство продовольствия увеличивалось теми же темпами, что и рост населения. И хотя будущее всегда туманно, можно утверждать, что технический прогресс не подает сигналов торможения. Согласно лучшим эконометрическим оценкам, здесь имеет место экспоненциальный рост[5].

Нам нужно не замедление, а ускорение экономического роста, нужны более мощные и более совершенные технологии, а не абсурдные попытки уничтожить современную промышленность и вернуться в каменный век. Совершенствование технологий и увеличение инвестиций в основной капитал приведут к повышению уровня жизни для всех и обеспечат не только материальное благополучие, но и досуг для наслаждения духовной стороной жизни. У людей, которые вынуждены беспрестанно надрываться, чтобы заработать на пропитание, очень мало возможностей общения с культурой или цивилизацией. Реальная проблема состоит в том, что инвестиции в производственный капитал поглощаются налогами, ограничениями и расточительными и непроизводительными правительственными расходами, в том числе на военные и космические цели. Более того, драгоценные интеллектуальные ресурсы, ученые и инженеры, все чаще отвлекаются от производства гражданской продукции на выполнение заказов государства. Нам нужно, чтобы правительство убралось с дороги, избавило экономику от гнета налогов и правительственных программ, предоставило производительным и техническим ресурсам всецело посвятить себя благосостоянию масс потребителей. Нам нужны рост и более высокий уровень жизни, нужны технологии и производственное оборудование, удовлетворяющие потребности потребителей, но для всего этого необходимо предварительно избавиться от демонов этатизма и направить энергию всего населения в русло свободной рыночной экономики. Нам нужен порождаемый свободным рынком экономический и технологический рост, а не искажения и расточительность, с 1950-х годов навязываемые мировой экономике либералами с их этатистскими идеями. Короче говоря, нам нужна подлинно свободная рыночная либертарианская экономика.

Сохранение ресурсов

Мы уже отметили, что те же самые либералы, которые утверждают, что мы уже вступили в эпоху изобилия, а потому не нуждаемся в дальнейшем экономическом росте, громче всех кричат о том, что капиталистическая алчность разрушает скудные природные ресурсы Земли. Так, грозящие ужасом и разорением пророки Римского клуба, механически экстраполируя сегодняшние тенденции, самонадеянно предсказывают, что в течение 40 лет нас ждет истощение всех жизненно важных видов сырья. Но ведь и в прошлые века подобных предсказаний – не менее уверенных – было немало.

Эти пророки не смогли понять ту важнейшую роль, которую экономические механизмы свободного рынка играют в сохранении и наращивании запасов природных ресурсов. Возьмите, к примеру, типичный медный рудник. Почему вся медная руда не была выбрана задолго до нашего времени для удовлетворения ненасытного спроса нашей индустриальной цивилизации? Почему получается так, что после того, как медная жила найдена и начала разрабатываться, горняки не добывают сразу всю содержащуюся в ней медь, а вместо этого действуют экономно, разведывают новые запасы и разрабатывают залежи меди постепенно, год за годом. Потому что владельцы рудника понимают, что, утроив добычу медной руды *в этом году*, они могут утроить доход за этот год, но при этом ускорят истощение запасов и тем самым понизят будущие доходы от этого рудника. На рынке сокращение будущих доходов немедленно отражается на цене рудника. Продажная цена и курс акций основаны на оценке будущего дохода от добычи руды, так что истощение запасов приведет к понижению цены рудника в целом и, соответственно, к падению курса его акций. Поэтому каждому владельцу рудника приходится сопоставлять выгоды от увеличения текущего дохода от добычи медной руды и убытки от понижения стоимости основного капитала рудника в целом и, соответственно, от понижения курса его акций.

Решения владельцев рудников определяются их расчетами на будущий спрос и будущую прибыль от добычи руды, оценками будущих ставок процента. Представьте себе, что появился некий синтетический металл и через несколько лет спрос на медь должен упасть до нуля. В этом случае владельцы рудников постараются произвести как можно больше меди сейчас, пока она еще чего-то стоит, и не станут заботиться о будущих запасах, когда медь окажется не нужна, так что потребители и экономика в целом выиграют от того, что будет произведено больше меди

сейчас, когда на нее есть спрос. Однако если ожидается нехватка меди, владельцы рудников ограничат добычу, чтобы произвести больше в будущем, когда цены на медь вырастут, – и в этом случае общество снова будет в выигрыше, потому что, когда спрос на медь поднимется, ее будет произведено больше. Таким образом, рыночная экономика обладает замечательным механизмом, благодаря которому решения собственников ресурсов о величине производства сегодня и в будущем приносят выгоду не только им самим, но и массе потребителей и экономике в целом.

Но этим возможности рыночного механизма не исчерпываются. Предположим, в будущем ожидается повышение спроса на медь. В результате часть медных запасов немедленно будет выведена из производства для того, чтобы удовлетворить будущий спрос. Цена на медь повысится. Повышение цены будет иметь ряд «сберегающих» эффектов. Во-первых, это сигнал потребителям меди, что она становится более редкой и дорогой, что побудит их экономнее использовать этот подорожавший материал. Они постараются использовать меньше меди и по возможности заменять ее более дешевыми металлами и пластмассами, так что она по преимуществу начнет использоваться только там, где ее нечем заменить. Более того, повышение цен на медь подтолкнет к: а) поиску ее новых месторождений и б) к поиску ее дешевых заменителей и, возможно, к новым технологическим решениям. Повышение цены создаст также заинтересованность в более экономном использовании отходов. Именно механизм рыночных цен нужно благодарить за то, что медь и другие ценные ресурсы не исчезли давным-давно. Как пишут Пассел, Робертс и Росс,

в модели Римского клуба запасы природных ресурсов и потребности в них рассчитаны… без учета переменной «цена», влияющей на то, как будут использованы ресурсы. В реальном мире рост цен является сигналом о необходимости более экономно расходовать редкие ресурсы, что подталкивает, прежде всего, к использованию более дешевых материалов, стимулирует изучение более экономных способов использования и поиск новых источников сырья[6].

На деле, вопреки мрачным прогнозам, цены на сырье и природные ресурсы остались низкими и в целом даже понизились относительно других цен. Для либеральных и марксистских интеллектуалов это признак капиталистической эксплуатации неразвитых стран, специализирующихся на производстве всевозможного сырья. Но в действительности это говорит совершенно об ином, о том, что природные ресурсы стали не

большей, а меньшей редкостью, а потому и цены на них стали сравнительно ниже. Производство их дешевых заменителей, таких как пластмассы или синтетические волокна, тоже содействовало дешевизне и изобилию естественных ресурсов. В недалеком будущем можно ожидать, что современная технология откроет доступ к поразительно дешевому источнику энергии, к энергии ядерного синтеза, а это автоматически обеспечит человечество изобилием практически любого сырья.

Пророки грядущих катастроф проглядели развитие синтетических материалов и дешевой энергии, которые составляют жизненно важную часть современных технологий: *создаются* новые ресурсы там и из того, что прежде никаким ресурсом не было. Например, до появления керосиновых ламп и автомобилей нефть была не ресурсом, а никому не нужной черной грязью. Только развитие современной промышленности превратило нефть в полезный ресурс. Более того, современные технологии и совершенствование методов геологической разведки позволяют быстро увеличивать объем еще не добытых запасов нефти.

В предсказании грядущего истощения ресурсов нет ничего нового. В 1908 году президент Теодор Рузвельт созвал конференцию по естественным ресурсам и заявил об угрозе их «неминуемого исчерпания». На той же конференции сталепромышленник Эндрю Карнеги предсказал, что к 1940 году запасы железной руды на Верхнем озере будут исчерпаны, а железнодорожный магнат Джеймс Д. Хилл заявил, что через десять лет нам негде будет брать лесоматериалы. И не только их: Хилл даже пророчил, что грядет нехватка зерна, и это в Соединенных Штатах, где мы до сих пор решаем проблему *избытка* зерна, порожденную нашей системой субсидирования сельского хозяйства. Сегодня мрачные пророчества строятся на той же основе – не учитываются ни особенности рыночной экономики, ни возможности современных технологий[7].

Нужно признать, что и в прошлом, и в наши дни отдельные виды природных ресурсов действительно истощаются. Но в каждом таком случае причина не в капиталистической алчности, а, напротив, в том, что правительство препятствует установлению полноценной частной собственности на эти ресурсы.

Примером могут служить лесоматериалы. В Канаде и на американском западе большая часть лесов принадлежит государству (федеральному правительству или местным органам власти). Государство сдает леса в аренду частным лесозаготовителям. Попросту говоря, частная собственность существует только на годовое *использование* ресурса, а не на сам

ресурс, не на лес. В этой ситуации лесозаготовительные компании не владеют самим капиталом, а потому могут не беспокоиться о его истощении. Компании не заинтересованы в том, чтобы экономно обходиться с ресурсом или проводить лесонасаждения. Не имея интереса в поддержании и сохранении лесных богатств, они думают только о том, как быстрее спилить как можно большее число деревьев. В Европе, где частные леса – явление более обычное, почти не слышно жалоб на истощение лесных ресурсов. Когда лес находится в частной собственности, владельцу выгодно заботиться о его сохранении и восстановлении, о том, чтобы избежать истощения своего основного капитала[8].

Таким образом, в Соединенных Штатах дело упирается в Службу охраны лесов Министерства сельского хозяйства, которой принадлежат леса и которая ежегодно продает право на рубку леса, что ведет к истощению лесных ресурсов. А вот в частных лесах, эксплуатируемых крупными компаниями, такими как Georgia-Pacific и U. S. Plywood, видна деятельная забота о восстановлении вырубленных деревьев, и о сохранности их лесных ресурсов можно не беспокоиться[9].

Другим печальным примером того, куда ведет отсутствие частной собственности на ресурсы, может служить история западных прерий в конце XIX века. Каждый любитель вестернов знаком с таинственностью «открытых просторов» и жестокими войнами между овцеводами, ковбоями и фермерами за пастбища. «Открытые просторы» или ранчо были результатом неудачи американского правительства в проведении политики приватизации новых земель в условиях засушливых степей к западу от Миссисипи. На востоке бесплатно закрепляемые за первопоселенцами на государственных землях 160 акров обеспечивали приличные условия для ведения фермерского хозяйства в условиях влажного климата. Но в условиях засушливого запада для успешного разведения овец или крупного рогатого скота 160 акров не хватало. А федеральное правительство отказалось выделять скотоводам более 160 акров. Так и появились «открытые просторы», иначе говоря, скот начали бесконтрольно пасти на ничейных (т.е. государственных) пастбищах. Поскольку земля никому не принадлежала, каждому скотоводу было выгодно как можно быстрее стравливать пастбища, пока этого не сделали овцы или коровы другого скотовода. Результатом недальновидного отказа от передачи крупных участков прерий в частные руки стало выбивание, чрезмерное стравливание пастбищ, и никто не тратил средства на их восстановление, потому что в отсутствие прав собственности

на землю заниматься этим бессмысленно. Это привело к выбиванию прерий и возникновению пылевых бурь. Отсюда же незаконные попытки фермеров и скотоводов взять закон в собственные руки и огородить кусок прерий в частную собственность, что часто приводило к войнам за пастбища.

Профессор Сэмюель П. Хейс, автор истории движения за охрану природных богатств в Америке, пишет о проблеме ничейных прерий:

На западе промышленное животноводство развивалось на «открытых» пастбищах, которые принадлежали федеральному правительству, но могли использоваться кем угодно… Конгресс так и не принял законов, регулирующих использование пастбищ или разрешавших их приватизацию. Скотоводы выгораживали участки степей для своего исключительного пользования, но конкуренты резали проволоку. Овцеводы и ковбои обращались к насилию и разрешали конфликты за пастбища, вырезая чужой скот и убивая конкурентов… Отсутствие элементарной собственности на землю порождало замешательство, ожесточение и разруху.

В условиях этого хаоса государственные степи стремительно деградировали. Первоначально покрытые буйным разнотравьем, они быстро приходили в упадок под давлением слишком многочисленных стад… В ничейных степях развели слишком много скота, его не могли прокормить. Опасаясь, что другие могут его опередить, каждый скотовод слишком рано начинал выпас, трава еще не успевала созреть и дать семена. В этих условиях качество пастбищ быстро ухудшалось, а их производительность падала; сочные многолетние травы быстро заглушались однолетними, а однолетние – сорняками[10].

Хейс утверждает, что в результате этого процесса кормовой потенциал ничейных степей снизился более чем на две трети. Есть еще одна жизненно важная область, где отсутствие частной собственности на ресурсы было и остается причиной не только истощения, но и невозможности заниматься развитием потенциально огромных ресурсов. Речь идет о многообещающих богатствах Мирового океана. Океаны – это международное общественное достояние, иными словами, никакое частное лицо, компания и даже национальное правительство не имеет права собственности на часть океана. В результате океаны остаются в том же первобытном состоянии, в каком была земля до возникновения сельского хозяйства. Первобытные люди занимались охотой и собирательством, т.е. охотились на диких животных и собирали съедобные семена, орехи, плоды и коренья. Первобытный человек пассивно приспосабливался к природной

среде, вместо того чтобы активно ее изменять. Он жил за счет земли, не предпринимая попыток облагородить ее. В результате земля была непродуктивна, и огромные территории могли дать скудное пропитание сравнительно небольшому числу первобытных людей. Только с появлением сельского хозяйства, когда человек начал возделывать почву и улучшать ее, продуктивность земли начала расти, и вместе с ней резко повысился уровень жизни. Изобретение сельского хозяйства создало условия для развития цивилизации. Но развитие сельского хозяйства неразрывно связано с установлением частной собственности: сначала – на возделанные участки и урожай, а потом – и на саму землю.

Что же касается океана, мы до сих пор пребываем на непродуктивном этапе первобытной охоты и собирательства. Каждый может ловить в океане рыбу или извлекать какие-либо ресурсы, но только в качестве охотника и собирателя. Никто не может *возделывать* океан, заниматься в нем *водным хозяйством*. Из-за этого мы лишены возможности использовать безмерные рыбные и минеральные ресурсы морей. Если, например, кто-нибудь попытается возделывать море и повысить продуктивность рыбных мест с помощью удобрений, его усилия пропадут даром, потому что он не сможет помешать другим рыбакам ловить выращенную им рыбу. Потому-то никто и не пытается удобрять океан так, как мы удобряем землю. Более того, нет экономических стимулов, есть, пожалуй, только препоны – для исследования средств и способов повышения продуктивности рыбных мест или извлечения океанских минеральных ресурсов. Такие стимулы появятся только с возникновением прав собственности на участки океана, таких же, как ставшие привычными для нас права собственности на участки земли. Уже сегодня есть простой и эффективный метод повышения продуктивности рыбных мест: с помощью электроники можно огораживать части океана и разделять рыб по величине. Можно многократно увеличить запасы рыбы, если не давать крупным рыбам поедать мелких. Если бы в Мировом океане был введен режим частной собственности, океанские ресурсы были бы умножены методами водного хозяйства, и мы даже не можем себе представить, какие результаты тут возможны.

Национальные правительства безуспешно пытались справиться с проблемой истощения рыбных запасов с помощью иррациональных и лишенных экономического смысла ограничений на общую величину улова или продолжительность сезона добычи рыбы. В случае лосося, тунца и палтуса ограничение продолжительности сезона добычи способствовало

сохранению примитивных и непроизводительных методов лова, понижению качества пойманной рыбы и стимулированию чрезмерной интенсивности лова в сезон добычи – вместе с недоиспользованием рыболовецкого флота в течение года. И само собой разумеется, подобного рода правительственные ограничения никак не стимулировали развитие водного хозяйства. Как отмечают профессора Норт и Миллер,

рыбаки бедны, потому что вынуждены использовать неэффективное оборудование и заниматься ловом лишь малую часть года [из-за правительственного регулирования],а к тому же их слишком много. Потребитель платит за нерку намного больше, чем было бы необходимо при использовании эффективных методов рыболовства. Несмотря на постоянно растущую сеть запретов и ограничений, сохранение стада семги до сих пор не гарантировано.

Корнем проблемы является отсутствие права собственности. Ни один рыбак не заинтересован заботиться о поддержании численности семги. Напротив. В его интересах за сезон добычи выловить как можно большерыбы[11].

Норт и Миллер отмечают, что права частной собственности в океане, позволяющие собственнику использовать самые дешевые и эффективные технологии, при этом сохраняя и повышая продуктивность ресурсов, сегодня доступнее, чем когда-либо: «Изобретение современной электронной сенсорной аппаратуры позволяет сравнительно легко и дешево контролировать большие участки водной поверхности»[12].

Обострение международных конфликтов за части Мирового океана только подчеркивают особую важность установления здесь прав частной собственности. Когда Соединенные Штаты и другие страны объявили своей 200-мильную прибрежную зону, когда частные компании и правительства ссорятся, а рыбаки, нефтяники и добывающие компании воюют за одни и те же участки океана, значимость прав собственности наглядно и ощутимо растет. Как пишет Фрэнсис Кристи,

в шахтах, расположенных под дном океана, добывают уголь, нефть выкачивают с помощью платформ, опирающихся на дно и возвышающихся над водой, минералы можно черпать со дна с помощью драг… Морских животных, которые прикрепляют себя ко дну, можно собирать с подводных телефонных кабелей, придонных рыб вылавливают с помощью тралов, среднеглубинных рыб ловят на крючок или сетями, в которых иногда запутываются подлодки, тех, кто плавает на поверхности, берут с помощью сетей и гарпуна, а сама поверхность используется судами, перевозящими людей, грузы и оборудование для добычи подводных ресурсов[13].

Констатировав обострение конфликта, Кристи говорит о том,

что «моря пребывают в промежуточной стадии. Они переходят из ситуации, в которой прав собственности почти не существует, к такой, в которой определенные формы собственности станут доступны». В конечном итоге, заключает Кристи, «когда морские ресурсы станут достаточно ценными, возникнут исключительные права собственности»[14].

Загрязнение окружающей среды

Итак, можно признать, что режим полноценной частной собственности на ресурсы и свободный рынок обеспечивают защиту природных богатств и делают это намного эффективнее, чем правительство с его запретами и ограничениями. Но как обстоит дело проблемой загрязнения окружающей среды? Разве неконтролируемая капиталистическая алчность не приведет к обострению этой проблемы?

Прежде всего у нас есть голый эмпирический факт. Правительственная собственность и социализм не решают проблему загрязнения. Даже самые наивные сторонники государственного планирования признают, что загрязнение озера Байкал в Советском Союзе является памятником бездумного промышленного использования ценного природного объекта. Но только к этому проблема не сводится. Так, например, особенно остро стоит проблема загрязнения воздуха и водных путей, в частности рек. Но именно в эти две сферы доступ частной собственности закрыт.

Начнем с рек. Реки и моря обычно принадлежат государству, и полноценная частная собственность здесь запрещена. Но государственная собственность по определению ущербна, потому что правительственные чиновники хоть и могут контролировать все, что угодно, но не могут получить выгоду от повышения рыночной стоимости ресурсов. Они не могут продавать реки или акции на них, а поэтому не имеют экономической заинтересованности в сохранении чистоты и ценности рек. В чисто экономическом смысле реки ничьи, и получается, что загрязнение происходит с разрешения чиновников. Каждый имеет возможность сбрасывать в воду мусор и отходы. Но давайте посмотрим, что было бы, если бы частным фирмам было разрешено владеть реками и озерами. Если бы частная фирма владела, например, озером Эри, тогда каждый, выбросивший в озеро мусор, был бы должным образом привлечен к суду за нанесение ущерба частной собственности, и суд заставил бы его уплатить денежное возмещение и впредь воздерживаться от

подобных действий. Таким образом, только частная собственность может положить конец загрязнению – нанесению ущерба ресурсам. Из-за ничейности рек нет собственника, который мог бы защитить этот ценный ресурс от ущерба. А вот если бы кто-нибудь рискнул сбросить мусор или отходы в частное озеро (многие небольшие озера находятся в частной собственности), его быстро призвали бы к порядку – владелец не замедлил бы броситься на защиту своей Собственности[15]. Профессор Долан пишет, что

если бы Миссисипи была собственностью корпорации General Motors, можете быть уверены, что на стоящие на ее берегах предприятия и муниципалитеты обрушился бы поток исков и ее воды стали бы достаточно чистыми, чтобы максимизировать доходы от желающих платить за право пользования питьевой водой, отдыхать на реке и заниматься промышленным рыболовством[16].

Будучи собственником рек, правительство не только допустило их загрязнение, но, в качестве собственника городских канализационных сетей, и само является одним из самых активных загрязнителей. Уже существуют дешевые химические туалеты, которые перерабатывают отходы, не загрязняя воздух, почву или воду, но кто станет тратиться на них, если местные власти могут бесплатно сбрасывать канализационные стоки в окружающую среду?

Этот пример указывает на проблему, подобную той, что сдерживает правильную эксплуатацию морей и океанов из-за отсутствия частной собственности: пока правительства, будучи собственниками рек, допускают загрязнение вод, промышленность будет использовать технологии, загрязняющие реки. Пока собственники рек допускают существование технологий, отравляющих реки, мы будем иметь именно такие технологии.

Допустим, что право частной собственности на реки и озера может решить проблему загрязнения вод, но как быть с загрязнением воздуха? Что могут предложить либертарианцы для решения этой нелегкой проблемы? Разве возможны права частной собственности на воздух? Еще как возможны! Нам уже известно, что радиочастоты могут быть предметом частной собственности. То же самое и с авиакомпаниями. Коммерческие авиамаршруты могут быть предметом частной собственности, и Управлению гражданского воздухоплавания нет нужды заниматься их распределением между авиационными компаниями. Но в случае с загрязнением воздуха мы имеем дело не столько с частной собственностью *на воздух*, сколько с защитой частной

собственности в виде наших легких, садов и полей. В загрязнении воздуха существенно то, что загрязнители выбрасывают в воздух нежелательные и опасные отходы производства – в виде дыма, радиации, двуокиси серы и т.д., и все это попадает в легкие невинных жертв и наносит ущерб их имуществу. Все подобные выбросы, наносящие вред личности или имуществу граждан, суть нанесение ущерба частной собственности пострадавших. В конце концов загрязнение воздуха точно также является причинением вреда, как и поджог чужого дома или причинение человеку физических увечий. Загрязнение воздуха – это просто-напросто причинение вреда другим людям. Главная функция государства – судов и полиции – останавливать причинение вреда, но оно не исполняет своих функций и не защищает всех тех, кто страдает от загрязнения воздуха.

Важно понять, что государство не справилось с задачей не в силу простого неведения, не потому, что должно пройти время от столкновения с новой технологической проблемой до того момента, когда люди найдут способ дать на нее достойный ответ. Некоторые современные загрязнители воздуха появились только недавно, но ведь дым и чад от фабричных труб известны со времен Промышленной революции, причем известны настолько, что американские суды в XIX веке принимали решения, разрешавшие дыму от промышленных предприятий наносить ущерб собственности граждан. При этом суды систематически изменяли и ослабляли защиту прав собственности, предусмотренную англосаксонским общим правом. До середины и даже до конца XIX века любое вредное загрязнение воздуха считалось гражданским правонарушением, помехой, и пострадавший мог требовать возмещения ущерба и прекращения дальнейшего причинения вреда его собственности. Но на протяжении всего XIX века суды систематически изменяли закон о халатности и закон о причинении вреда таким образом, чтобы *сделать возможным* загрязнение воздуха, не превышающее средний уровень, т.е. не выходящее за пределы сложившейся практики.

По мере того как заводы строились и начинали дымить, причиняя вред садам соседних фермеров, последние обращались в суд с исками, требуя возместить ущерб и прекратить дальнейшее причинение вреда их собственности. А судьи в ответ говорили примерно следующее: «Сожалеем. Нам известно, что промышленный дым (т.е. загрязнение воздуха) вредит вам и нарушает ваши права собственности. Но есть нечто *более важное*, чем права собственности – это государственная политика и „общее благо“.А общее благо заставляет признать, что

промышленность нужна, что без промышленного прогресса не обойтись, а потому ваши права частной собственности придется попрать ради общего благосостояния». Теперь все мы платим за это попрание частной собственности, и платой являются легочные и другие заболевания. И все это ради «общего блага»[17].

Тем же принципом руководствовались суды и в области развития воздухоплавания, что видно из решения суда штата Огайо в 1947 году, когда жители пригорода Акрона обратились в суд с требованием закрыть частный аэропорт. Основание – чрезмерный шум, нарушающий их право собственности. Суд отказал им в удовлетворении этого требования и мотивировал свою позицию следующим образом:

Принимая решение по этому делу, мы, являясь судом справедливости, должны не только взвесить противоположные интересы владельцев аэропорта и соседствующих с ним землевладельцев, но и признать интересы общества, в котором мы живем. Мы должны признать, что создание аэропорта… имеет большое значение для общества, и если такой аэропорт запретить или помешать его созданию, то результатом будет не только серьезное нарушение прав владельца этого аэропорта, но и серьезная потеря для всех жителей округа, которые лишатся ценного ресурса[18].

Продолжая преступление судей, законодатели всех уровней внесли свой вклад и запретили жертвам загрязнения воздуха подавать коллективные иски против загрязнителей. Понятно ведь, что если завод отравляет атмосферу города и страдают десятки тысяч человек, непрактично каждому подавать отдельный иск о возмещении ущерба (хотя судебного запрета мог бы добиться и один пострадавший от загрязнения воздуха).Поэтому общее право предусматривает возможность коллективных исков, когда один или несколько пострадавших могут возбудить иск от лица целого класса жертв загрязнения. Но законодатели систематически запрещали подавать коллективные иски против загрязнителей. Поэтому у каждого есть возможность взыскать по суду возмещение личного ущерба от загрязнения. Но при этом закон запрещает требовать возмещения ущерба от того, кто наносит вред большому числу людей в данной местности! Как пишет Фрэнк Бабб, «это как если бы правительство сказало тебе, что ты можешь попытаться защитить себя от вора, который украл лично у тебя, но оно не станет защищать тебя, если вор обокрал всех в твоем районе»[19].

Шум – тоже форма загрязнения воздуха: это звуковые волны, которые распространяются в воздухе и причиняют вред другим. Врачи только недавно начали изучать вредные последствия шума

для физиологии человека. Либертарианская правовая система сделает возможными коллективные иски о возмещении вреда и прекращении действий, порождающих чрезмерный и наносящий вред шум.

Таким образом, методы борьбы с загрязнением воздуха чрезвычайно просты и не имеют никакого отношения к многомиллиардным паллиативным правительственным программам, которые оплачиваются налогоплательщиками и даже не затрагивают существа проблемы. Достаточно было бы того, чтобы суды вернулись к своей функции защиты прав личности и собственности от вторжения извне и прекратили бы деятельность каждого, кто наполняет воздух загрязнениями. А как же быть со сторонниками технического прогресса? И куда девать нынешние технологии, которые загрязняют воздух? А как быть с ростом издержек, которые придется оплачивать потребителям?

Идея, что запрет загрязнения повысит стоимость промышленной продукции, столь же предосудительна, как популярный перед Гражданской войной Севера и Юга аргумент, что отмена рабства сделает хлопок слишком дорогим, а потому запрет рабства –дело в моральном отношении хорошее, но непрактичное. Иными словами, нужно позволить загрязнителям и дальше перекладывать издержки на тех, чьи легкие и собственность страдают от используемых ими технологий.

Более того, при этом игнорируется тот факт, что если позволить и дальше безнаказанно загрязнять воздух, то не будет экономических стимулов развивать экологически чистые, не загрязняющие технологии. Кроме того, экономические стимулы будут давить в прямо противоположном направлении. Представьте себе, например, что на заре автомобилизации суды заняли бы следующую позицию:

Вообще-то мы против того, чтобы грузовики заезжали на газоны, потому что это является нарушением права частной собственности, и мы настаивали бы на том, чтобы, несмотря на любые пробки, грузовики перемещались только по дорогам. Но грузовики жизненно важны для общего благосостояния, а следовательно, мы постановляем, что нужно разрешить им пересекать любые газоны, если это помогает облегчить дорожную ситуацию.

Если бы в свое время суды приняли такое решение, у нас и до сих пор грузовики систематически заезжали бы на газоны. И любая попытка прекратить это безобразие была бы отвергнута во имя необходимости защитить интересы общества и транспортных компаний! Но дело в том, что именно такую позицию заняли суды

в вопросе о загрязнении воздуха, а ведь это приносит нам всем куда больший вред, чем порча газонов и лужаек. Правительство с самого начала включило зеленый свет для загрязняющих технологий. Что же удивляться тому, что других технологий у нас нет? Единственное решение состоит в запрете загрязнения воздуха, что направит развитие технологий по другому руслу.

Даже сегодня мы располагаем методами борьбы с шумовыми и другими загрязнениями. Существуют, например, разные звукопоглотители и шумоглушители. Трубы и дымоходы можно оборудовать поглотителями, которые перехватывают вредные выбросы и превращают их в полезную продукцию. Так, из двуокиси серы, главного загрязняющего вещества, можно изготавливать необходимую промышленности серную кислоту[20]. Отравляющие атмосферу бензиновые двигатели можно, например, заменить чистыми двигателями – дизельными, газотурбинными, паровыми или электрическими. И как указывает либертариански мыслящий инженер Роберт Пул-мл., расходы по переходу на чистые технологии «лягут на потребителей продукции соответствующих фирм, а не так, как сейчас, когда они ложатся на третью сторону в форме загрязнения (или налогов)»[21].

Роберт Пул дает убедительное определение загрязнения: это «перенос вредного вещества или энергии на собственность или его воздействие на тело человека без согласия последнего»[22]. Либертарианское, единственно последовательное решение проблемы загрязнения воздуха заключается в использовании судов и правоохранительных органов для прекращения и предотвращения соответствующей деятельности. Уже появились признаки того, что правовой механизм начинает действовать в другом направлении: принимаются новые судебные решения и отменяются законы, запрещающие коллективные иски. Но это только начало[23].

В отличие от либертарианцев, консерваторы предлагают два сходных в конечном итоге решения проблемы загрязнения воздуха. Одни, как Айн Рэнд и Роберт Мозес, просто отрицают существование проблемы и приписывают всю борьбу с загрязнением левым политическим движениям, желающим разрушить капитализм и современную промышленность ради утверждения первобытных форм социализма. Хотя в этом обвинении есть доля истины, отрицать само существование проблемы значит отрицать саму науку и давать в руки левых аргумент, что защитники капитализма «ставят права собственности выше прав человека». Более того, защита тех, кто загрязняет воздух, даже не защищает их права собственности,

напротив, всего лишь защищает право промышленников нарушать права собственности основной массы граждан.

Другое консервативное решение проблемы предлагают такие экономисты-рыночники, как Милтон Фридман. Сторонники Фридмана признают, что загрязнение воздуха представляет собой проблему, но предлагают в ответ не защиту прав собственности, а утилитарный подход на основе вычисления выгод и издержек, при котором правительство должно решать, *какой объем* загрязнений совместим с интересами общества. После чего либо предприятия будут получать лицензии на определенное количество выбросов (право загрязнять) или платить налоги в пропорции к величине вредных выбросов, либо налогоплательщики будут платить предприятиям за отказ от загрязнения. Это решение не только наделило бы правительство огромными дополнительными полномочиями (во имя защиты свободного рынка!), но и сохранило бы практику нарушения прав собственности во имя защищаемых государством общественных интересов. Это решение далеко от идеалов подлинно свободного рынка и доказывает, что невозможно защитить свободы и свободный рынок, не защищая при этом права частной собственности. Гротескный совет Фридмана всем опасающимся заболеть эмфиземой легких горожанам переезжать в пригороды, напоминает печально знаменитое высказывание Марии-Антуанеты «Пусть едят пирожные» – и свидетельствует о безразличии к правам человека и правам собственности. Фактически позиция Фридмана типична для консерваторов: «Если вам здесь не нравится, можете уезжать», – и предполагает, что правительство по праву владеет территорией, а каждый, кто не согласен с заведенными им порядками, может убираться куда угодно. Предложенная Робертом Пулом либертарианская критика Фридмана позволяет взглянуть на позицию консерваторов с противоположной стороны:

Увы, но перед нами пример полного фиаско консервативных экономистов: в этом предложении нет даже упоминания о ***правах****. Защитники капитализма спотыкаются на этом уже 200 лет. Даже сегодня термин* ***laissez-faire*** *вызывает образ английского фабричного поселка XVIII века, окутанного дымом и почерневшего от копоти. В те давние времена капиталисты соглашались с судами, что дым и копоть – это цена, которую приходится платить за выгоды, приносимые развитием промышленности… Но экономическая свобода, оторванная от прав,– это явное противоречие; позиция* ***laissez-faire*** *опирается на идею прав человека и может быть жизнеспособной только в условиях нерушимости этих прав. В наши дни, когда растет понимание*

необходимости защищать природу это старое противоречие вернулось чтобы не давать покоя капитализму.

Воздух – это ***действительно редкий ресурс (как и говорят сторонники Фридмана), но возникает вопрос: почему же он редок? Если он редок из-за систематического нарушения прав, тогда решение не в том, чтобы повысить цену статус-кво, санкционировав тем самым нарушение прав, а в том, чтобы требовать защиты прав… Когда завод выбрасывает в воздух большое количество молекул двуокиси серы, которые кто-то вдыхает полной грудью и получает отек легких, владельцы завода нарушают его права и причиняют такой же вред, как если бы они сломали ему ногу. Этот момент приходится подчеркивать, потому что он принципиально важен для либертарианской позиции защиты экономических свобод. Свободно действующий загрязнитель – это явное противоречие, и это нужно ясно понимать. Либертарианское общество будет обществом полной ответственности, в котором каждый будет в полной мере отвечать за свои действия и за любые их вредные последствия***[24].

Правительство не только отказывается выполнять свой долг по защите частной собственности, но и вносит прямой вклад в загрязнение воздуха. Не так давно Министерство сельского хозяйства США, пренебрегая протестами фермеров, разбрызгивало с вертолета ДДТ на больших территориях. Оно и до сих пор продолжает сбрасывать тонны ядовитых и канцерогенных инсектицидов по всему югу в тщетной попытке справиться с огненными муравьями[25]. А Комиссия по атомной энергии насыщает радиоактивными отходами почву и воздух, когда проводит испытания ядерных зарядов и эксплуатирует ядерные электростанции. Атмосферу загрязняют муниципальные электростанции и водохозяйственные сооружения. Одна из главных задач государства состоит в том, чтобы прекратить загрязнение атмосферы.

Если требования и манифесты современных защитников природы очистить от путаницы и всякого вздора, мы обнаружим убедительную претензию к существующей системе, но это не претензия к капитализму, частной собственности, экономическому росту или новым технологиям как таковым. Нет, это претензия к правительству, отказывающемуся защищать права частной собственности и фактически санкционирующему их нарушение. Если бы была обеспечена полноценная защита прав частной собственности, мы обнаружили бы здесь, как и в других областях нашей общественной и экономической жизни, что частное предприятие и современные технологии – это не позор и

проклятие человечества, а его спасение.

14. Война и внешняя политика

Изоляционизм, левый и правый

Изоляционист — это позорная кличка, которой припечатывали противников вступления Америки во Вторую мировую войну. Поскольку это слово часто подразумевало приверженность нацизму, оно обозначало правых, причем с крайне неприятным душком. Подразумевалось, что даже если изоляционисты и не являются прямыми пособниками нацистов, то во всяком случае это люди недалекие и невежественные в делах этого мира — в отличие от умудренных, искушенных, *неравнодушных* интернационалистов, выступавших за активное участие Америки в мировой политике. В последнее десятилетие, разумеется, участников антивоенного движения считают леваками, и интервенционисты — от Линдона Джонсона до Джимми Картера — постоянно называют сегодняшних левых изоляционистами или, по крайней мере, неоизоляционистами.

Так левые или правые? В период Первой мировой противников войны записывали, так же как сегодня, в леваки, при том что среди них были либертарианцы и сторонники свободного капитализма. Собственно говоря, в центре противодействия американской войне с Испанией и подавлению восстания на Филиппинах на рубеже XIX и XX столетий были либеральные сторонники нестесненной экономической свободы, такие как социолог и экономист Уильям Грэм Самнер и бостонский торговец Эдвард Аткинсон, основавшие Антиимпериалистическую лигу». Более того, Аткинсон и Самнер были твердыми последователями великой традиции классического английского либерализма XVIII и XIX веков и, прежде всего, таких экстремистов, как Ричард Кобден и Джон Брайт из манчестерской школы. Кобден и Брайт оказывались во главе протестующих против каждой из войн, которые вела Британия, против каждого акта политического вмешательства за рубежом, и за эти достижения Кобден получил репутацию не изоляциониста, а интернационалиста[1].До конца 1930-х годов противников войны считали подлинными интернационалистами, противниками империалистической политики и сторонниками мира, мирной торговли, свободы иммиграции и мирного культурного обмена между народами всех стран. Иностранная интервенция интернациональна только в том смысле, что интернациональна сама война: насилие посредством угроз или с прямым участием

вооруженных сил всегда осуществляется через разделяющие народы границы между странами.

У изоляционизма есть привкус чего-то правого; нейтралитет и мирное сосуществование звучат на левый лад. Но смысл у всего этого один — против войны и политического вмешательства в дела других стран. Такой была позиция противников войны на протяжении двух столетий, будь это классические либералы XVII и XIX веков, леваки периода Первой мировой и холодной войн или реакционеры периода Второй мировой войны. Эти противники интервенционизма крайне редко выступали за буквальную изоляцию. В целом они были противниками вмешательства в дела других стран и выступали при этом за экономический и культурный интернационализм, т.е. за свободу мирной торговли, инвестиций и перемещения людей между странами. Все это образует основу либертарианской позиции.

Ограничить правительство!

Либертарианцы выступают за изгнание государства из всех сфер общественной жизни, за передачу тех функций, с которыми сегодня едва справляются правительственные структуры (полиция, суды и т.д.), структурам свободного рынка. Либертарианцы выступают за свободу как за естественное право человека, причем не только для американцев, но для всех народов. В чисто либертарианском мире не будет никаких министерств иностранных дел, потому что не будет государств, не будет правительств с их монопольным правом осуществлять принуждение на своей территории. Но поскольку мы живем в мире наций-государств, и эта система вряд ли исчезнет в ближайшем будущем, то каково отношение либертарианцев к внешней политике в этом мире, поделенном между государствами?

В ожидании устранения государства либертарианцы хотели бы *ограничить*, как можно сильнее урезать его власть и полномочия на всех уровнях. Мы уже продемонстрировали, как этот принцип разгосударствления может обеспечить решение важных внутренних проблем: достаточно как можно основательнее ужать роль правительства и высвободить стихийную энергию свободных людей, дать им возможность нестесненно действовать в условиях подлинно рыночной экономики. Во внешней политике цель та же самая — удержать государство от вмешательства в дела других стран или правительств. Политический изоляционизм и мирное

сосуществование, т.е. воздержание от давления на другие страны, являются для либертарианцев прямым аналогом политики *laissez-faire* во внутренних делах. Идея в том, чтобы ограничить действия правительства на международной арене точно так же, как мы пытаемся сковать его активность внутри страны. Изоляционизм или мирное сосуществование во внешней политике — это эквивалент жесткого ограничения полномочий правительства внутри страны.

Сегодня вся поверхность Земли разделена между всевозможными государствами, так что на каждой национальной территории правит центральное правительство, имеющее монополию на насилие в ее границах. Если говорить о международных отношениях, цель либертарианцев состоит в том, чтобы удерживать все государства от насилия в отношении других государств, чтобы тиранические наклонности каждого проявлялись только внутри собственной страны. Дело в том, что либертарианцы заинтересованы в том, чтобы как можно сильнее ограничить возможности государства вмешиваться в дела всех частных лиц. На международной арене этого можно добиться одним-единственным способом: народ каждой страны должен заставить государство ограничить свою деятельность той территорией, на которой оно обладает монопольными правами, и не нападать на другие государства, не вмешиваться в жизнь их подданных. Короче говоря, цель каждого либертарианца в том, чтобы в предельно допустимой степени урезать возможности каждого государства вторгаться в жизнь и собственность граждан. А это означает совершенную недопустимость войн. Народ каждого государства должен требовать от него не нападать на другие государства, а если конфликта избежать не удалось, то как можно быстрее с ним заканчивать.

Представим себе на миг мир с двумя гипотетическими странами — Граустарк и Белгравия. В каждой — свое государство. Что случится, если правительство Граустарка вторгнется на территорию Белгравии? С точки зрения либертарианца, это немедленно влечет за собой два катастрофических последствия. Во-первых, армия Граустарка начинает убивать невинное гражданское население Белгравии, убивать людей, которые не имеют никакого отношения к вероятным преступлениям ее правительства. Таким образом, ***война — это массовое убийство и массовое нарушение права людей на жизнь, на неприкосновенность — является, с точки зрения либертарианца, не просто преступлением, а самым большим из возможных преступлений***. Во-вторых, поскольку все правительства получают доход от воровства в форме

принудительного налогообложения, любая мобилизация войск и начало боевых действий означает повышение этой формы насилия. ***Либертарианец против войны по этим двум причинам: война — это всегда массовое убийство и повышение налогового насилия.*** Точка.

Так было не всегда. В Средние века масштаб военных действий был сравнительно невелик. До появления современных видов оружия вооруженные силы государств были столь ограничены, что правительства зачастую вынуждены были избирать предметом насилия только армии противостоящих правительств. Насилие в виде налогообложения при этом возрастало, но, по крайней мере, не было массовых убийств гражданского населения. И мало того, что незначительность огневой мощи вынуждала ограничивать насилие противостоящими армиями,— в то время еще не было централизованных наций-государств, которые могли бы выступать от имени всех жителей данной территории. Если одна группа королей или баронов воевала с другой такой же группой, никому не приходило в голову, что в этом должен участвовать каждый обитатель этой территории. Более того, массовых армий, преданных государству, еще не было, вооруженные силы представляли собой небольшие группы наемников. Нередко любимым спортивным зрелищем горожан были сражения, которые можно было рассматривать с высоты городских стен, и война воспринималась как своего рода спортивное состязание. Но с развитием современного государства, с появлением современного оружия массового уничтожения центральной частью военных действий стали массовые армии и убийство гражданского населения.

Представим себе, что, несмотря на противодействие либертарианцев, война все-таки началась. Понятно, что в условиях войны целью либертарианцев будет максимально уменьшить число жертв среди мирного населения. В прежнем международном праве было два прекрасных инструмента для достижения этой цели: «законы и обычаи войны» и «законы нейтралитета», или «права неприсоединившихся стран». Законы нейтралитета были зафиксированы, чтобы ограничить войну рамками столкновений между воюющими государствами и защитить от нападений невоюющие государства и, в частности, народы невоюющих стран. В этом и состоит смысл и значение таких почти забытых теперь американских принципов, как свобода морей или жесткие ограничения прав воюющих государств на блокаду торговли неприсоединившихся стран с воюющими сторонами. Короче говоря, либертарианец пытается

побудить нейтральные страны сохранять нейтралитет в любых межгосударственных конфликтах, а воюющие государства — в полной мере соблюдать права не участвующих в войне граждан. «Законы и обычаи войны» предназначены для того, чтобы в максимальной степени ограничить нарушение воюющими государствами прав гражданского населения своих стран. Вот что пишет об этом британский юрист Ф. Д. П. Вил:

> Фундаментальный принцип этого кодекса заключался в том, что военные действия между цивилизованными народами должны быть ограничены участвующими в войне вооруженными силами… Он проводит различие между участниками военных действий и не участвующими в них, устанавливая, что единственной задачей участников военных действий является сражение друг с другом, а следовательно, не участвующие в военных действиях должны быть исключены из круга военных операций[2].

В Западной Европе это правило, в модифицированной форме запрещавшее бомбардировку городов, находящихся вне линии фронта, соблюдалось на протяжении нескольких столетий, пока в ходе Второй мировой войны британцы не начали бомбить гражданские цели. Сегодня, естественно, вся эта концепция почти забыта, потому что сама природа современной ядерной войны предполагает уничтожение гражданского населения.

Вернемся к нашим гипотетическим Граустарку и Белгравии и предположим, что Граустарк вторгся в Белгравию, а третье правительство, Уоллдавии, вмешалось в войну, чтобы защитить Белгравию от агрессии. Оправдано ли это действие? Здесь перед нами зародыш возникшей в XX столетии пагубной теории коллективной безопасности, согласно которой, когда одно правительство нападает на другое, моральный долг всех других правительств мира заключается в том, чтобы сплотиться на защиту пострадавшего государства.

У концепции коллективной безопасности есть несколько роковых недостатков. Первый заключается в том, что когда Уоллдавия или любое другое государство ввязывается в войну, оно тем самым расширяет масштаб агрессии и усложняет обстановку, потому что при этом оно: 1) безвинно убивает массы гражданского населения Граустарка и 2) увеличивает налоговое насилие в отношении граждан самой Уоллдавии. Более того, 3) в наше время, когда граждан однозначно отождествляют с их государством, Уоллдавия подставляет своих жителей под ответный удар бомбардировщиков или ракет Граустарка. Таким

образом, вступление правительства Уоллдавии в войну ставит под угрозу сохранение жизни и собственности собственных граждан, о защите которых вроде бы должно заботиться правительство страны. Наконец, 4) при этом граждане Уоллдавии подвергаются более массовому призыву в ряды вооруженных сил.

Если такого рода меры коллективной безопасности действительно будут применены повсеместно, так что все Уоллдавии мира будут втягиваться в каждый локальный конфликт, расширяя и углубляя его масштабы, у каждой местной перестрелки появится перспектива превращения в общемировую бойню. У концепции коллективной безопасности есть еще один существенный порок. Идея вступления в войну для прекращения агрессии явно перенесена в международное право из сферы бытовых отношений между людьми. Смит избивает Джонса — он совершает агрессию против него. Прибывает полицейский наряд, чтобы спасти потерпевшего, осуществляется полицейская операция для прекращения агрессии. Подчиняясь логике этого мифа, например, президент Трумэн настаивал на том, что американское участие в Корейской войне представляет собой полицейскую операцию в рамках коллективных усилий ООН по прекращению агрессии.

Но термин «агрессия» имеет смысл только на уровне личных отношений между Смитом и Джонсом, так же как и термин «полицейская операция». Эти термины не имеют никакого смысла, когда речь идет об отношениях между государствами. Прежде всего, когда правительства вступают в войну, они тем самым сами осуществляют агрессию против не участвующего в войне гражданского населения, т.е. фактически становятся массовыми убийцами. Правильной была бы такая аналогия: Смит избивает Джонса, полиция спешит ему на помощь и, пытаясь образумить Смита, бомбит городской квартал и убивает тысячи людей либо поливает пулеметным огнем толпу невиновных горожан. Это намного более точная аналогия, потому что именно так поступают все воюющие правительства, а в XX веке они делали это в грандиозном масштабе. Но если полиция ведет себя подобным образом, она сама становится преступным агрессором, и зачастую намного худшим, чем Смит, напавший на Джонса.

Но у аналогии с межличностным конфликтом есть еще один глубокий порок. Когда Смит избивает или обворовывает Джонса, есть все основания видеть в этом агрессию против личности или прав собственности потерпевшего. Но когда государство Граустарк вторгается на территорию государства Белгравия, недопустимо говорить об агрессии в подобном смысле. Дело в том, что, с точки зрения либертарианца, ни одно правительство

не имеет права говорить о своем суверенитете в отношении данной территории или претендовать на собственность в ее отношении. Когда государство Белгравия утверждает свои права собственности на национальную территорию, это совершенно другая ситуация, чем когда мистер Джонс заявляет права на свою собственность (хотя его притязания тоже могут оказаться незаконными, а собственность — краденой). Ни у одного государства нет никакой законной собственности, а его территория является результатом агрессии и насильственного завоевания. Поэтому вторжение Граустарка оборачивается схваткой между двумя группами воров и агрессоров, и единственная проблема заключается в том, что у обеих воюющих сторон страдает ни в чем неповинное гражданское население.

Помимо этого общего разъяснения правового статуса правительств нужно иметь в виду, что государство-агрессор зачастую оправдывает свои действия против жертвы достаточно правдоподобными — в контексте системы наций-государств — причинами. Можно себе представить, что Граустарк пересек границу Белгравии, потому что столетием ранее последняя вторглась в Граустарк и захватила его северо-восточные губернии. Обитатели этих губерний в культурном, этническом и языковом отношении — настоящие граустаркцы. Теперь Граустарк вторгся в соседние пределы, чтобы наконец воссоединиться с братским населением потерянных столетие назад губерний. Кстати говоря, в этой ситуации либертарианец, резонно осуждая оба правительства за участие в военных действиях и убийство гражданского населения, будет на стороне Граустарка, имеющего притязания более справедливые — или, точнее, менее несправедливые. Можно сформулировать ситуацию следующим образом: если бы случилось невозможное и обе страны смогли бы вернуться к средневековым методам войны, когда: а) оружие было настолько маломощным, что гражданское население не несло материального и иного ущерба, б) в военных действиях участвовали наемники, а не массовые армии, формируемые на основе всеобщей воинской повинности, и в) войны финансировались за счет добровольных взносов, а не за счет налогов, тогда либертарианец мог бы безоговорочно поддержать притязания Граустарка.

Среди всех недавних войн этим трем критериям более всего отвечает справедливая война Индии за освобождение Бангладеш, имевшая место в конце 1971 года. Государство Пакистан было создано как последний ужасающий подарок Британской империи Индийскому субконтиненту. При этом доминирующую роль в новом государстве получили пенджабцы, проживающие в

Западном Пакистане, а подчиненное положение заняли более многочисленные и трудолюбивые бенгальцы, проживающие в Восточном Пакистане (впоследствии Бангладеш), и пуштуны, заселяющие северо-западные районы, граничащие с Афганистаном. Бенгальцы стремились обрести независимость, и в начале 1971 года им удалось получить большинство на парламентских выборах, после чего парламент был распущен, а пенджабские войска приступили к массовым убийствам гражданского населения Восточного Пакистана. Вмешательство Индии помогло силам, боровшимся за независимость Восточного Пакистана. Хотя во время войны возросли налоги и усилилась воинская повинность, индийская армия не использовала оружия против гражданского бенгальского населения. Напротив, имела место настоящая революционная война бенгальского населения против пенджабских оккупантов. Индийская армия воевала только с пенджабскими солдатами.

Этот пример указывает на еще одну характеристику военных действий: революционная партизанская война *может в большей степени* соответствовать либертарианским принципам, чем война между государствами. Просто в силу объективных обстоятельств партизаны защищают гражданское население от государственного хищничества. В силу этого партизаны, живущие в той же стране, что и враждебное им государство, не могут использовать оружие массового уничтожения, в том числе ядерное. Кроме того, поскольку партизаны полностью зависят от поддержки и помощи гражданского населения, им приходится заботиться о непричинении ему вреда и воевать исключительно с государственным аппаратом и вооруженными силами. Таким образом, партизанская война возрождает древнюю почтенную доблесть — разить врага и щадить мирных жителей. Партизаны, стремящиеся заручиться любовью масс, зачастую воздерживаются от налогообложения и воинского призыва, полагаясь исключительно на добровольную помощь людьми и снаряжением.

Либертарианские особенности партизанской войны характерны только для революционных сил. Что же касается контрреволюционных сил государства, это совсем иная история. Государство, как легко понять, не может для решения своих проблем взрывать ядерные бомбы на собственной территории, а потому оно ограничивается массовым террором — убийствами, запугиванием и зачистками гражданского населения. Поскольку партизаны вынуждены завоевывать поддержку большинства, государству приходится предпринимать усилия для запугивания этого населения или загонять его в концентрационные лагеря, чтобы лишить партизан всякой поддержки. Такую тактику

использовал испанский генерал Вейлер-и-Николау по прозвищу «мясник», который пытался разгромить силы кубинских повстанцев в 1890-х годах. И точно так-же действовали американские войска на Филиппинах, а британские — в войне с бурами. Той же логике подчинена злополучная политика «стратегических деревень» в Южном Вьетнаме[3*].

Либертарианская внешняя политика, таким образом, *далека* от пацифизма. В отличие от пацифистов, мы не считаем, что никто не имеет права обращаться к силе для самозащиты. Мы *утверждаем* только то, что ни у кого нет права призывать на военную службу, взимать налоги, убивать или использовать насилие для самозащиты. Поскольку все государства возникли в результате захвата своих нынешних территорий и существуют за счет агрессии против своих подданных, а войны между государствами сопровождаются убийствами невинного гражданского населения, такие войны всегда несправедливы, хотя некоторые из них несправедливее, чем другие. Партизанская война против государства, по крайней мере в принципе, может отвечать либертарианским критериям справедливой войны, поскольку она направлена исключительно против вооруженных сил и государственного аппарата, и при этом партизаны опираются на добровольную поддержку населения.

Американская внешняя политика

Мы убедились, что либертарианцы должны, прежде всего, бороться с агрессивностью своих *собственных* государств. Либертариански настроеные граждане Граустарка должны сконцентрироваться на попытках обуздать и свести к минимуму сферу деятельности своего государства, а либертарианцы Уоллдавии должны заботиться о сдерживании своего правительства. Во внешней политике либертарианцы каждой страны должны требовать от своих правительств воздерживаться от войны и вмешательства в дела других государств и добиваться немедленного прекращения военных действий, если они ведутся. Хотя бы по одной этой причине либертарианцы в Соединенных Штатах должны обратить все силы на борьбу с империалистической воинственностью своего государства.

Но есть и другие причины для того, чтобы обратить самое пристальное внимание на интервенционизм американской внешней политики. Ведь если взять XX век в целом, самым интервенционистским, воинственным и империалистическим государством были Соединенные Штаты. Это утверждение не

может не шокировать американцев, которым десятилетиями промывали мозги и внушали, что внешняя политика американского правительства неизменно была пронизана праведностью, мирными намерениями и преданностью идеалам справедливости.

Экспансионистские стремления Соединенных Штатов активно проявились в конце XIX века и преодолели морские границы в войне Америки против Испании за господство на Кубе, за присоединение Пуэрто-Рико и Филиппин, в жестоком подавлении филиппинской борьбы за независимость. Империалистическая экспансия Соединенных Штатов достигла наивысшей точки в ходе Первой мировой войны, когда президент Вудро Вильсон решил вмешаться в конфликт, чем затянул войну, вызвав новый виток массового кровопролития и ужасающих разрушений, которые стали непосредственной причиной триумфа большевиков в России и нацистов в Германии. Особый дар Вудро Вильсона окружил ореолом пиетистского морализма американскую политику мирового господства и интервенционизма, политику штамповки всех стран по американскому образцу, политику подавления радикальных или марксистских режимов, с одной стороны, и старомодных монархических правительств — с другой. Именно Вудро Вильсону довелось сформировать основные черты американской внешней политики на все XX столетие. Почти каждый следующий президент считал себя последователем Вильсона и продолжателем его политики. И не случайно, что Герберт Гувер и Франклин Д. Рузвельт, долгое время считавшиеся полными противоположностями друг друга, сыграли значительную роль в ходе Первой мировой войны, и оба потом использовали свой военный опыт при выстраивании своей внутренней и внешней политики. Когда Ричард Никсон стал президентом, он первым делом поставил на своем письменном столе портрет Вудро Вильсона.

Провозгласив политику национального самоопределения и коллективной безопасности, американское правительство последовательно проводило по всему миру политику мирового господства и подавления любых выступлений против охраняемого им режима статус-кво. Провозгласив мировую политику борьбы с агрессией, оно само стало главным агрессором и мировым полицейским.

Всякий, кому не нравится это описание американской политики, должен просто представить типичную реакцию Америки на *любой* внутренний или международный кризис в любой точке земного шара, даже в максимально отдаленной, в которой даже самое буйное воображение не сможет увидеть

источник прямой или даже косвенной угрозы для жизни и безопасности американского народа. Военный диктатор государства Бамблстан в опасности, возможно потому, что его подданные устали от того, что их эксплуатирует он и его соратники. Это вызывает беспокойство у Соединенных Штатов.Статьи журналистов, близких к Госдепу или Пентагону, распространяют тревогу о возможных последствиях для стабильности Бамблстана и его соседей в случае смещения диктатора — иными словами, он один из «наших».Чтобы вытащить из беды фельдмаршала Бамблстана, Соединенные Штаты спешно оказывают стране военную и экономическую помощь на миллионы и миллиарды долларов. Если «наш» диктатор спасен, слышатся вздохи облегчения и взаимные поздравления. При этом, разумеется, совершенно не берется в расчет притеснение американских налогоплательщиков и граждан Бамблстана. Если же, как порой случалось, диктатора Бамблстана удавалось сбросить, американскую прессу и официальные круги охватывала кратковременная истерия. Но спустя короткое время выяснялось, что американцы прекрасно живут своей жизнью и после потери Бамблстана, не хуже, а, пожалуй, даже лучше, чем прежде, если при этом расходы на оплачиваемую ими иностранную помощь Бамблстану удавалось сократить на пару миллиардов долларов.

Всем известно, что Соединенные Штаты попытаются на свой манер разрешить кризис в любой точке мира; это надежный показатель того, что Америка — это имперская и интервенционистская сверхдержава. Единственное место, где Соединенные Штаты не пытаются навязать свою волю,— это Советский Союз и коммунистические страны, но в прошлом такие попытки, естественно, предпринимались. Вудро Вильсон при поддержке Британии и Франции несколько лет пытался сокрушить большевизм в самом начале его пути, а войска союзников были посланы в Россию на помощь Белой армии, чтобы помочь ей в борьбе с красными. После Второй мировой войны Соединенные Штаты сделали все возможное, чтобы вытеснить Советы из Восточной Европы, и сумели выдавить их из северо-западных областей Ирана. Они также помогли Британии сокрушить коммунистический режим в Греции. Соединенные Штаты сделали все возможное, чтобы удержать у власти в Китае диктаторский режим Чан Кайши, помогли ему в переброске войск на север для оккупации Маньчжурии, когда русские вышли оттуда после окончания Второй мировой войны, и до сих пор мешают китайцам овладеть островами Кемой и Матсу. Утвердив на Кубе власть диктатора Батисты, Соединенные Штаты отчаянно

пытались сломить там коммунистический режим Кастро, и при этом ЦРУ не только организовало попытку высадки десанта в заливе Свиней, но и в союзе с мафией предпринимало покушения на жизнь Кастро.

Среди последних войн Америки самой болезненной была, несомненно, война во Вьетнаме. В этой войне проявились все трагические ошибки американской внешней политики нашего столетия. Американское вмешательство в дела Вьетнама началось, вопреки распространенному мнению, не при президенте Кеннеди и даже не при Эйзенхауэре или Трумэне. Оно началось 26 ноября 1941 года, когда правительство Франклина Рузвельта предъявило Японии резкий и оскорбительный ультиматум, потребовав от нее вывести войска из Китая и Индокитая, где впоследствии и образовался Вьетнам. Ультиматум США открыл путь к Перл-Харбору. Ввязавшись в войну на Тихом океане, чтобы вытеснить Японию с азиатского континента, Соединенные Штаты и ее Бюро стратегических служб (предшественник ЦРУ) помогали национальному движению сопротивления во главе с Хо Ши Мином. После Второй мировой войны коммунистический Вьетминя контролировал весь Северный Вьетнам. Но затем Франция, контролировавшая до войны Индокитай, нарушила соглашение с Хо и устроила резню сторонников Вьетминя. При этом Британия и Соединенные Штаты оказали французам помощь.

Когда французы признали свое поражение в Индокитае, Соединенные Штаты поддержали Женевское соглашение 1954 года, по которому Вьетнам должен был стать единым государством. Тогда все признавали, что послевоенное разделение страны на Северный и Южный Вьетнам было оправдано только случайностями и потребностями военного времени. Но Соединенные Штаты сумели с помощью всяких уловок выдавить Вьетминь из южной части Вьетнама, после чего взяли на себя роль Франции, а ее клиента, марионеточного императора Бао Дая, заменили своим ставленником, Нго Динь Дьемом, установившим в Южном Вьетнаме собственный диктаторский режим. Когда Дьем стал слишком неудобен, ЦРУ организовало переворот, Дьем был убит, а его место занял другой диктатор, Зыонг Ван Минь. Для победы над Вьетконгом — возглавляемым коммунистами национальным движением за освобождение Южного Вьетнама — Соединенные Штаты опустошили и Южный и Северный Вьетнам: в джунгли была послана полумиллионная американская армия, и в ходе военных действий погиб миллион вьетнамцев.

В ходе трагического вьетнамского конфликта Соединенные

Штаты поддерживали миф, что эта война представляет собой агрессию коммунистического Северного Вьетнама против дружественного и прозападного (что бы это ни означало) Южного Вьетнама, который обратился к США с просьбой о помощи. В действительности эта война представляла собой изначально обреченную на поражение попытку заставить подавляющее большинство вьетнамского населения отказаться от своего выбора — попытку навязать южной части страны, в том числе с помощью прямого геноцида, непопулярный диктаторский режим.

Американцы не привыкли применять термин «империализм» к действиям своего правительства, хотя здесь это слово чрезвычайно уместно. В самом широком смысле *империализм* можно определить как агрессию государства *A* против народа страны *B* и удержание этого народа в состоянии подчинения с помощью мер насилия. В нашем примере империалистическим можно считать правление государства Граустарк в бывших северо-восточных губерниях Белгравии. Но империализм возможен и без прямого господства над населением другой страны. В XX веке на первый план вышел неоимпериализм, представляющий собой более утонченную и менее бросающуюся в глаза форму империализма. В этой ситуации имперское государство осуществляет контроль над другой страной через свое влияние на правящий в ней зависимый режим. Эту версию современного западного империализма язвительно описал либертарианский историк Леонард Лиджио:

> Империалистическое господство западных стран… навязало народам мира двойную или усиленную систему эксплуатации — империализм, при котором западные правительства поддерживают местные правящие режимы в обмен на возможность дополнить западной эксплуатацией существующую эксплуатацию со стороны местных государств[4].

Такой взгляд на Америку как на мировую империю утвердился среди историков в последние годы благодаря убедительным научным трудам выдающейся группы «новых левых» историков-ревизионистов, вдохновленных трудами профессора Уильям Эпллмана Уильямса. Но эту же позицию занимали консервативные и либеральные изоляционисты в ходе Второй мировой и на ранних этапах холодной войны[5].

Позиция изоляционистов

Последнее выступление старых консервативных и либеральных изоляционистов против интервенционизма и империализма состоялось во время войны в Корее. Консерватор Джордж Моргенштерн, главный автор передовиц в Chicago Tribune и автор первой ревизионистской книги по истории нападения на Перл-Харбор, опубликовал в правом вашингтонском еженедельнике Human Events статью, в которой представил мрачный перечень империалистических акций правительства Соединенных Штатов, начиная с Испано-американской войны и кончая войной в Корее. Моргенштерн отметил, что «высокопарный вздор», которым президент Мак-Кинли оправдывал войну против Испании, был

> узнаваем для каждого, кто позднее следил за благостной риторикой Вильсона, оправдывавшего вмешательство в европейскую войну, Рузвельта, обещавшего золотой век… Эйзенхауэра с его «крестовым походом в Европу», который быстро увял, или Трумэна, Стивенсона, Пола Дугласа, или New York Times, проповедовавшей священную войну в Корее[6].

В известной речи, произнесенной в конце 1950 года, когда американцы в Северной Корее терпели поражения от китайцев, консервативный изоляционист Джозеф П. Кеннеди призвал США вывести войска из Кореи. Кеннеди заявил: «Я, естественно, против коммунизма, но если части Европы или Азии хотят стать коммунистическими или даже подчиниться коммунистическому диктату, мы не можем этому помешать». Результаты холодной войны, доктрины Трумэна и плана Маршалла, обвинял Кеннеди, чудовищны: мы не смогли купить дружбу и получили угрозу сухопутной войны в Европе и Азии. Кеннеди предостерегал, что

> одна половина этого мира никогда не подчинится диктату другой… Разве это наше дело — поддерживать французскую колониальную политику в Индокитае или помогать мистеру Сингману Ри в осуществлении идеи демократии в Корее? Не следует ли нам теперь послать в Тибет морских пехотинцев, чтобы помочь Далай-ламе остаться на своем троне?

Кеннеди добавил, что в результате холодной войны мы взвалили на себя ненужные долги. Если мы продолжим ослаблять нашу экономику «расточительными расходами на помощь другим странам или ведение войн, мы рискуем получить еще один 1932 год и разрушить ту самую систему, которую пытаемся спасти».

Кеннеди заключил, что единственный разумный выход для Америки — это полный отказ от политики холодной войны: уйти из Кореи, а также из Берлина и Европы. Соединенные Штаты не смогли бы сдержать русскую армию, если бы она решила захватитить Европу, а если бы Европа стала коммунистической, то сам коммунизм

> перестал бы быть единой силой… Чем большее число народов окажется в его власти, тем важнее будет для тех, кто ими правит, найти оправдание в глазах управляемых. Чем больше народов под его ярмом, тем больше вероятность восстания.

В то время, когда рыцари холодной войны пророчили миру вечное коммунистическое правление, Джозеф Кеннеди сослался на действия маршала Тито как на свидетельство раскола коммунистических сил: «Мао в Китае вряд ли будет выполнять приказы Сталина». Кеннеди осознавал, что

> эту политику, конечно же, будут критиковать как политику уступок. [Но]… разве можно назвать уступками отказ от невыполнимых обязательств?.. Если в наших интересах не принимать обязательств, которые ставят под угрозу нашу безопасность, и если это считается уступками, тогда я за уступки.

Кеннеди заключил: «То, что я предлагаю, сохранит жизни американцев для самой Америки, не даст им пропасть зря в леденящих горах Кореи или на израненных войной равнинах Западной Германии»[7].

Одну из самых острых и яростных атак на американскую внешнюю политику, сформировавшуюся в ходе Корейской войны, провел сторонник классического либерализма, журналист Гарет Гарретт. Свой памфлет «Начало империи» (1952) он начинает с утверждения: «Мы пересекли границу, отделяющую республику от империи». Отсылая читателя к своему знаменитому памфлету 1930-х годов «Революция была», в котором он объявил, что «новый курс» — это начало тирании этатизма и исполнительной власти в форме республиканского правления, Гарретт еще раз узрел «революцию в недрах конституционной республики». Так, например, он назвал осуществленную Трумэном отправку войск в Корею без объявления войны «узурпацией власти Конгресса».

В своем памфлете Гарретт дает общее описание критериев и признаков существования империи. Во-первых, это доминирование исполнительной власти, нашедшее отражение в

том, что президент неправомочно вмешался в события в Корее. Во-вторых, это подчинение внутренней политики внешней. В-третьих, это «доминирование военного мышления». В-четвертых, это «система государств-сателлитов». И в-пятых, это «комплекс хвастовства и страха», хвастовства безграничной национальной мощью в сочетании с постоянным страхом перед врагами, перед «варварами» и перед ненадежностью государств-сателлитов. Гарретт показал, что каждый из этих критериев в полной мере применим к Соединенным Штатам. Обнаружив, что США обладают всеми признаками империи, Гарретт добавил, что они, подобно всем прежним империям, чувствуют себя «узниками истории», потому что за этими страхами стоит система коллективной безопасности и роль, которую Америка предположительно обязана играть на мировой арене. Гарретт делает вывод:

> Теперь наша очередь.
>
> Наша очередь взять на себя ответственность за моральное лидерство в мире.
>
> Наша очередь противостоять силам зла везде — в Европе, Азии и Африке, в Атлантике и на Тихом океане, в воздухе и на воде — и в нашем случае злом являются русские варвары.
>
> Наша очередь поддерживать мир во всем мире.
>
> Наша очередь спасать цивилизацию.
>
> Наша очередь служить человечеству.
>
> Но ведь это язык империи. Римская империя никогда не сомневалась, что защищает цивилизацию. Ее благими целями были мир, закон и порядок. Испанская империя добавила спасение. Британская империя добавила благородный миф о бремени белого человека. Мы добавили свободу и демократию. Но чем больше добавляешь, тем яснее, что это все тот же самый язык. Язык власти[8].

Война как оздоровление государства

Многие либертарианцы чувствуют себя неуверенно в

вопросах внешней политики и предпочитают расходовать свою энергию либо на фундаментальные вопросы своей теории, либо на такие внутренние вопросы, как свободный рынок или приватизация почтовой службы и вывоз мусора. Но принципиальная критика войны и воинственной внешней политики чрезвычайно важна для либертарианцев. Причин для этого две. Одна звучит почти банально, но это дела не меняет: нет ничего более важного, чем предотвращение ядерного холокоста. Ко всем прежним возражениям нравственного и экономического плана против интервенционистской внешней политики теперь прибавилась постоянно нависающая угроза уничтожения всего живого на Земле. Если мир будет уничтожен, все прочие проблемы и все измы — социализм, капитализм, либерализм — и само либертарианство утратят какое-либо значение. Поэтому столь важно проводить мирную внешнюю политику и отказаться от угрозы применения ядерного оружия.

Другой причиной, не имеющей отношения ни к ядерной угрозе, ни к войне, является, по словам либертарианца Рандольфа Борна, «здоровье государства». Война всегда служила поводом для существенного усиления власти государства над обществом, которое не ослаблялось и тогда, когда наступало мирное время. Война дает основание для мобилизации всех ресурсов и сил нации — под грохот патриотических барабанов, под эгидой и руководством государственного аппарата. Именно война позволяет государству стать воистину самим собой: разбухнуть от власти, от гордости и сознания своего абсолютного господства над экономикой и обществом. Общество обращается в стадо, объятое жаждой убить всех вероятных противников, искоренить и пресечь всякое несогласие с официальной военной политикой, исполненное восторженной готовности отвернуться от истины во имя предполагаемых общественных интересов. Общество превращается в укрепленный лагерь, в котором царят ценности и нравы, как выразился однажды либертарианец Альберт Джей Нок, «армии на марше».

Особая ирония в том, что война всегда давала государству возможность сплотить силы всех граждан под лозунгом защиты страны от жестокой внешней угрозы. Ведь государство имеет возможность наживаться на войне благодаря старому мифу, что в ходе войны государство защищает своих граждан. На деле имеет место обратное. Ведь если война — это здоровье государства, то она же — величайшая для него опасность. Государство может погибнуть только в результате поражения в войне или от революции. Поэтому в ходе войны государство неистово мобилизует своих подданных, чтобы они сражались *за него*

против другого государства, но при этом предполагается, что это государство сражается для защиты своих подданных[9].

В истории Соединенных Штатов война была, как правило, главным поводом для постоянного усиления власти государства над обществом. В войне 1812 года с Великобританией, как уже было отмечено, впервые была в массовом порядке реализована современная инфляционная банковская система с частичным резервированием, а также протекционистские тарифы, федеральное налогообложение и регулярные армия и флот. Прямым следствием инфляции военного времени стало воссоздание Центрального банка — второго банка Соединенных Штатов. Война окончилась, но все созданные ею учреждения и направления политики остались. Гражданская война и фактически однопартийная система привели к утверждению неомеркантилистской политики «большого» правительства и субсидированию крупного бизнеса посредством покровительственных тарифов, безвозмездного выделения участков земли и других субсидий железным дорогам, федеральных акцизных налогов и федерального регулирования банковской системы. В ходе Гражданской войны государство впервые обратилось к воинской повинности и подоходному налогу, что явилось опасным прецедентом для будущего. Первая мировая война принесла с собой решительный и роковой поворот от сравнительно свободной нерегулируемой экономики к современной системе корпоративного государства внутри страны и интервенционизма на мировой арене. Мобилизация экономических усилий в период войны, которой руководило Военно-промышленное управление во главе с Бернардом Барухом, оказалась воплощением мечты руководителей крупного бизнеса и прогрессивных интеллектуалов о картелизованной и монополизированной экономике, которой на плановой основе руководит федеральное правительство в тесном сотрудничестве с главами богатейших корпораций. Именно коллективизм военного времени способствовал развитию и укреплению профсоюзного движения, которое заняло место младшего партнера в экономике нового корпоративного государства. Более того, этот временный коллективизм послужил путеводной звездой и образцом для руководителей крупного бизнеса и политиков, которые сообразили, что так может быть организована на постоянной основе и экономика мирного времени. В качестве координатора продовольственных программ, министра торговли, а потом и президента Герберт Гувер способствовал становлению монополизированной огосударствленной экономики, и это позднее вновь повторилось в эпоху «нового курса» Франклина

Д.Рузвельта с его военизированными ведомствами и даже военизированным персоналом[10]. Первая мировая война также усилила активность государства на международной арене в духе президента Вильсона, быстрое укрепление недавно созданной Федеральной резервной системы, оставшийся теперь уже навсегда подоходный налог, выросший федеральный бюджет, всеобщую воинскую повинность и внутреннюю связь между экономическим бумом, военными подрядами и кредитами западным странам.

В ходе Второй мировой войны все эти тенденции созрели и достигли максимума, Франклин Д.Рузвельт подчинил американскую жизнь безрассудной программе внешней и внутренней политики в духе президента Вильсона: вечное партнерство «большого» правительства, крупного бизнеса и профсоюзов, неизменно растущий военно-промышленный комплекс, всеобщая воинская повинность, неустранимая инфляция и дорогостоящая роль противостоящего революциям «всемирного полицейского».Мир Рузвельта-Трумэна-Эйзенхауэра-Кеннеди-Джонсона-Никсона-Форда-Картера (принципиальная разница между этими администрациями невелика) — это мир корпоративного либерализма, мир корпоративного государства.

Особенно интересно, что консерваторы, объявляющие себя сторонниками рыночной экономики, в таком восторге от нашего гигантского военно-промышленного комплекса. В современной Америке нет ничего другого, что было бы столь же разрушительным для свободного рынка. Значительная часть наших ученых и инженеров не может заниматься гражданскими проектами, повышением производительности труда и уровня жизни потребителей, потому что работает над бессмысленными и непродуктивными военными и космическими заказами. Эти заказы столь же бессмысленны, как строительство египетских пирамид, но многократно более деструктивны. Далеко не случайно, что экономическая теория лорда Кейнса оказалась востребованной в корпоративной экономике либерального государства. Ведь кейнсианские экономисты не делают различий между расходами на строительство пирамид, ракет или сталелитейных заводов — любые расходы, по определению, обеспечивают рост валового национального продукта, независимо от продуктивности проекта. Только недавно многие либералы начали осознавать разрушительные для Америки последствия кейнсианского корпоративного либерализма, наступившие в виде инфляции, милитаризма и расточительства.

По мере роста правительственных расходов на военные и гражданские цели наука и промышленность все в большей степени были заняты работой над крайне непродуктивными

проектами. Забота о максимально эффективном удовлетворении запросов потребителя отошла на второй план, а главным стала борьба за получение правительственных контрактов, зачастую в самой расточительной форме — «издержки плюс фиксированная прибыль». В хозяйственной деятельности все большее место начала занимать политика. Более того, по мере того как отрасли и регионы начинают зависеть от правительственных и военных контрактов, возникает заинтересованность в продолжении этих проектов, и при этом даже не ставится вопрос об оправданности гигантских государственных расходов. Наше экономическое процветание попало в наркотическую зависимость от дальнейших инъекций непродуктивных и антипродуктивных правительственных расходов[11].

Классический либерал Джон Т. Флинн оказался одним из самых проницательных и пророческих критиков вступления Америки во Вторую мировую войну. В своей книге «Как мы идем», написанной в разгар войны, которую он пытался предотвратить, Флинн обвиняет «новый курс», вполне оперившийся в условиях военного времени, в том, что он создал корпоративное государство, бывшее целью влиятельных кругов большого бизнеса с начала XX столетия. Общая идея, писал Флинн, заключалась в том, чтобы

> реорганизовать общество, заменить свободную экономику плановой и принудительной, в которой бизнес будет существовать в рамках больших цеховых организаций или корпоративных структур, сочетающих элементы самоуправления и правительственного надзора, обеспечивающего проведение национальной экономической политики… В конце концов это не так уж далеко от того, о чем мечтал бизнес[12].

«Новый курс» начал строительство нового общества с создания Национальной администрации восстановления и Администрации регулирования сельского хозяйства, этих мощных инструментов регламентации, которые были с восторгом встречены бизнесом и профсоюзами. С началом Второй мировой войны восстановилось движение к коллективизму — к «полностью контролируемой экономике, опирающейся на мощные потоки кредита, в которой плановые органы мощного бюрократического аппарата обладают почти тоталитарной властью». После войны, пророчил Флинн, «новый курс» попытается развернуть такую же систему на международной арене. Он мудро предсказал, что, когда война закончится, правительство продолжит тратить огромные средства на

вооружения, потому что это — единственная форма правительственных расходов, которую всегда одобрят и консерваторы, и рабочие, неизменно голосующие за новые рабочие места. «Таким образом, милитаризм — это величайший проект общественных работ, способный обеспечить согласие всех слоев общества»[13].

Флинн предсказал, что послевоенная политика Америки будет интернационалистской в том смысле, что она будет империалистической. Империализм, «конечно же, интернационален… в том смысле, что война всегда интернациональна», и он будет вытекать из милитаристской политики. «Мы будем делать то же самое, что делали и другие страны; мы будем поддерживать страхи наших людей перед агрессивными поползновениями других стран, и мы будем осуществлять и собственные империалистические проекты». Империализм обеспечит Соединенным Штатам наличие вечных «врагов», с которыми можно будет, по словам Чарльза А. Бирда, вести «вечную войну за вечный мир». Потому что, как отметил Флинн,

> мы умудрились разместить военные базы по всему миру… Не найти такого места, где могла бы начаться какая-то заварушка… и мы не смогли бы заявить, что наши интересы под угрозой. Когда война останется в прошлом, эти угрозы окажутся постоянным аргументом наших империалистов в пользу огромного военно-морского флота и мощной армии, которые смогут нападать на кого угодно и отбивать атаки всех врагов, существование которых станет нашей насущной потребностью[14].

Одно из самых волнующих описаний того, как Вторая мировая война изменила жизнь американцев, дал Джон Дос Пассос, прирожденный радикал и индивидуалист, которого «новый курс» превратил из крайне левого в крайне правого. Дос Пассос выразил свою горечь в послевоенном романе «Великий замысел»:

> У себя дома мы создали банки донорской крови и гражданскую оборону, в подражание остальному миру устроили концентрационные лагеря (только мы их назвали центрами для перемещенных лиц) и загнали в них американских граждан японского происхождения… без суда и следствия…

Президент Соединенных Штатов выступал как истовый демократ, и члены Конгресса от него не отставали. Правительство всем сердцем было предано гражданским свободам. «Сейчас мы по горло заняты войной, но потом восстановим все четыре свободы»,— так говорили они…

Война — это время цезарей…

Предполагалось, что американский народ скажет спасибо за век Простого Человека, обернувшийся веком перемещения за колючую проволоку.

Мы научились. Есть вещи, которые мы научились делать, но мы так и не научились, несмотря на Конституцию, Декларацию независимости и на все споры в Ричмонде и Филадельфии, тому, как наделить властью над жизнью людей одного человека и заставить его мудро ее использовать[15].

Советская внешняя политика

В предыдущей главе мы уже говорили о проблеме национальной обороны, абстрагировавшись от вопроса о том, *действительно* ли русские одержимы стремлением напасть на Соединенные Штаты. Со времен Второй мировой войны американская внешняя и оборонная политика основывалась, по крайней мере на словах, на предположении о русской угрозе — предположении, которое заставило публику поддержать интервенционистскую внешнюю политику и миллиардные расходы на оборону. Но насколько реалистично, насколько обоснованно это предположение?

Прежде всего нет сомнений, что Советы, как и все марксистско-ленинские режимы, *хотели* бы повсеместно заменить существующие общественные системы коммунистическими режимами. Но из этого, конечно же, еще не следует, что угроза нападения реальна, так же как в частной жизни недоброжелательство и озлобленность соседа еще не говорят о том, что нападение с его стороны неминуемо. Напротив, марксизм-ленинизм утверждает, что победа коммунизма неизбежна *не* вследствие ударов извне, а в результате накопления напряжений и противоречий внутри каждого общества. Поэтому марксизм-ленинизм предполагает, что коммунизм станет результатом внутренней революции (или, в версии

еврокоммунистов, демократических преобразований). В то же время существует убеждение, что насаждение коммунистического режима извне есть дело в лучшем случае сомнительное, а в худшем — разрушительное и никоим образом не полезное для достижения по настоящему органичных социальных изменений. Идея экспорта коммунизма в другие страны на штыках советских солдат полностью противоречит марксистско-ленинской теории.

Мы, разумеется, не утверждаем, что советские лидеры никогда ничего не делают вразрез с теорией марксизма-ленинизма. Но в той мере,в какой они являются обычными правителями сильного русского национального государства, доводы в пользу того, что Соединенным Штатам следует опасаться неизбежного нападения Советов, кажутся явно недостаточными. Потому что единственное основание для такой угрозы, по мнению наших рыцарей холодной войны,— это предполагаемая преданность Советского Союза теории марксизма-ленинизма и идее торжества коммунизма во всем мире. Если же предположить, что советские правители действуют как обычные диктаторы, заботящиеся только о национальных интересах России, то сразу же рушатся все основания для того, чтобы видеть в Советах демонический источник нависшей военной угрозы.

Когда в 1917 году большевики захватили власть в России, они мало думали о будущей советской внешней политике, потому что были убеждены, что вскоре в развитых промышленных странах Западной Европы произойдет коммунистическая революция. С окончанием Первой мировой войны эти надежды рассыпались, и Ленин с соратниками приняли в качестве основы внешней политики коммунистического государства теорию мирного сосуществования. Идея заключалась в следующем: Советская Россия в качестве первого в мире социалистического государства будет служить путеводной звездой для других коммунистических партий. Но советское государство *в качестве государства* будет поддерживать мирные отношения со всеми другими странами и воздержится от попыток экспортировать коммунизм посредством революционных войн. Идея была не столько теоретической, сколько практической — главной целью внешней политики должно быть сохранение коммунистического государства, а это предполагает необходимость избегать войн, которые могут угрожать существованию Страны Советов. Предполагалось, что другие страны придут к коммунизму в результате внутренних процессов развития.

Таким образом, исходя из своеобразной смеси теоретических и практических соображений, Советы уже на раннем этапе своего

существования пришли к тому, что единственно верно и принципиально во внешней политике для либертарианцев. Более того, со временем эта политика окрепла в силу консерватизма, являющегося судьбой всех движений, достаточно долго пребывающих у власти, так что стремление сохранить власть в своем государстве стало намного важнее первоначальной идеи мировой революции. Нарастающий консерватизм в период правления Сталина и его преемников укрепил и усилил неагрессивную политику мирного сосуществования.

Собственно говоря, с самого начала Первой мировой большевики были единственной политической партией в России, которая требовала немедленного выхода России из войны. Они пошли еще дальше и навлекли на себя негодование публики, призвав к поражению собственного правительства («революционное пораженчество»). Когда Россия начала нести огромные людские потери, сопровождавшиеся массовым дезертирством с фронта, и война стала крайне непопулярной, большевики во главе с Лениным остались единственной партией, призывавшей к немедленному заключению мира,— все другие партии все еще требовали воевать с немцами до победного конца. Когда большевики захватили власть, Ленин, преодолевая истерические протесты значительного числа членов Центрального комитета партии большевиков, настоял на заключении «позорного» мира в Брест-Литовске в марте 1918 года. Ленин вытащил Россию из войны, отдав победоносной германской армии все захваченные ею на тот момент части Российской империи (включая Белоруссию и Украину). Таким образом, Ленин и большевики пришли к власти не просто как партия мира, но как партия мира любой ценой.

После окончания Первой мировой войны и поражения Германии на Россию напало вновь образованное польское государство, сумевшее захватить значительные территории в Белоруссии и на Украине. Воспользовавшись ситуацией хаоса и Гражданской войны, разные национальные группы — Финляндия, Эстония, Латвия и Литва — решили выйти из состава империи и провозгласили национальную независимость. Хотя на словах ленинизм и признавал лозунг национального самоопределения, советским руководителям с самого начала было ясно, что необходимо восстановить государство в границах старой Российской империи. Красная армия отвоевала Украину, очистив ее не только от белых, но и от украинских националистов и от армии украинских анархистов во главе с Нестором Махно. Что же касается всего остального, было ясно, что Россия, как и Германия в 1920-х и 1930-х годах, будет добиваться пересмотра условий

Версальского мира.

Иными словами, путеводной звездой российской и германской внешней политики было восстановление границ, которые существовали до Первой мировой войны и которые русские и немцы считали истинными границами своих государств. Следует отметить, что *все* политические партии в России и Германии, в том числе оппозиционные, поддерживали эту цель полного восстановления национальной территории.

Но следует подчеркнуть, что, если Германия при Гитлере приняла решительные меры для присоединения утраченных территорий, осторожные и консервативные советские властители не делали абсолютно ничего. Только после заключения пакта с Гитлером и нападения Германии на Польшу русские вернули себе Эстонию, Латвию и Литву, а также те части Белоруссии и Украины, которые после революции достались Польше. И они смогли сделать это без войны. Теперь Россия была восстановлена в дореволюционных границах, если не считать Финляндии. Но Финляндия была готова защищаться. Поэтому русские потребовали присоединения не всей Финляндии, а только той части Карельского перешейка, которая была заселена этнически русским населением. Когда финны отказались удовлетворить это требование, началась «зимняя война» 1939–1940 годов между Россией и Финляндией, которая кончилась тем, что финны отдали России Карелию[16].

22 июня 1941 года Германия, подчинившая себе на Западе всех, кроме Англии, внезапно совершила акт неспровоцированной агрессии против Советской России, в чем ей помогали союзные государства Восточной Европы: Венгрия, Румыния, Болгария, Словакия и Финляндия. Это нападение на Россию стало одним из центральных фактов европейской истории. Сталин был настолько не готов к нападению, он настолько верил во взаимовыгодность германо-российского соглашения о мире в Восточной Европе, что позволил русской армии утратить состояние боеготовности. Сталин был настолько невоинственным, что Германия едва не сумела одержать победу над намного более сильной Россией. Поскольку при всех других обстоятельствах Германия смогла бы сохранять господство в Европе сколь угодно долго, именно Гитлер поддался искушению антикоммунистической идеологии, забыл о благоразумии и осторожности и вступил на путь, приведший к его гибели и поражению Германии.

Мифология деятелей холодной войны часто признает, что Советы не были агрессивны на международной арене *до* Второй мировой войны, фактически они даже настаивают на этом, потому что в своем большинстве искренно одобряют военный

союз Соединенных Штатов с Россией против Германии. Они утверждают, что именно в ходе этой войны и сразу после нее Россия вступила на путь экспансии в Восточной Европе. При этом они игнорируют тот главный факт, что в июне 1941 года Германия при поддержке союзников напала на Россию. Нет никаких сомнений, что войну начала именно Германия при поддержке своих союзников. В ходе отпора агрессорам России пришлось сначала отбросить вторгшиеся армии, а потом и войти на территорию Германии и стран Восточной Европы. Легче доказать, что Соединенные Штаты вели экспансионистскую политику, когда оккупировали Италию и часть Германии, чем обвинить в том же Россию — в конце концов Германия не совершала акта прямой агрессии против Америки.

В ходе Второй мировой войны Соединенные Штаты, Британия и Россия, три главные союзные державы, договорились о том, что будут совместно, на трехсторонней основе, управлять покоренными вражескими территориями. Соединенные Штаты первыми нарушили это соглашение, не предоставив России никакой роли в военной оккупации Италии. Несмотря на это серьезное нарушение соглашений Сталин проявил последовательную приверженность консервативным интересам российской нации-государства и, пренебрегши революционной идеологией, не раз и не два предал местные коммунистические движения. Чтобы сохранить мирные отношения между Россией и Западом, Сталин последовательно сдерживал рвавшиеся к власти компартии. Это удалось ему в Италии и Франции, где партизаны и коммунистическое подполье легко могли захватить власть в ходе военного отступления германских войск, но Сталин приказал им не делать этого и убедил их присоединиться к коалиционным режимам, в которых главную роль играли антикоммунистические партии. В обеих странах коммунистов вскоре исключили из состава правящих коалиций. В Греции, где коммунистические партизаны почти захватили власть, Сталин не оставил им никакой надежды, отказав в поддержке и предложив передать власть продвигавшимся с побережья британским войскам.

В других странах, особенно там, где коммунистические партизанские отряды были сильны, коммунисты просто не подчинились советам Сталина. В Югославии победоносный Тито отверг требование Сталина занять подчиненное положение в коалиции во главе с антикоммунистом Михайловичем. Мао, в свой черед, также отказался признать верховенство Чан Кайши. Нет никаких сомнений, что это неподчинение было началом последующих чрезвычайно значительных расколов в мировом

коммунистическом движении.

Таким образом, победив в развязанной против нее войне, Россия оккупировала территорию Восточной Европы. Первоначально она не собиралась насаждать там коммунистические режимы, используя военную силу. Ей нужна была гарантия, что Восточная Европа не станет воротами для вторжения в Россию, как это происходило трижды за предыдущие полвека — и в последний раз война унесла жизни 20 млн граждан России. Короче говоря, Россия хотела, чтобы с ней граничили страны, которые были бы не враждебны ей и не могли бы быть использованы в качестве трамплина для очередного вторжения. Политические условия в Восточной Европе были таковы, что только в более развитой Финляндии существовали некоммунистические политики, которым Россия могла доверять в том смысле, что они будут проводить мирную линию во внешней политике. А в Финляндии эта ситуация была результатом усилий одного дальновидного государственного деятеля, Юхо Паасикиви. Россия согласилась вывести свои войска из Финляндии и не настаивать на установлении в ней коммунистического режима — при том, что за предыдущие шесть лет она дважды с ней воевала, — только потому, что во внешней политике Финляндия твердо следовала курсу Паасикиви.

Даже в других странах Восточной Европы Россия в течение ряда послевоенных лет уживалась с коалиционными правительствами и установила в них коммунистические режимы только в 1948 году, после трех лет неустанных усилий Америки вытеснить Россию из этих стран. В других случаях, как это было в Австрии и северных провинциях Ирана, Россия без сопротивления вывела свои войска.

Деятелям холодной войны трудно объяснить действия России в Финляндии. Если Россия при любой возможности стремится всюду установить коммунистические режимы, в чем причины такой уступчивости в отношениях с Финляндией? Единственное правдоподобное объяснение в том, что для России главное — это защищенность от нападения, а успех мирового коммунизма играет в ее приоритетах очень незначительную роль.

Собственно говоря, активистам холодной войны так и не удалось объяснить или понять факт глубоких расколов в мировом коммунистическом движении. Ведь если все коммунисты руководствуются общей идеологией, то каждый коммунист в любой стране должен быть частью единого монолитного движения, а с учетом исторически первого успеха большевиков, он еще должен следовать их указаниям и быть агентом Москвы. Если коммунисты действительно руководствуются марксизмом-

ленинизмом, как же возникло глубокое противостояние между Китаем и Россией, из-за которого Россия, например, держит наготове на границе с Китаем миллионную армию? Откуда такая вражда между коммунистическими странами Югославией и Албанией? Почему стал возможен военный конфликт между камбоджийскими и вьетнамскими коммунистами? Дело, конечно же, в том, что, когда революционное движение захватывает власть в государстве, оно очень быстро начинает осознавать себя правящим классом, заинтересованным в сохранении государственной власти. В их глазах мировая революция начинает быстро блекнуть и теряет всякую привлекательность. А поскольку государственные элиты неизбежно конфликтуют по вопросам власти и богатства, неудивительно, что коммунистический мир охвачен конфликтами.

После своей победы над фашистской Германией Советы продолжили консервативную военную политику. Они использовали вооруженные силы только для защиты своих владений в коммунистическом блоке, а не для его расширения. Так, когда возникла опасность, что Венгрия и Чехословакия, в 1956 и 1968 годах соответственно, могут отколоться от советского блока, Советы, к сожалению, использовали военную силу, но при этом действовали сдержанно и в оборонительном, а не наступательном стиле. (Советы явно примеривались к тому, чтобы вторгнуться в Югославию, когда Тито стал слишком самостоятельным, но их остановила замечательная способность югославской армии вести партизанскую войну.) Ни в одном случае Россия не использовала войска для расширения своего блока или завоевания дополнительных территорий.

Профессор Стивен Ф.Коэн, директор Программы русских исследований в Принстонском университете, недавно обрисовал природу советского консерватизма во внешней политике:

> Может показаться абсурдным, что система, рожденная революцией и до сих исповедующая революционные идеи, стала одной из самых консервативных в мире. Но этот консерватизм логически вытекает из множества факторов, которые, по общему мнению, сильнее всего влияют на советскую политику: бюрократическая традиция еще дореволюционного правительства России; последующая бюрократизация советской жизни, которая быстро обросла консервативными нормами и создала прочно укрепившийся класс ревностных защитников бюрократических привилегий; преклонный возраст

современной элиты и даже официальная идеология, которая давным-давно перешла от создания нового общественного устройства к восхвалению существующего.

Иными словами, сегодня советский консерватизм нацелен преимущественно на сохранение того, что он уже имеет внутри страны и за рубежом, т.е. на избегание всяких рисков. Консервативное правительство, естественно, способно к опасным военным акциям, как это было в случае Чехословакии… но это империя защищала себя, это был защитный и оборонительный выпад, а не революционный или агрессивный. Безусловно верно, что для большинства советских руководителей, как, по всей вероятности, и для большинства американских, разрядка — это не упражнение в альтруизме, а преследование национальных интересов. В каком-то смысле это грустно. Но верно, пожалуй, и то, что взаимная эгоистическая заинтересованность служит более надежной основой разрядки, чем возвышенный и, в конечном счете, пустой альтруизм[17].

Такой абсолютно антисоветски настроенный человек, как бывший директор ЦРУ Уильям Колби, также полагает, что Советы больше всего заботятся об обороне и о недопущении еще одного катастрофического вторжения на их территорию. Вот что он заявил на слушаниях сенатской Комиссии по иностранным делам:

Порой сталкиваешься с озабоченностью, даже с паранойей [Советов] по поводу собственной безопасности, обнаруживаешь их решимость не допустить еще одного вторжения и сопутствовавшего ему хаоса, потому что такое они уже пережили и при этом не единожды… Я думаю, что они… стремятся к избыточной защищенности, чтобы гарантировать, что этого не повторится[18].

Даже китайцы, несмотря на все их пустые угрозы, проводят консервативную и мирную внешнюю политику. Они не только не стали завоевывать Тайвань, который международным сообществом признается частью Китая, но даже позволили остаться в руках Чан Кайши ряду мелких прибрежных островов. Они не тревожат британский и португальский анклавы в Гонконге и Макао. Китайцы повели себя очень неожиданно, объявив об

одностороннем прекращении огня и отводе воинских частей на свою территорию после легкой победы над Индией в пограничном конфликте, который перерос в небольшую войну[19].

Заблуждения априорной истории

Пониманию представленного в этой главе анализа может помешать еще один тезис, которого придерживается большинство американцев и даже некоторые либертарианцы,— миф, созданный Вудро Вильсоном и гласящий, что демократии неизбежно миролюбивы, а диктатуры воинственны. Эта идея, конечно, была очень удобна, потому что покрывала вину самого Вильсона, втянувшего Америку в чудовищную ненужную войну. Но и помимо этого, факты, подтверждающие такое предположение, просто отсутствуют. Многие диктатуры склонны замыкаться и ограничиваются тем, что грабят собственный народ. Примерами могут служить как средневековая Япония и коммунистическая Албания, так и множество диктатур, существующих в странах третьего мира. При Иди Амине, самом, пожалуй, зверском и ненасытном диктаторе современности, Уганда не выказывает ни малейшего намерения рисковать, вторгаясь в соседние страны. Однако такая несомненно демократическая страна, как Великобритания, вплоть до XX века непреклонно распространяла свою империалистическую власть по всему миру.

Ни демократия, ни диктатура не имеют отношения к делу просто потому, что государства — *все государства* — правят на своей территории и решают: воевать или не воевать. И *всеми* государствами, будь они демократическими, диктаторскими или какими-нибудь еще, руководит правящая элита. Решит ли эта элита развязать войну против другого государства, зависит от сложного сплетения взаимосвязанных причин, включающих, среди всего прочего, темперамент правителей, силу их врагов, характер побуждающих причин и общественное мнение. Хотя общественное мнение следует учитывать в любом случае, единственное реальное различие между демократией и диктатурой в отношении решимости воевать заключается в том, что первым приходится *больше* использовать пропаганду, чтобы обеспечить согласие граждан. В любом случае без пропаганды не обойтись, о чем свидетельствуют рьяные усилия всех современных воинственных государств. Но демократическому государству приходится работать основательнее и расторопнее. И ему необходимо больше лицемерия, чтобы безошибочно

использовать риторику, затрагивающую ценности масс: справедливость, свободу, национальный интерес, патриотизм или мир во всем мире. Поэтому в демократических государствах искусство пропаганды должно быть более искушенным и утонченным. Но ведь это, как мы видели, относится ко *всем* решениям правительства, не только о войне и мире. Потому что всем правительствам, и не особенно демократическим в том числе, приходится немало трудиться, чтобы убедить своих граждан, что они угнетают людей ради выгоды всего населения страны.

Сказанное нами о демократии и диктатуре в равной степени относится и к отсутствию корреляции между степенью внутренней свободы в стране и ее внешней агрессивностью. Некоторые государства продемонстрировали, что могут обеспечить внутри страны значительный уровень свободы, но при этом вели агрессивные войны за рубежом. Известны и тоталитарные страны, проводившие мирную внешнюю политику. Примерами могут служить Уганда, Албания, Китай, Великобритания и многие другие.

Короче говоря, либертарианцы, как и другие американцы, должны опасаться *априорного* подхода к истории: в данном случае нужно воздерживаться от предположения, что государство, отличающееся во внутренней политике большим демократизмом или большей свободой, обязательно (или возможно) станет жертвой агрессии со стороны авторитарного или тоталитарного государства. Такое предположение просто не подтверждается историческими фактами. Когда речь идет о сравнительной правоте и неправоте, о сравнительной степени агрессивности внешней политики, ничто не может заменить детальное эмпирическое исследование исторических обстоятельств конфликта. И нас не должно изумлять, если в результате такого исследования выяснится, что демократичные и относительно свободные Соединенные Штаты действовали во внешней политике более агрессивно и империалистично, чем сравнительно более тоталитарные Россия или Китай. И наоборот, если мы одобряем неагрессивную внешнюю политику какого-либо государства, не следует рассчитывать, что нам непременно понравится и его внутренняя политика. Жизненно важно, т.е. буквально дело жизни и смерти, чтобы американцы научились видеть внешнюю политику своего правительства с такой же холодной отчетливостью, с такой же незашоренностью взгляда, как они это умеют делать иногда в вопросах политики внутренней. Дело в том, что война и раздутая внешняя угроза уже давно используются как главный инструмент привлечения к

государству симпатий публики. Война и милитаризм, как нам известно, были могильщиками классического либерализма, и нельзя допустить, чтобы государство еще раз смогло воспользоваться этой уловкой[20].

Программа внешней политики

И в завершение нашей дискуссии скажу, что главной задачей либертарианской программы внешней политики Соединенных Штатов должен стать полный отказ от политики глобального интервенционизма: США должны полностью и немедленно прекратить военное и политическое вмешательство в дела Азии, Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока и прочих регионов. Американские либертарианцы должны требовать, чтобы правительство Соединенных Штатов незамедлительно прекратили любую деятельность за пределами своих границ. Соединенные Штаты должны свернуть свои базы, вывести войска, прекратить постоянное политическое вмешательство и ликвидировать ЦРУ. Необходимо прекратить все программы помощи иностранным государствам, потому что вся эта помощь представляет собой всего лишь инструмент ограбления американского налогоплательщика, а также субсидирования американского экспорта и пользующихся нашей благосклонностью иностранных государств. И все это происходит под лозунгом «помощи голодающим народам мира». Короче говоря, правительство Соединенных Штатов должно в своей деятельности не выходить за пределы национальных границ и проводить курс строгой политической изоляции или нейтралитета.

Дух этой ультраизоляционистской либертарианской внешней политики был сформулирован в 1930-х годах отставным генерал-майором корпуса морской пехоты Смидли Д. Батлером. В конце 1936 года он предложил забытый ныне проект поправки к Конституции, которая восхитила бы всех либертарианцев, если бы те рискнули отнестись к делу серьезно. Вот полный текст предложенной Батлером поправки:

1. Запрещается перемещение сухопутных вооруженных сил за пределы территориальных границ Соединенных Штатов и зоны Панамского канала, по каким бы то ни было причинам.

2. Судам, принадлежащим военно-морскому флоту Соединенных Штатов или любым другим родам вооруженных сил, запрещается удаляться более чем на пятьсот миль от нашего побережья, если только это не вызвано необходимостью спасения

потерпевших кораблекрушение.

3. Самолетам армии, военно-морского флота и корпуса морской пехоты запрещено удаляться с какими бы то ни было целями на расстояние более семисот пятидесяти миль от побережья Соединенных Штатов[21].

Разоружение

Таким образом, строгий изоляционизм и нейтралитет — это первая задача либертарианской внешней политики, которая должна быть дополнена признанием ответственности американского государства за холодную войну и участие во всех других конфликтах XX века. Какой же, с учетом изоляции, должна быть политика Соединенных Штатов в области вооружений? Многие изоляционисты требуют вооружаться до зубов, но в ядерную эпоху такая политика будет означать сохранение значительного риска ядерного холокоста, и это не считая того, что мы сохраним чрезвычайно вооруженное государство и высокий уровень непроизводительных правительственных расходов, искажающих ход хозяйственной жизни.

Даже с чисто военной точки зрения Соединенные Штаты и Советский Союз располагают возможностью многократно уничтожить друг друга, и для сохранения потенциала для удара возмездия Соединенным Штатам достаточно из всего ядерного арсенала оставить только подводные лодки с Polaris на борту — они неуязвимы и снабжены разделяющимися ядерными боеголовками. Но для либертарианца, да и для любого человека, встревоженного перспективой ядерного самоубийства человечества, даже сохранение подлодок с Polaris не является удовлетворительным решением. Мир так и останется заложником шаткого «баланса сил устрашения», а этот баланс может быть нарушен в результате случайности или безответственных действий обладающего властью безумца. Нет, для того чтобы окончательно избавиться от угрозы ядерного уничтожения, жизненно важно достичь общемирового ядерного разоружения, на пути к которому советско-американский договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ) от 1972 года и переговоры по ОСВ-2 являются только первыми робкими шагами.

Поскольку все люди, даже те, которые правят Соединенными Штатами, заинтересованы в том, чтобы *не* быть уничтоженными ядерным пожаром, этот взаимный интерес служит надежной, рациональной основой для осуществления политики всеобщей и полной ликвидации всех видов оружия массового уничтожения,

включая ядерное. Такое совместное разоружение стало достижимо с тех пор, как Советский Союз согласился с соответствующими предложениями Запада от 10 мая 1955 года, что привело к паническому отказу западных государств от собственных предложений[22].

В американской версии этого эпизода мы требовали разоружения и инспекций, а Советы настаивали на том, чтобы разоружение не сопровождалось никакими инспекциями. На самом деле все было не так: с мая 1955 года Советский Союз был согласен на любое разоружение и неограниченные проверки, а американцы требовали неограниченные проверки, но с очень незначительным разоружением! Таков был основной смысл эффектного, но, по сути своей, бесчестного предложения президента Эйзенхауэра об «открытом небе»[23*], появившегося сразу после того, как мы отозвали предложения о разоружении, которые были приняты Советами в мае 1955 года. Даже сегодня, когда благодаря российским и американским спутникам-шпионам режим «открытого неба» фактически реализован, принятое в 1972 году противоречивое соглашение об ограничении стратегических вооружений не предусматривает реального разоружения, а говорит только об ограничении дальнейшего наращивания арсеналов ядерного оружия. Более того, поскольку стратегическая мощь Америки опирается на ядерное оружие и средства доставки, есть основания верить в искренность Советов в любом соглашении, предусматривающем ликвидацию ядерных ракет или стратегических бомбардировщиков.

Необходимо взаимное уничтожение не только ядерного оружия, но и любого оружия, которое может быть использовано для массированных ударов за пределами национальной территории, и прежде всего бомбардировщиков. Именно такого оружия массового поражения, как ракеты и бомбардировщики, непригодные для нанесения точечных ударов, позволяющих избежать жертв среди мирного населения. Кроме того, полный отказ от ракет и бомбардировщиков *заставит* все правительства, в том числе американское, проводить политику мира и изоляции. Разумеется, с учетом прошлого поведения всех правительств, в том числе американского, было бы глупостью оставить в их руках эти средства массового убийства и разрушения и поверить в то, что они никогда не воспользуются этим чудовищным оружием. Если исходить из того, что использование такого оружия нелегитимно, чего ради оставлять эти опасные игрушки в их не слишком-то чистых руках?

Разница между консервативным и либертарианским

подходами к вопросам о войне и американской внешней политике выразилась в обмене репликами между Уильямом Ф. Бакли-мл. и либертарианцем Рональдом Хамоуи на заре современного либертарианского движения. Выражая презрение к либертарианской критике консервативной внешней политики, Бакли писал:

> В любом обществе есть место для тех, кого интересует только верность скрижалям, но им следовало бы понять, что только благодаря склонности консерваторов приносить жертвы ради противостояния [советской] угрозе они имеют возможность предаваться тихим монастырским радостям и проводить свои оживленные маленькие семинары о том, следует или нет оставлять муниципалитетам функцию по уборке мусора.

На что Хамоуи язвительно ответил:

> Это может показаться невежливым с моей стороны, но я не стану благодарить мистера Бакли за спасение моей жизни. К тому же я верю, что если его точка зрения возобладает и если он и впредь будет оказывать добровольную помощь, то в результате меня почти, наверное убьют (как и десятки миллионов других) в ядерной войне или бросят в тюрьму за «антиамериканизм»… Я крепко держусь за свою личную свободу и только поэтому настаиваю, что ни у кого нет права навязывать свои решения другому. Мистер Бакли предпочитает умереть, лишь бы не стать красным. И я того же мнения. Но я настаиваю, что все люди должны иметь возможность принять это решение самостоятельно, каждый сам за себя. А ядерный холокост сделает этот выбор сразу за всех[24].

К этому можно добавить только то, что каждый желающий имеет право принять личное решение по поводу альтернатив «лучше мертвый, чем красный» или «свобода или смерть». Но вот на что он *не* имеет права, это на то, чтобы решать такие вещи за других, а именно на это нацелена ведущая к войне политика консерваторов. В действительности консерваторы говорят следующее: «Лучше *им* умереть, чем стать красными» или «Свобода для меня, или пусть *они* умрут», а это, как ни суди, боевой клич не благородных героев, а массовых убийц.

Бакли прав только в одном: в ядерную эпоху *важнее* заботиться о вопросах войны и внешней политики, а не о

приватизации системы уборки и вывоза мусора, сколь бы важной не была последняя проблема. Но при этом мы неизбежно приходим к выводу, прямо противоположному тому, что делают Бакли и такие, как он. Мы приходим к пониманию, что раз современное ракетное оружие и бомбардировщики не способны поражать точечные цели, избегая при этом жертв среди мирного населения, их следует просто напросто отправить на слом. При таком подходе ядерное разоружение и уничтожение стратегических средств доставки превращается в великое благо, к которому следует стремиться даже с большим рвением, чем к приватизации системы уборки мусора.

Часть III Эпилог

15. Стратегия свободы

Образование: теория и движение

И вот, новое либертарианство — истина, теоретически выверенная и способная решить наши политические проблемы,— у нас в руках. Но теперь, когда мы владеем истиной, как нам добиться победы? Мы стоим перед главной стратегической проблемой: как перейти из нашего несовершенного огосударствленного мира в великое царство свободы. Проблемой, подобной тем, что вставали перед всеми «радикальными» мировоззрениями.

Единой магической формулы не существует. Любая стратегия социальных изменений, предполагающая убеждение и изменение сознания людей, — это всегда искусство, а не точная наука. Но это знание не должно мешать нам в поисках разумных путей достижения наших целей. Существование плодотворной теории или, по крайней мере, теоретической дискуссии о надлежащей стратегии перемен, *возможно*.

Есть один пункт, который вряд ли вызовет разногласия: *главным и необходимым условием победы либертарианства (как, впрочем, и любого другого социального движения — от буддизма до вегетарианства) является образование:* ***убеждение и изменение взглядов большого числа людей.*** У образования, в свой черед, есть два жизненно важных аспекта. С одной стороны, нужно *привлечь внимание людей к существованию либертарианства и сделать их либертарианцами*. Если бы наше движение состояло только из лозунгов, публичных акций и других средств привлечения внимания, нас *услышали* бы многие, но вскоре они обнаружили бы, что сказать нам нечего, и результат оказался бы эфемерным. Поэтому либертарианцы должны серьезно размышлять и заниматься наукой, издавать теоретические и методические книги, статьи и журналы, участвовать в конференциях и семинарах. С другой стороны, ни одна теория никуда не приведет, если никто и никогда не слыхал об этих статьях и книгах, а потому нам нужны публичные акции, лозунги, активная деятельность студентов, лекции, присутствие на радио и телевидении. Подлинное образование не может быть успешным без сочетания теории *и* практической деятельности, идеологии и *людей*, распространяющих эту идеологию.

Таким образом, нужно привлечь внимание публики к теории, а потому теория нуждается в людях, которые будут держать ее

знамя, обсуждать, агитировать, распространять свет истины. И теория, и движение пусты и бесплодны друг без друга. Теория засохнет на корню без сознательного движения, преданного делу распространения этой теории и разъяснения ее целей. Но и движение обернется бесцельной суетой, если упустит из вида идеологию и главную цель. ***Некоторые либертарианские теоретики полагают, что есть нечто неприличное или постыдное в организации активного политического движения, но как еще прийти к свободе, если не бороться за нее?*** Однако некоторые воинственные активисты, жаждущие действий — *любых* действий, — презирают то, что им кажется бесплодным теоретизированием. Но все их действия окажутся *пустыми и бесплодными*, если они будут лишь смутно представлять себе, *ради чего* они их предпринимают.

Более того, часто приходится слышать жалобы либертарианцев (и членов других социальных движений), что все их книги, журналы и конференции ориентированы «только на своих», что во «внешнем мире» к ним мало кто прислушивается. В этом проявляется *полное непонимание* многосторонних задач образования в самом широком смысле этого слова. Важно обучать *других*, но точно так же ***необходимо и постоянное самообразование***. Отряды либертарианцев, разумеется, должны постоянно заботиться о привлечении людей в свои ряды, но необходимо *также* поддерживать в своих рядах живую энергию. Обучая самих себя, мы достигаем двух жизненно важных целей. Во-первых, при этом мы развиваем и очищаем либертарианскую теорию, разрабатывающую цели и задачи всего нашего предприятия. Будучи учением живым и истинным, либертарианство не может быть выбито на каменных скрижалях. Оно должно оставаться живой теорией, развивающейся в теоретических трудах и дискуссиях, в ходе опровержения и устранения возникающих ошибок. В рамках либертарианского движения выпускаются десятки небольших бюллетеней и журналов, от скоропечатных листков до глянцевых изданий, постоянно возникающих и исчезающих. Это признак живого, растущего движения, образуемого размышлениями и спорами множества людей.

Но есть еще одна существенная причина для того, чтобы «обращаться только к своим», *даже* если бы этим разговором все только и ограничивалось. Это *чувство локтя* — психологически необходимое знание о том, что есть и другие люди со сходным умонастроением, с которыми можно говорить, рассуждать, да и вообще общаться и взаимодействовать. В настоящее время либертарианское мировоззрение стало достоянием сравнительно

небольшого числа людей, и при этом оно *предлагает радикальное изменение статус-кво*. Поэтому оно обречено на замкнутость и уединенность, и знание о существовании движения, этот «разговор со своими», помогает преодолеть чувство изоляции. Нашему движению уже достаточно много лет, и в нем *полно* отступников.

Анализ отступничества показывает, что почти в каждом случае изменивший движению либертарианец был изолирован, отрезан от общения и взаимодействия с соратниками. Лучшим противоядием против отказа от дела свободы как безнадежного или несбыточного предприятия является процветающее движение и чувство сплоченности и солидарности.

Утописты ли мы?

Итак, мы должны получать и теоретическое образование, и практическое, путем участия в движении. Но что же должно быть *содержанием* образования? Каждое радикальное мировоззрение обвиняли в утопизме, и либертарианское движение не является исключением. Некоторые либертарианцы и сами держатся того мнения, что не следует пугать людей чрезмерным радикализмом, а потому либертарианскую идеологию и программу во всей их полноте чужим лучше не показывать. Эти люди рекомендуют принять фабианскую программу постепенных перемен, заботиться только о постепенном сведении государственной власти на нет. Примером может служить налогообложение: вместо того чтобы добиваться радикальной отмены всех существующих налогов или хотя бы только подоходного, они советуют ограничиться призывом к небольшому улучшению — скажем, к снижению подоходного налога на 2%.

Что касается стратегического мышления, либертарианцам следует изучать опыт марксистов, потому что они размышляли о стратегии радикальных изменений общества больше, чем кто-либо другой. Так, марксисты видят два критически важных стратегических заблуждения, уводящих движение с верного пути: одно они называют левым уклонизмом, а другое — правым оппортунизмом. Критики экстремистских либертарианских принципов — это аналог марксистского правого оппортунизма. Главная проблема с оппортунистами заключается в том, что, ограничиваясь «практичной» программой, ориентированной на постепенное воплощение и имеющей все шансы быть немедленно одобренной к исполнению, они очень рискуют полностью потерять из виду конечную цель либертарианства. Тот, кто

ограничивается требованием снижения налогов на 2%, помогает похоронить либертарианский идеал — ликвидацию системы налогообложения как таковой. Сконцентрировавшись на ближайшей цели, он помогает ликвидировать цель конечную, а тем самым и весь смысл самого либертарианства. Если уж либертарианцы отказываются высоко держать знамя своих принципов, своей верности конечной цели, *кто же* его поднимет? Ответ — никто, потому что ошибочный путь оппортунизма был в последние годы основной причиной отступничества в наших рядах.

Характерным примером отступничества, ставшего результатом оппортунизма, является история одного человека — назовем его Роберт,— бывшего преданным и воинственным либертарианцем в начале 1950-х годов. Войдя во вкус деятельности и быстрого успеха, Роберт пришел к выводу, что правильная стратегия состоит в том, чтобы отказаться от всех разговоров о цели либертарианства и, прежде всего, скрыть его враждебность к правительству. Роберт начал акцентировать внимание только на позитивных аспектах либертарианства и тех его целях, которые можно достичь с помощью добровольных действий. По мере своего карьерного роста Роберт начал видеть помеху в бескомпромиссных либертарианцах и, соответственно, стал изгонять из своей организации каждого, пойманного на отрицании правительства. Потребовалось совсем немного времени, чтобы Роберт открыто и однозначно отринул либертарианскую идеологию и призвал к партнерству между правительством и частными предприятиями, между принципами принуждения и добровольного действия, иными словами, открыто занял свое место в правящих кругах. Правда, будучи навеселе, Роберт все еще именует себя анархистом, но только в очень абстрактном смысле, не имеющем никакого отношения к реальной жизни.

Экономист Ф.А. Хайек, никоим образом не являющийся экстремистом, красноречиво написал о том, как важно для успеха свободы поддерживать чистоту и радикализм идеологии в качестве не подлежащего забвению символа веры. Он написал, что одной из самых привлекательных сторон социализма всегда было подчеркивание его идеальной цели, идеала, который пронизывает, воодушевляет и направляет действия всех своих сторонников. Затем Хайек добавил:

> Нам следует предложить новую, взывающую к воображению программу либерализма. Нужно внести в работу созидания свободного общества дух

интеллектуального приключения и отваги. Нам нужна либеральная Утопия, нужна программа, которая не будет ни простой апологией сложившегося порядка вещей, ни разновидностью социалистического безумства. Нужен истинно либеральный радикализм, который не пощадит чувствительность власть имущих (в том числе профсоюзов), не будет чрезмерно практичным и не ограничит свои задачи только политически реализуемыми. Нам нужны интеллектуальные лидеры, способные устоять против искушения властью и влияния, готовые трудиться для воплощения идеала при малых шансах на быстрый успех. Нужны люди, приверженные принципам, готовые сражаться за их полную реализацию даже в отдаленном будущем… Свободная торговля и свобода возможностей — это идеалы, которые все еще способны воспламенить воображение многих, но лозунги «умеренной свободы торговли» и «ослабления контроля» не могут претендовать ни на интеллектуальное достоинство, ни на ответный энтузиазм.

Успех социалистов должен научить нас тому, что именно отважный утопизм обеспечил им поддержку интеллектуалов и влияние на общественное мнение, которое ежедневно делает возможным то, что еще вчера казалось недостижимым. Те, кто ограничивали себя только практически возможным (при данном состоянии общественного мнения), постоянно обнаруживали, что их усилия делаются политически нереализуемыми из-за изменения общественного мнения, которым они и не пытались руководить. Если мы в очередной раз не сумеем сделать философское обоснование свободного общества животрепещущим вопросом интеллектуальной жизни, если не сумеем привлечь к этому наши лучшие и самые энергичные умы, перспективы свободы будут безрадостны. Но битва еще не проиграна, если мы сумеем возродить ту веру во власть идей, которая отличала либерализм в его лучшие дни[1].

Здесь Хайек высветил важную истину и важную причину для того, чтобы постоянно подчеркивать конечную цель либертарианства,— это радость и энтузиазм, которые способна возбудить логически последовательная система. Кто, скажите, пойдет на баррикады за двухпроцентное снижение налогов?

Есть и еще одна веская тактическая причина для того, чтобы придерживаться неизменных принципов. Повседневные события

общественной и политической жизни действительно являются результатом взаимодействия многих сил, зачастую — неудовлетворительным результатом противоположно направленных идеологий и интересов. Уже по этой причине для либертарианцев важно неустанно повышать ставки. Результатом призыва к двухпроцентному сокращению налога может стать только легкое понижение задуманного *повышения* налога, а вот призыв к резкому сокращению налогов может привести к существенному их понижению. Именно в этом заключается стратегическая роль экстремиста — постоянно толкать матрицу повседневных действий все дальше и дальше в своем направлении. Социалисты были особенно хороши в этой стратегии. Если заглянуть в социалистическую программу, выдвинутую 60 или даже всего 30 лет назад, вы обнаружите, что меры, которые одно или два поколения назад считались однозначно социалистическими, теперь воспринимаются как неотъемлемая часть исконного американского наследия. Таким образом, день за днем компромиссы прагматичной политики неотвратимо толкали общество к коллективизму. Нет причин, которые могли бы помешать либертарианцам достичь того же. По сути, одна из причин того, что консерватизм оказался столь слабым противником коллективизма, заключается в том, что консерватизм в силу своей природы предлагает не последовательную политическую философию, а всего лишь практически возможную защиту сложившегося *статус-кво*, лелеемого как воплощение американской традиции. При этом по мере того, как этатизм крепнет и врастает в общество, он становится, по определению, все более укоренившимся и, соответственно, все более традиционным, в силу чего консерватизм не в состоянии найти интеллектуальное оружие для его низвержения.

Верность принципам означает нечто большее, чем приверженность идеалу либертарианства. За этим также стоит стремление как можно быстрее достичь конечной цели. Короче говоря, ***либертарианец не должен отдавать предпочтение постепенному пути к цели. Он всегда должен выбирать самые быстрые пути. В противном случае он принизит значимость собственных целей и принципов.*** А если он сам оценивает их столь невысоко, кто же оценит их выше?

Словом, ***либертарианец должен выбирать самые эффективные и быстрые методы достижения свободы.*** Образцом для него должно быть то воодушевление, с которым классический либерал Леонард Э. Рид, требовавший немедленной и полной отмены регулирования цен и заработной платы после

окончания Второй мировой войны, заявил во время своего выступления: «Если бы на этой трибуне была кнопка, нажав на которую можно было бы мгновенно сделать свободными все цены и ставки заработной платы, я бы немедленно нажал на нее!»[2]

Либертарианец должен всегда быть *готов* нажать на такую гипотетическую кнопку, которая мгновенно ликвидировала бы все поползновения на свободу. Конечно, он знает, что такой волшебной кнопки не существует в природе, но для него все стратегические перспективы сформированы и окрашены его личными фундаментальными предпочтениями.

Подобная «аболиционистская» перспектива опять-таки не означает, что либертарианец утратил связи с реальностью и не отдает себе отчета в том, как скоро могут быть достигнуты его цели. Так, либертарианский борец за отмену рабства Уильям Ллойд Гаррисон отнюдь не оторвался от реальности, когда в 1830-х годах первым поднял славный лозунг немедленного освобождения всех рабов. Его цель была морально оправдана, а его стратегический реализм выражался в том, что он не рассчитывал на быстрое достижение этой цели. В главе 1 мы отметили, что сам Гаррисон проводил здесь различие: «Необходимо со всей возможной настойчивостью требовать немедленной отмены рабства, но оно, увы, будет отменено лишь постепенно. Мы никогда не говорили, что рабство будет сметено одним ударом, а вот что так должно быть — да, это мы всегда утверждали»[3]. А иначе, проницательно предупреждал Гаррисон, «ориентация на постепенное продвижение к цели в теории — это вечность на практике».

Теоретическая ориентация на постепенное продвижение к цели принижает саму цель, отодвигая ее на второе или третье место в ряду соображений нелибертарианских или даже антилибертарианских. Выбор в пользу постепенного продвижения означает, что все другие соображения имеют большее значение, чем свобода. Вы только представьте, что борец за отмену рабства сказал: «Я требую отмены рабства, но только через десять лет». Ведь тем самым предполагается, что было бы *неправильно* отменить рабство через восемь или девять лет, не говорят уж о том, чтобы сделать это *немедленно*, а потому *лучше*, чтобы оно длилось чуть дольше. Но это означало бы, что соображения справедливости отринуты и что достижение идеала не является больше для аболициониста (или либертарианца) главной целью. По сути дела, и для того, и для другого это означало бы, что они выступают за *продление* преступного и несправедливого режима.

Следование конечному и радикальному идеалу для либертарианца чрезвычайно важно, однако это, вопреки Хайеку,

не делает его утопистом. Настоящий утопист — это тот, кто поддерживает систему, противоречащую природным свойствам человека и реальному миру. Утопична та система, которая не будет работать, даже если убедить всех и каждого в необходимости ее поддержки. Утопическая система не может работать, т.е. не может функционировать устойчиво и эффективно. Утопическая цель левого коммунизма — ликвидация разделения труда и торжество единообразия — не может быть достигнута, даже если бы все пожелали немедленно ее реализовать. Она не пригодна для жизни, потому что противоречит самой природе человека и мира, потому что отвергает уникальность и индивидуальность каждой личности, ее способностей и интересов, и тем самым, несомненно приведет к настолько резкому падению производительности труда, что обречет бóльшую часть рода человеческого на быструю гибель от голода и страданий.

Короче говоря, термин «утопический» смешивает два вида препятствий на пути реализации программы, ведущей к радикальному отказу от статус-кво. Одно дело, если программа идет вразрез с природой человека и мира, а потому не сможет работать, даже если будет осуществлена. Таков утопизм коммунистический. Совсем другое дело, когда речь идет о трудностях в том, чтобы *убедить* достаточно многих людей в необходимости принятия программы. В первом случае теория плоха, потому что пренебрегает природой человека, а во втором случае мы имеем дело всего лишь с проблемой человеческой воли, с трудностью убедить достаточное число людей в правоте учения. В обычном, уничижительном смысле эпитет «утопический» применим только в первом случае. Поэтому в самом глубоком смысле либертарианская доктрина не утопична, а в высшей степени реалистична, так как это единственная теория, реально соответствующая природе человека и мира. Либертарианец не отрицает разнообразия человеческой природы, он славит ее и стремится к тому, чтобы эти особенности в полной мере развернулись в мире совершенной свободы. Тем самым он обеспечивает также огромное повышение производительности труда и уровня жизни каждого человека — чрезвычайно практичный результат, глубоко презираемый настоящими утопистами как недостойный материализм.

Либертарианец в высшей степени реалистичен, потому что только он один в полной мере понимает природу государства и его властолюбия. Настоящим непрактичным утопистом является скорее выглядящий реалистом консерватор, верящий в ограниченное правительство. Консерватор продолжает твердить,

что полномочия центрального правительства должны быть строго ограничены конституцией. Неустанно сетуя на искажение первоначальной Конституции и на расширение федеральной власти после 1789 года, он не способен извлечь правильные уроки из этого перерождения. Идея строго ограниченного конституционного правительства была замечательным экспериментом, однако он провалился даже при очень благоприятных обстоятельствах. Но какие тогда есть основания рассчитывать, что другой подобный эксперимент не будет ждать та же участь? Нет, по настоящему непрактичным утопистом является именно консервативный сторонник экономической свободы, человек, который наделяет центральное правительство силой и правом принимать решения, а *потом* говорит: «Держи себя в рамках!»

Либертарианцы презирают безудержный утопизм левых еще в одном, более глубоком смысле. Левые утописты неизменно постулируют необходимость резкого изменения природы человека — с их точки зрения, у человека *нет* своей природы. Предполагается, что человек бесконечно податлив к действию общественных институтов, а потому и возникает мечта, что коммунизм (или переходная социалистическая система) создаст *нового коммунистического человека*. Либертарианец верит, что в конечном итоге человек наделен свободой воли и сам себя формирует, а потому глупо надеяться на то, что *новый общественный порядок* обеспечит единообразное и одномоментное изменение людей. Либертарианец *хотел бы* стать свидетелем нравственного улучшения всех и каждого, хотя его нравственные идеалы вряд ли совпадают с социалистическими. Он, например, был бы чрезвычайно рад, если бы у человека отмерло всякое желание подавлять другого человека. Но он слишком большой реалист, чтобы на это рассчитывать. Поэтому либертарианская система задумана так, чтобы при любых имеющихся ценностях и установках людей она была бы более нравственной и работала бы лучше, чем любая другая. Чем меньше будет тяга к агрессии, тем, разумеется, лучше будет работать *любая* общественная система, включая либертарианскую, и тем меньше будет потребность, например, в полиции и судах. Но функциональность либертарианской системы не зависит от подобных изменений.

Если либертарианец должен настаивать на немедленной реализации свободы и ликвидации этатизма, если теоретическая ориентация на постепенные меры противоречит этой цели, что еще можно сказать о стратегических позициях либертарианства в современном мире? Должен ли либертарианец всегда и везде

требовать немедленного перехода к свободе? Всегда ли будут нелегитимны промежуточные требования, половинчатые шаги к практической свободе? Нет, это означало бы стать пленником другой стратегической ловушки, левого уклонизма. Если одни либертарианцы слишком часто оказывались оппортунистами, склонными забывать о своем идеале, то другие впадали в противоположное заблуждение и осуждали любое практическое продвижение к цели как предательство и забвение высших идеалов. Трагедия в том, что осуждающие любое практическое улучшение, не приводящее к конечной цели либертарианского движения, делают пустой и бессмысленной саму эту цель. Каждый из нас был бы невероятно рад, если бы удалось достичь полной свободы одним скачком, но ведь реальные перспективы такого счастья невелики. Социальные изменения не всегда бывают постепенными и малозаметными, но и глубокие резкие изменения тоже происходят нечасто. Осуждая любое постепенное продвижение к цели, эти сектанты от либертарианства делают невозможным ее достижение даже в самом отдаленном будущем.

Поэтому в отношении к конечной цели и левые уклонисты, и правые оппортунисты в равной мере оказываются «ликвидаторами»[4*]. Достаточно любопытно, что порой человек переходит от одной крайности к другой и после каждого такого перехода продолжает искренне презирать истинный стратегический курс. Так, разочаровавшись в бесплодности чистого идеала, не приносящего никаких реальных улучшений, левый уклонист может превратиться в ярого сторонника правого оппортунизма, готового ради небольших краткосрочных улучшений пожертвовать даже конечной целью. Либо правый оппортунист может преисполниться отвращения к компромиссной позиции своих коллег, пренебрегающих интеллектуальной последовательностью и честностью, и перейти на позиции левого уклонизма, порицающего установление *любых* стратегических приоритетов в отношении этой цели. Таким образом, эти два направления взаимно питают и усиливают друг друга, и оба чрезвычайно разрушительны для решения главной задачи, для достижения основной цели либертарианства.

Откуда же мы узнаем, чем является та или иная полумера или промежуточное требование — шагом вперед или, напротив, оппортунистическим предательством? При ответе на этот вопрос нужно использовать два важнейших критерия: 1) о каком бы переходном требовании ни шла речь, следует не терять из виду конечную цель — достижение всеобщей свободы, и 2) никакие шаги или меры не должны явным или скрытым образом *противоречить* конечной цели. Тактические требования могут

быть сколь угодно половинчатыми, но они никогда не должны противоречить главной цели, в противном случае они будут вести нас в противоположном направлении, а это и будет оппортунистической ликвидацией либертарианского идеала.

Примером такой пагубной оппортунистической стратегии может служить система налогообложения. Либертарианец стремится к полной ликвидации налогов. Для него борьба за резкое сокращение или отмену подоходного налога является шагом в правильном направлении. Но либертарианец не должен поддерживать увеличение существующих налогов или введение новых. Например, доказывая необходимость значительного сокращения подоходного налога, он не должен предлагать заменить его налогом с продаж или чем-нибудь в этом роде. Уменьшение, а еще лучше отмена налога — это всегда однозначное уменьшение власти государства и существенный шаг к свободе, а вот замена одного налога другим или повышение налогов всегда имеет противоположное значение, потому что говорит о дополнительном наступлении государства на каком-то другом направлении. ***Введение нового налога или повышение налога просто противоречат конечной цели либертарианства.***

Сходным образом, в нашу эпоху постоянного дефицита федерального бюджета часто приходится сталкиваться с практической проблемой: следует ли одобрить снижение налогов, если результатом этого будет увеличение дефицита бюджета? Консерваторы, которые по своим соображениям предпочитают сокращению налогов сбалансированный бюджет, неизменно выступают против любого снижения налогов, если это мероприятие не сопровождается равным или бóльшим по величине снижением государственных расходов. Но поскольку *налогообложение представляет собой нелегитимный акт агрессии, любое противодействие снижению налогов — любому снижению налогов — прямо противоречит цели либертарианцев*. Против государственных расходов нужно выступать тогда, когда принимают бюджет, и в этот момент либертарианец *должен призывать* к резкому сокращению расходов. Короче говоря, нужно всеми мерами добиваться ограничения и уменьшения активности правительства. Любая оппозиция уменьшению налогов или расходов недопустима, потому что напрямую противоречит целям и принципам либертарианства.

Особенно опасным оппортунистическим искушением является склонность ряда либертарианцев, в первую очередь из числа членов Либертарианской партии, изображать ответственность и реалистичность, предлагая какой-нибудь четырехлетний план разгосударствления. Имеет значение не то,

что план четырехлетний, а не, скажем, трехлетний, а сама идея утверждения программы планового перехода к полной свободе. Например, на первом году следует отменить закон *A*, изменить закон *B*, урезать налог *C* на 10% и т.д. На втором году нужно отменить закон *D*, а налог *C* урезать еще на 10%. Главная проблема с этим планом, резко противоречащим самому принципу либертарианства, состоит в том, что из него следует, что закон *D* не следует отменять раньше, чем наступит второй год реализации программы. А ведь здесь и скрывается ловушка постепенных мер, о которой мы говорили выше! Эти якобы либертарианские стратеги заняли такую позицию, что оказались против более быстрого продвижения к свободе, чем это предусмотрено их планом. А ведь нет никаких основательных причин, чтобы двигаться к свободе медленно, а не быстро — скорее уж наоборот.

У идеи программы планового перехода к свободе есть еще один внутренний изъян. Сам плановый характер тщательно продуманной программы предполагает, с одной стороны, что государство на самом деле не является общим врагом человечества, что можно и даже желательно *использовать* государство для осуществления постепенного и размеренного продвижения к свободе. С другой стороны, идея, что государство является главным врагом человечества, ведет к совершенно другой стратегической позиции, в соответствии с которой либертарианец должен добиваться *любого* сокращения власти или активности государства. Такое сокращение нужно приветствовать всегда и везде как снижение уровня преступности и агрессии. Поэтому ***либертарианцу следует не мечтать об использовании государства для проведения планомерного разгосударствления, а уничтожать все проявления этатизма где и когда это становится возможно.***

В соответствии с этими соображениями Национальный комитет Либертарианской партии в октябре 1977 года принял декларацию о стратегии, в которой было и следующее:

> Мы должны высоко держать знамя неизменности своих принципов и никогда не поступаться нашей целью… Нравственный императив либертарианского принципа требует покончить с тиранией, несправедливостью, отсутствием полной свободы и нарушениями прав.
>
> К любому половинчатому требованию следует относиться, как и сказано в платформе Либертарианской партии, как к достижению промежуточному и

уступающему по значению главной цели. Поэтому любое такое требование следует понимать как шаг на пути к нашей конечной цели, а не как самоценную цель.

Высоко держать знамя наших принципов означает тщательно избегать любых постепенных мер: мы должны избегать того мнения, что во имя чести, облегчения страданий или исполнения надежд нам следует проявлять умеренность и остановиться на пути к свободе. Свобода должна быть нашей всепоглощающей целью.

Мы не должны связывать себя с какой-либо определенной стратегией разгосударствления, потому что это будет истолковано как согласие с продолжением политики этатизма и нарушения прав. Поскольку мы не должны оправдывать сохранение тирании, мы должны всегда и везде приветствовать любые меры разгосударствления.

Таким образом, либертарианец должен *всячески избегать* ловушки, представляющей собой веру в *позитивное* действие государства. С его точки зрения, от правительства нужно только одно — *как можно быстрее уйти из всех сфер жизни общества*.

Необходимо также избегать противоречий в высказываниях. Либертарианец не должен допускать высказываний, не говоря уж о политических рекомендациях, которые могли бы повредить нашей конечной цели. Представим, например, что его попросили высказаться о проекте снижения налога. Даже если он чувствует, что в данный момент не стоит распространяться о необходимости отмены всех налогов, он *обязан* избегать при этом таких беспринципных высказываний в поддержку снижения налога, как: «Что ж, конечно, без каких-то налогов не обойтись». Высказывания, которые вводят публику в заблуждение и противоречат главному принципу, могут только навредить нашей конечной цели.

Достаточно ли одного образования?

Все либертарианцы, независимо от фракций, к которым они принадлежат, и убеждений, подчеркивают значимость образования и привлечения как можно большего числа преданных и понимающих людей в свои ряды. Проблема, однако, в том, что подавляющее большинство либертарианцев имеет очень

упрощенное понимание роли и масштабов этого обучения. Короче говоря, они даже не пытаются ответить на вопрос: а что будет после обучения? Действительно, что дальше? Что будет после того, как мы убедим в своей правоте то или иное количество человек? Скольких нужно убедить, чтобы переходить к следующей стадии? *Каждого*? Большинство? Многих?

Многие либертарианцы исходят из того, что образования достаточно: любого человека с равной вероятностью можно привлечь в свои ряды. *Каждого* можно обратить в свою веру. Логически, конечно, это верно и возразить тут нечего, а *социологически* — это слабая идея. Уж кто-кто, а либертарианцы должны понимать, что *государство — это паразит и враг общества, что оно создает правящую элиту, которая господствует над всеми нами и получает доход с помощью принуждения. Убедить* правящую группу в том, что она творит беззаконие, хоть и возможно логически, но на практике почти недостижимо (разве что одного-двух человек в виде исключения). Сколько шансов, например, на то, чтобы убедить руководство корпораций General Dynamics или Lockheed в необходимости отказаться от правительственных щедрот? Насколько реальна возможность, что президент Соединенных Штатов прочтет эту книгу или любое другое либертарианское издание и воскликнет: «Они правы, а я был неправ. Все, ухожу в отставку»? Очевидно же, что шансы обратить в свою веру тех, кто жиреет за счет государственной эксплуатации населения, совершенно ничтожны. Мы можем надеяться лишь на то, чтобы переубедить основную массу людей, являющихся жертвой государственной власти, но следует забыть о тех, кому она выгодна.

Когда мы говорим это, мы одновременно утверждаем, что за проблемой обучения лежит проблема власти. После того как нам удастся привлечь в свои ряды достаточное число людей, мы встанем перед задачей найти пути и возможности удалить государственную власть из нашего общества. Поскольку государство не будет столь любезным, чтобы самому отказаться от власти, придется использовать не только образование, но и меры давления. Какими именно будут эти меры — голосование, альтернативные неправительственные учреждения или массовый отказ от сотрудничества с государством — зависит от обстоятельств времени и от того, как все будет развиваться. В отличие от вопросов теории и принципов, выбор тактики — при условии, что она не противоречит принципам и конечной цели нашего движения,— это дело прагматическое, дело суждения и политического искусства.

На какие группы можно рассчитывать?

Образование останется нашей главной задачей на достаточно неопределенный срок. Но есть важный стратегический вопрос: *кого* обучать? Поскольку надеяться на то, что нам удастся перетянуть на свою сторону правящую элиту, не приходится, на кого следует нам рассчитывать? На какие социальные, профессиональные, экономические или этнические группы?

Консерваторы нередко обращают надежды на крупных предпринимателей. Этот взгляд на большой бизнес наиболее четко выражен в известном изречении Айн Рэнд: «Большой бизнес — преследуемое меньшинство нашего общества». Преследуемое? Если не считать небольшого числа исключений, весь большой бизнес стоит в очереди к большой государственной кормушке. И кто же здесь чувствует себя преследуемым? Быть может, корпорации Lockheed, General Dynamics, AT&T или Нельсон Рокфеллер?

Крупный бизнес поддерживает корпоративное и милитаристское «государство всеобщего благосостояния» столь открыто и широко, причем на всех уровнях — от местного до федерального, что это были вынуждены признать даже многие консерваторы. Чем можно объяснить столь откровенную поддержку со стороны «преследуемого меньшинства нашего общества»? Консерваторы могли бы предположить, что либо а) эти дельцы туповаты и не понимают собственной экономической выгоды, либо б) левые интеллектуалы запудрили им мозги и отравили сердца чувством вины и искаженно понятого альтруизма. Ни одно из этих объяснений, однако, не выдерживает критики, и чтобы убедиться в этом, достаточно лишь бросить взгляд на корпорации AT&T или Lockheed. Крупные предприниматели обычно бывают убежденными этатистами и либералами-корпоративистами не потому, что их сознание отравлено интеллектуалами, а потому, что они умеют правильно ориентироваться в жизни. С тех пор, как в начале XX века началось ускоренное огосударствление американской жизни, они использовали огромные возможности, открываемые государственными контрактами, субсидиями и картелизацией, для того чтобы добиваться привилегий за счет всех остальных. Не слишком большой натяжкой будет утверждение, что Нельсон Рокфеллер в основном руководствуется собственной выгодой, а не сумасбродным альтруизмом. Даже либералы, в общем, признают, что, например, обширная сеть органов государственного регулирования используется для картелизации всех отраслей в пользу частных фирм и за счет общества в целом.

Но чтобы спасти свое преклонение перед «новым курсом», либералам приходится утешать себя мыслью, что регулирующие ведомства и прочие реформы, проведенные администрациями Вильсона и Рузвельта, были созданы исключительно ради общего блага. Таким образом, идея и происхождение регулирующих ведомств и других либеральных реформ вполне благонамеренны, вот только на практике эти ведомства как-то запутались в грехах и в служении частным, корпоративным интересам. Но Колко, Вайнштейн, Домхофф и другие историки-ревизионисты показали с исчерпывающей полнотой, что все это только либеральная мифология. В действительности эти реформы были задуманы, разработаны и пролоббированы на национальном и местном уровне самими привилегированными группами. В трудах этих историков убедительно показано, что безгрешного золотого века реформ *не было*. Нет, изъян присутствовал здесь с самого начала, с момента зачатия. *Либеральные реформы периода прогрессистов, «нового курса», «государства всеобщего благосостояния» были задуманы для получения именно того результата, который мы все и имеем, для создания мира централизации, этатизма и партнерства между правительством и бизнесом. Мира, который кормится за счет предоставления субсидий и монопольных привилегий бизнесу и другим опекаемым группам.*

Ожидать, что Рокфеллеры и легион подобных им привилегированных крупных предпринимателей станут либертарианцами или хотя бы примут идеологию экономической свободы,— это пустая и тщетная надежда. Но это не значит, что нужно списать со счетов *всех* крупных предпринимателей или бизнесменов в целом. Что бы там ни говорили марксисты, не все бизнесмены и даже не все крупные предприниматели образуют однородный экономический класс с одинаковыми классовыми интересами. Напротив, когда Комитет гражданской авиации наделяет монопольными привилегиями несколько крупных авиакомпаний, или когда Федеральная комиссия по связи США предоставляет монопольные привилегии AT&T, множество других фирм и бизнесменов, малых и крупных, терпят ущерб, потому что на них эти привилегии не распространяются. Когда, например, Федеральная комиссия по связи предоставила AT&T монопольное положение, это надолго затормозило развитие отрасли передачи данных, которая начала быстро развиваться только после того, как Комиссия разрешила конкуренцию. Привилегия подразумевает исключение, поэтому всегда существует множество фирм и бизнесменов, крупных и малых, кровно заинтересованных в том, чтобы покончить с государственным регулированием отрасли. А потому крупных и мелких предпринимателей —

особенно среди тех, кто далек от привилегированного «восточного истеблишмента»[5*],— которые могут оказаться восприимчивыми к либертарианским идеям, всегда будет достаточно.

Так от *каких* групп можно ожидать особенной восприимчивости к нашим идеям? Где, как говорят марксисты, наш «фактор социальных изменений»? Для либертарианцев это, естественно, важный стратегический вопрос, поскольку от ответа на него зависит направление наших усилий в области образования.

Заметную роль в подъеме либертарианского движения сыграла университетская молодежь. И не удивительно: учеба в колледже — это время, когда люди особенно открыты к основным проблемам нашего общества. Молодых людей очаровывает последовательность в достижении целей и неприкрытая правда, у студентов есть навык работы с абстрактными идеями, они еще не обременены заботами, их кругозор пока что шире, чем у взрослых специалистов, а потому они представляют собой плодородное поле для распространения либертарианских идей. Мы можем надеяться на больший рост либертарианства в университетских кампусах страны в будущем, и этот рост уже подготовлен расширением нашего влияния среди молодых ученых, профессоров и аспирантов.

Молодых должна привлечь позиция либертарианцев по вопросам, которые особенно близки их интересам. Это, прежде всего, наши призывы к отмене всеобщей воинской повинности, отказу от холодной войны, расширению гражданских свобод, легализации наркотиков и других преступлений без потерпевшего.

Средства массовой информации также проявили себя как богатый источник благожелательного интереса к новым либертарианским идеям. Обладающих особенной отзывчивостью ко всему новому в общественной и политической жизни журналистов привлекают не только публикуемые либертарианцами материалы, но и их непреклонность. Будучи либералами, эти журналисты особенно чутки к провалам и углубляющемуся упадку господствующего либерализма. Враждебное консервативное движение, которое автоматически записывает работников прессы в ряды левых и занимает совершенно неприемлемую для них позицию в отношении внешней политики и гражданских свобод, не может быть привлекательным для средств массовой информации. Однако журналисты и редакторы благожелательно относятся к либертарианскому движению: оно безоговорочно соглашается с

их инстинктивным подходом к вопросам мира и личных свобод, а кроме того устанавливает связь между действиями «большого» правительства в этих областях и правительственным вмешательством в экономику и сферу прав собственности. Все большее число журналистов начинает понимать, что все эти области взаимосвязаны, и это, конечно, чрезвычайно важно в силу влияния прессы на публику в целом.

А как насчет «средней» Америки — огромного среднего класса и рабочих, которые вместе составляют большинство американского населения и по основной части вопросов несогласны с университетской молодежью? Можем ли мы чем-нибудь привлечь их? Если подходить логически, то для «средней» Америки мы должны быть особенно привлекательны. Мы прямо поднимаем те проблемы, которые вызывают особенное недовольство,— рост налогов, инфляция, дорожные пробки, преступность, скандалы в системе соцобеспечения. Только либертарианцы предлагают конкретные и последовательные способы решения этих проблем, предлагают вывести все эти сферы из-под влияния правительства и превратить их в зону частной добровольной деятельности. Мы можем показать, что во всех этих проблемах виновато правительство и что их решение заключается в том, чтобы сбросить с наших плеч государство с присущим ему принуждением и насилием.

Малому бизнесу мы можем пообещать мир подлинно свободного предпринимательства, мир, освобожденный от созданных государством и правящей верхушкой монопольных привилегий, картелей и субсидий. Им и крупным предпринимателям, не попавшим в привилегированный круг монополистов, мы можем обещать мир, в котором их личные таланты и энергия смогут полностью раскрыться в создании более совершенных технологий и росте производительности, что принесет выгоду им и каждому из нас. Этническим группам и меньшинствам мы можем доказать, что в условиях свободы они смогут преследовать собственные интересы и развиваться, не опасаясь препятствий и насилия со стороны правящего большинства.

Короче говоря, либертарианство потенциально привлекательно для многих классов и групп. Его привлекательность не связана с расовой и профессиональной принадлежностью, с возрастом и экономическим положением. Каждый из тех, кто не принадлежит к правящей элите, потенциально восприимчив к нашим идеям. Каждый человек и каждая группа, если они ценят свободу и материальный достаток, могут стать приверженцами либертарианского мировоззрения.

Свобода привлекательна для всех групп общества. Но дело в том, что, когда все идет хорошо, большинство людей перестает интересоваться общественной жизнью. Радикальные общественные изменения, переходы к другой социальной формации происходят только при наличии того, что именуют «кризисной ситуацией». Короче говоря, разработка альтернативных решений начинается только тогда, когда рушится существующая система. А когда начинается широкий поиск социальных альтернатив, активисты диссидентского движения должны быть готовы предложить радикальную альтернативу, должны суметь соотнести кризис с внутренними недостатками системы, указать на то, как альтернативная система разрешит существующий кризис и предотвратит подобные ситуации в будущем. Будем надеяться, что диссиденты смогут также продемонстрировать, что они давно уже предостерегали публику о надвигающемся кризисе и предсказывали его неизбежность[6].

Более того, одной из особенностей кризисных ситуаций является то, что сами правящие элиты начинают отворачиваться от системы. В условиях кризиса даже часть государственного аппарата начинает терять вкус к власти. Короче говоря, у государства сдают нервы. В ситуации краха и упадка даже члены правящей элиты могут стать приверженцами альтернативной системы или, по меньшей мере, могут утратить преданность существующей. Историк Лоуренс Стерн подчеркивает, что необходимым условием радикальных перемен является упадок и разложение правящей элиты. «Элита может утратить искусство манипулирования или силовое превосходство, она может лишиться уверенности в себе и сплоченности, может утратить контакт с теми, кто не входит в элиту, прогнуться под давлением финансового кризиса; она может оказаться некомпетентной, слабой или зверски жестокой»[7].

Почему свобода победит

Мы рассмотрели элементы либертарианского мировоззрения, то, как в его рамках трактуются основные современные проблемы, кратко описали общественные группы, которые это мировоззрение может привлечь, и условия, при которых это может произойти, а теперь должны оценить перспективы свободы. В частности, нужно рассмотреть наше твердое и продолжающее крепнуть убеждение в том, что либертарианство восторжествует *не только* в отдаленной перспективе, но что его победы следует ждать в самом недалеком будущем. Я убежден, что темная ночь

тирании заканчивается и недалека уже новая заря свободы.

Многие либертарианцы крайне пессимистичны в вопросе о перспективах свободы. Если задуматься о росте этатизма в XX веке и закате классического либерализма, представление о чем мы дали в вводной главе, жертвой пессимистического прогноза оказаться легко. Пессимизм может стать еще безысходнее, если вспомнить историю человечества и мрачные летописи известных нам цивилизаций, полных деспотизма, тирании и эксплуатации. Можно было бы простить нам мысль, что подъем классического либерализма на Западе в период с XVII по XIX век был одним из редчайших проявлений славы и доблести в мрачных анналах прошлых и будущих веков. Но мыслить так было бы уступкой тому, что марксисты именуют импрессионизмом, — мы остались бы на поверхности исторических событий, не делая попытки глубже проанализировать действие причинно-следственных связей.

Аргумент в пользу оптимизма можно найти в серии своего рода концентрических кругов, начиная с самых широких и долгосрочных соображений и кончая самыми краткосрочными тенденциями. В самом широком и отдаленном смысле либертарианство в конечном счете победит, потому что оно и только оно совместимо с природой человека и мира. Только свобода может дать человеку материальное благополучие, возможности для самореализации и счастья. Иными словами, либертарианство победит, потому что оно верно, потому что для человечества это самая правильная дорога, а в конечном счете всегда побеждает истина.

Но это, пожалуй, слишком отдаленная перспектива, и живущих сегодня мало утешает надежда, что истина победит через много столетий. К счастью, есть основания надеяться и на более близкое будущее, поскольку можно быть уверенным, что мрачные исторические закономерности, действовавшие до XVIII века, на нас больше не распространяются.

Можно только радоваться тому, что история совершила огромный скачок, когда классические либеральные революции сделали возможной Промышленную революцию XVIII и XIX веков[8]. Ведь в доиндустриальном мире, в мире Старого порядка и крестьянской экономики, не существовало никаких помех тому, чтобы тирания и деспотизм не могли существовать неопределенно долго, многие-многие века. Крестьяне выращивали продукты питания, а короли, знать и феодальные землевладельцы оставляли им ровно столько, чтобы те могли сохранить жизнь и трудоспособность — все остальное они забирали себе. Жестокий и мрачный аграрный деспотизм был

устойчив по двум основным причинам: 1) экономика худо-бедно функционировала, хоть и на грани выживания, и 2) массы не знали лучшей жизни, а потому их можно было заставить работать как вьючный скот.

Промышленная революция все изменила, потому что необратимым образом трансформировала исторические условия и ожидания людей. Впервые в мировой истории возникло общество, в котором уровень жизни масс поднялся от простого выживания до невиданных прежде высот. Появление новых рабочих мест и повышение уровня жизни запустили механизм увеличения численности населения Запада, которая веками оставалась неизменной. Пути возврата в доиндустриальную эпоху были закрыты. Мало того, что массы не согласились бы с крахом своих надежд на дальнейшее повышение уровня жизни,— возврат к чисто аграрной экономике означал бы массовый голод и гибель значительной части населения. Нравится нам это или нет, но пути назад больше нет.

Но если все так, то за дело свободы можно не беспокоиться. Как показала экономическая наука, а отчасти продемонстрировали и мы в этой книге, индустриальная экономика может работать *только* в условиях свободы и свободного рынка. Иными словами, свобода экономики и общества были бы желательны и справедливы и в доиндустриальном мире, но в условиях развитой промышленности они стали жизненной *необходимостью*. Как показали Людвиг фон Мизес и другие экономисты, в условиях индустриальной экономики этатизм просто не работает. А поскольку все мы существуем в индустриальном мире, в конечном счете — и намного быстрее, чем истина станет всеобщим достоянием, — станет ясно, что для выживания и процветания промышленности миру придется принять режим свободы и свободного рынка. Именно это имели в виду Герберт Спенсер и другие либертарианцы XIX века, когда подчеркивали различие между военным и индустриальным обществом, между обществом статусным и договорным. В XX веке Мизес продемонстрировал, что: а) все акты государственного вмешательства в экономику искажают и уродуют рынок и открывают прямой путь к социализму и б) социализм — это катастрофа, поскольку он делает невозможным развитие индустриальной экономики в силу исчезновения регулирующего механизма «прибыли/убытки»,а отсутствие прав собственности на капитал, землю и другие средства производства выводят из строя ценовой механизм. Иными словами, Мизес доказал неработоспособность как чистого социализма, так и

всевозможных промежуточных форм огосударственной экономики и интервенционизма. А учитывая тот факт, что индустриальная экономика стала судьбой современного мира, эти формы этатизма неизбежно будут отброшены и заменены режимом свободы и свободных рынков.

Время уже сжалось и ускорилось, но для классических либералов начала XX столетия, таких как Самнер, Спенсер и Парето, все выглядело так, будто оно застыло. И нельзя их винить в этом, потому что им пришлось стать свидетелями упадка классического либерализма и рождения нового деспотизма, приходу которого они противились с замечательной выдержкой и упорством. Увы, все это в прошлом! Настоящее — это всегда становление. Миру придется ждать — если не столетия, то десятилетия,— пока социализм и корпоративное государство не проявят свой тупиковый характер с окончательной убедительностью.

По большому счету, будущее уже наступило. Нет нужды предсказывать разрушительные последствия социализма и этатизма — они повсюду перед нами. Лорд Кейнс как-то высмеял рыночных экономистов, предсказавших, что в долгосрочной перспективе последствия предложенной им инфляционной политики будут разрушительны. В ответ он с ухмылкой произнес, что «в долгосрочной перспективе мы все — мертвецы». Лорд *Кейнс* мертв, а мы живем в *его* долгосрочной перспективе. Цыплятки этатизма приготовились ночевать на насесте.

В первые десятилетия XX века подобной ясности еще не было. Этатистские силы использовали всевозможные приемы, чтобы сохранить и даже расширить индустриальную экономику, отвергая при этом любые требования о свободе и свободном рынке, без которых в длительной перспективе эта экономика нежизнеспособна. В течение полувека этатисты всех мастей проводили свои хищнические опыты над экономикой — ее планировали, регулировали, подвергали действию растущих налогов и инфляции, но при этом *очевидных* кризисов и деформаций не возникало. Дело в том, что рыночная индустриализация XIX века создала в экономике огромную «жировую подушку», защищавшую ее от последствий этих экспериментов. Правительство могло свободно, без фатальных последствий для экономики оперировать налогами, ограничениями и инфляционным давлением.

Но сегодня огосударствление экономики зашло настолько далеко и длится это уже так долго, что эта «подушка» истощилась. Еще в 1940-х годах Мизес предсказывал, что резервный фонд, созданный эпохой *laissez-faire*, будет истощен.

Поэтому сегодня негативные последствия действий правительства проявляются почти мгновенно — и эти пагубные последствия несомненны для всех, даже для самых упорных апологетов этатизма.

В коммунистических странах Восточной Европы даже коммунисты все острее понимают, что социалистическое централизованное планирование в условиях индустриальной экономики просто не работает. В последние годы это стало причиной быстрого отхода от централизованного планирования к свободной экономике, что особенно заметно в случае Югославии. Да и в западном мире государственный капитализм повсеместно пребывает в состоянии кризиса, потому что финансовый фундамент государства трещит по швам: рост налогов грозит окончательно уничтожить стимулы к инвестициям и сбережениям, а дальнейшее печатание новых денег грозит разрушительной безудержной инфляцией. Поэтому о «необходимости не возлагать слишком больших ожиданий на правительство» заговорили повсеместно, причем даже самые твердые этатисты. В Западной Германии Социал-демократическая партия давно уже отбросила призывы к социализму. В Великобритании, страдающей от убийственных налогов и инфляции — сочетание, которое даже британцы стали называть «английской болезнью»,— партия тори, этот оплот несгибаемого этатизма, передала руководство фракции рыночников, а лейбористы отшатнулись от запланированного хаоса государственной экономики.

Особые основания для оптимизма дают Соединенные Штаты, потому что здесь благоприятных изменений можно ждать уже в ближайшем будущем. Можно с уверенностью утверждать, что в Соединенных Штатах возникла ситуация перманентного кризиса, и можно даже точно указать дату его начала — 1973–1975 годы. К счастью для дела свободы, США охвачены кризисом не только этатизма, но и самых разных сторон жизни общества. Поэтому кризисные явления в разных сферах имели синергетический эффект, поддерживали и усиливали друг друга. И дело не только в самом кризисе этатизма, но еще и в том, что он был воспринят всеми как результат деятельности государства, а не как порождение свободного рынка или алчности бизнеса и населения. Наконец, единственный выход из этого кризиса предполагает выведение государства за скобки. Теперь нужно только, чтобы либертарианцы показали этот выход.

Я предлагаю бегло ознакомиться с разными сторонами системного кризиса, начавшегося в 1973–1975 годах. С конца 1973 и до 1975 года Соединенные Штаты пребывали в состоянии

инфляционной депрессии — и это после 40 лет «точной настройки» экономики по кейнсианским рецептам, что должно было привести к окончательному устранению обеих проблем — инфляции и депрессии. В этот же период инфляция достигла пугающих двузначных значений.

Более того, в 1975 году Нью-Йорк испытал первый долговой кризис, приведший к частичному дефолту. Пугающего слова «дефолт» удалось избежать, а тяготы банкротства переложили на плечи кредиторов, которым пришлось обменять краткосрочные нью-йоркские облигации на новые долгосрочные. Это был лишь первый из целого ряда долговых кризисов, поразивших многие города и штаты страны. В дальнейшем властям штатов и городов придется делать малоприятный выбор между радикальным сокращением расходов, повышением налогов, что может обернуться исходом с этих территорий предприятий и среднего класса, и объявлением дефолта.

С начала 1970-х годов стало ясно, что высокие подоходные налоги, сбережения и инвестиции наносят тяжкий ущерб деловой активности и производительности. Бухгалтеры только сейчас начинают понимать, что эти налоги, в сочетании с инфляционным искажением деловых перспектив, создали опасность того, что Америка может проесть свой производительный капитал, даже не заметив этого.

Страну захлестывает протест против налогов — на недвижимость, на доход и на торговый оборот. Можно уверенно прогнозировать, что любое дальнейшее повышение налогов станет для политиков всех уровней политическим самоубийством.

Ужасающее состояние системы социального обеспечения, которая долгое время не подвергалась никакой критике, стало бесспорно очевидным, как об этом давно предупреждали либертарианцы и экономисты-рыночники. *Теперь* даже правящие круги признают, что системе социального обеспечения грозит банкротство, поскольку она никоим образом не является системой социального страхования.

Система отраслевого регулирования настолько зашла в тупик, что даже такой принципиальный этатист, как сенатор Эдвард Кеннеди, присоединился к призыву отказаться от регулирования авиаперевозок; начались разговоры о ликвидации Комитета гражданской авиации и Федеральной комиссии по связи.

Под огонь критики попала некогда неприкосновенная система государственного школьного образования. Государственные школы, диктующие решения в области

образования целым районам, порождают острые социальные конфликты, связанные с расой, сексом, религией и самими образовательными программами. Нарастает критика государственной системы борьбы с преступностью и содержания под стражей: либертарианец д-р Томас Жаж почти в одиночку сумел освободить многих граждан от принудительного лечения, да и само правительство теперь признает, что государственная политика реабилитации оказалась бесплодной. Имеет место полный провал политики запрета наркотиков, таких как марихуана, и неконвенциональных форм сексуального поведения. В обществе зреет понимание необходимости отменить все законы, наказывающие за так называемые преступления без потерпевшего. Становится все более и более ясным, что дальнейшие попытки проведения этих законов в жизнь могут привести лишь к возникновению полицейского государства. Близится время, когда все запреты в сфере личного поведения будут считаться столь же неэффективными и несправедливыми, как сухой закон.

На фоне катастрофических последствий государственной деятельности в области экономической и общественной жизни пришло известие о поражении во Вьетнаме, которое стало окончательным фактом в 1975 году. Поражение Америки в войне с Северным Вьетнамом привело к пересмотру всей интервенционистской внешней политики, проводимой США со времен президентов Вудро Вильсона и Франклина Д. Рузвельта. Растущее признание того, что Америке пора вернуться в собственные границы, что американское правительство не может успешно править миром, представляет собой неоизоляционистский аналог утверждения, что правительство не должно вмешиваться в экономическую и общественную жизнь. Хотя американская внешняя политика остается все столь же агрессивной и глобалистской, эти неоизоляционистские настроения сумели ограничить американское вмешательство в дела Анголы в 1976 году.

Пожалуй, самым ярким признаком кризиса американского государства, краха его моральной основы, стал уотергейтский скандал, обрушившийся на страну в 1973–1974 годах. Именно Уотергейт стал знаком надежды на близкую победу свободы в Америке. Ведь Уотергейт, как с самого начала и предупреждали нас политики, разрушил всеобщую веру в правительство — и это было замечательно. Он заставил буквально *каждого*, независимо от его идеологической ориентации, изменить свое отношение к государству, открыв глаза на то, что правительство, практикующее подслушивание, подглядывание, игры с

наркотиками, агентами-провокаторами и даже убийствами, является источником угрозы для личной свободы и частной собственности. Уотергейт открыл для критики прежде неприкосновенные ведомства — ЦРУ и ФБР. Что еще важнее, приведя президента к импичменту, Уотергейт разоблачил и выставил в естественном свете саму эту должность, занимавшую столь важное место в сознании американской публики. Никогда впредь президент не сможет опять встать над законом, никогда впредь его больше не будут считать непогрешимым.

Но еще важнее то, что та же участь постигла и *само* правительство. Никто больше не верит политикам или правительству, на власть смотрят с неизменной враждебностью, что возвращает нас в состояние здорового недоверия к власти, которое было характерно для американского общества и американских революционеров XVIII века.

Какое-то время казалось, что Джимми Картер сможет исполнить обещание и вернуть публике доверие к правительству. Но, благодаря фиаско Берта Ланса[9*] и другим грешкам, обещания своего Картер не сдержал. Кризис правительства продолжается.

Таким образом, в Соединенных Штатах созрели условия для торжества свободы. Недостает лишь растущего и энергичного либертарианского движения, которое должно объяснить публике истоки этого системного кризиса и показать выход из созданной правительством трясины. Но, как было показано в начале этой работы, именно этим мы и заняты в настоящее время. Теперь мы подошли, наконец, к обещанному ответу на вопрос, поставленный во вводной главе: почему именно *сейчас*? Если уж либертарианские ценности так укоренены в американской традиции, то почему только в последние лет пять они вышли на поверхность?

Ответ в том, что возникновение и быстрый рост либертарианского движения не случайны, а являются отражением кризисной ситуации, поразившей Америку в 1973–1975 годах. Кризисные ситуации всегда пробуждают интерес к поиску решений. И кризис заставил ряд мыслящих американцев понять, что в это болото нас завело правительство, и только свобода — освобождение от правительства — может вывести нас из него. Мы растем, потому что появились условия. В известном смысле здесь все как на рынке — спрос создал предложение.

Вот почему Либертарианская партия получила 174 000 голосов в 1976 году, когда она впервые приняла участие в борьбе за пост президента. Вот почему авторитетный информационный бюллетень по вопросам политики, The Baron Report — издание

отнюдь не либертарианское по духу — опроверг недавние утверждения средств массовой информации о том, что избиратели склоняются к большему консерватизму. Бюллетень, напротив, указывает что «если и можно говорить о каком-то смещении общественного мнения, то оно направлено в сторону либертарианства — в сторону философии, выступающей против правительственного вмешательства и за личные права». Далее отмечено, что либертарианство привлекательно для обоих полюсов политического спектра: «Консерваторы одобряют эту тенденцию, когда проявляется недоверие публики к федеральным программам, либералы приветствуют ее, когда она проявляется в форме повышения терпимости к расширению личных свобод в области наркотиков, ненормативного сексуального поведения и т.п., а также все более сдержанному отношению общества к вмешательству в дела других стран»[10].

К свободной Америке

Наконец, либертарианство предлагает сохранение лучшей части американского наследия и обещает куда лучшее будущее. Даже в большей мере, чем консерваторы, которые нередко являются приверженцами монархических традиций обветшавшего европейского прошлого, либертарианцы крепки своей укорененностью в великой традиции классического либерализма, традиции, которая создала Соединенные Штаты и даровала нам стремление к личной свободе, мирной внешней политике, ограниченному правительству и свободной рыночной экономике. Сегодня либертарианцы являются единственными настоящими наследниками Джефферсона, Пейна, Джексона и борцов за отмену рабства.

Но будучи более традиционными и истинными американцами, чем консерваторы, мы в некоторых отношениях радикальнее самих радикалов. *Не* в том смысле, что мы мечтаем или намерены с помощью политических инструментов перекроить природу человека, нет, но в том смысле, что только мы готовы покончить с окрепшим в XX веке этатизмом. Старые левые хотели только увеличения масштабов всего того, от чего мы все сегодня страдаем.

Новые левые, в конечном счете, предлагают еще больший гнет государства, еще большую степень принудительного равенства и единообразия. Либертарианство — это логическая кульминация забытой теперь старой правой (1930–1940-х годов) оппозиции «новому курсу», войне, централизации и системе

государственного интервенционизма. ***Только мы хотим покончить со всеми аспектами либерального государства: с его благотворительностью и воинственностью, системой социального обеспечения и военно-промышленным комплексом, монополистическими привилегиями и эгалитаризмом, наказанием виновных в преступлениях без потерпевшего как личного, так и экономического характера. Только мы предлагаем технологии без технократии, индустриальное развитие без загрязнения окружающей среды, свободу без хаоса, закон без тирании, защиту прав на собственную личность и на собственное имущество.***

Нити и обрывки либертарианских доктрин окружают нас со всех сторон, они в нашем славном прошлом, в ценностях и идеях нашего противоречивого настоящего. Но только либертарианство берет эти нити и обрывки и соединяет их в мощную, логичную и последовательную систему. Огромный успех Карла Маркса и марксизма был рожден не вескостью его идей — все они были ошибочны, а тем фактом, что он вплел теорию социализма в мощную мировоззренческую систему. Свобода не сможет победить без столь же систематической теории, а до самого последнего времени у нас не было всеобъемлющей, целостной и последовательной теории свободы. Теперь такая теория есть. Мы выступаем во всеоружии нашего знания, подготовленные к тому, чтобы распространить нашу благую весть и поразить воображение всех слоев и групп населения. Все другие теории и системы явно потерпели крушение: социализм отступает повсюду, и прежде всего в Восточной Европе, либерализм завел нас в трясину неразрешимых проблем, консерватизму нечего предложить, кроме бесплодной защиты статус-кво. ***Еще никогда в современном мире идею свободы не пытались реализовать в полной мере. Сегодня либертарианство предлагает осуществить мечту Америки и всего мира о свободе и процветании для всех и каждого.***

notes

1.

Rothbard M.N. Conceived in Liberty. New Rochelle, N.Y.: Arlington House, 1975.Vol. 2:“Salutary Neglect”:The American Colonies in the First Half of the 18th Century.P. 194.См.также: *Gordon T.,Trenchard J.* Cato’s Letters // The English Libertarian Heritage / Ed. by D.L. Jacobson. Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1965.

2.

Договор об образовании конфедерации тринадцати штатов США.— *Примеч. пер.*

3.

О том,как радикальное либертарианство революции повлияло на саму Америку, см.:*Nisbet R.A.* The Social Impact of the Revolution. Washington, D.C.:American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1974.О влиянии на Европу см.:*Palmer R.R.* The Age of the Democratic Revolution. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1959.Vol. 1.

4.

Bailyn B. The Central Themes of the American Revolution: An Interpretation // Essays on the American Revolution / Ed.by S.Kurtz and J.Hutson. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1973.P.26–27.

5.

Цит.по:*Pease J.H., Pease W.H.* The Antislavery Argument. Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1965.P.XXXV.

6.

Есть некая ирония судьбы в том, что современная теория эволюции собирается окончательно расстаться с концепцией постепенных изменений. В соответствии с современными представлениями, для эволюционного процесса характерны резкие и внезапные скачки из одного равновесного состояния в другое, описываемые теорией прерывистых изменений (punctuational change).Один из сторонников нового подхода, профессор Стивен Джей Гулд, пишет следующее: «Градуализм — это философия изменения, а не закон природы… Прежними своими успехами градуализм в большей степени обязан сильным идеологическим компонентам, чем результатам наблюдений за природой… Влияние градуализма в значительной мере объясняется его полезностью в качестве идеологии, ведь он стал главным аргументом либерализма против радикальных перемен — скачкообразные изменения не соответствуют законам природы» (*Gould S.J.* Evolution: Explosion,Not Ascent // New York Times. 1978. January

1.

См.:*Himmelfarb G.* Lord Acton: A Study in Conscience and Politics. Chicago: Phoenix Books, 1962.P.294–305.Ср. также: *Wild J.* Plato's Modern Enemies and the Theory of Natural Law. Chicago: University of Chicago Press, 1953. P. 176.

2.

Locke J. An Essay Concerning the True Original, Extent and End of Civil Government / Ed. by E. Barker.N.Y.: Oxford University Press, 1948 (Social Contract).P. 17–18 [*Локк Дж.* Два трактата о правлении // Локк Дж. Сочинения: В 3 т.М.:Мысль,1988. Т. 3.С.277].

3.

Ibid.P.18–19 [Там же.С.276–287].Хотя Локк и был блестящим теоретиком прав собственности, мы не утверждаем, что его теория во всем последовательна.

4.

Ibid.P. 20 [Там же. С. 279].

5.

Levasseur E., Wolowski L. Property // Lalor's Cyclopedia of Political Science. Chicago: M.B.Cary, 1884.Vol. III. P. 392–393.

6.

Moon P.T. Imperialism and World Politics. N.Y.: Macmillan, 1930.P. 58.

7.

Green A.W. The Reified Villain // Social Research. 1968. Winter. P. 656.

8.

Chodorov F. The Rise and Fall of Society. N.Y.: Devin Adair, 1959.P.29–30.

1.

«Документы Пентагона» – сверхсекретное исследование предыстории участия США в войне во Вьетнаме общим объемом около 7 тыс. страниц, проведенное по указанию президента Л.Джонсона и министра обороны Р.Макнамары. В 1971 году бывший высокопоставленный сотрудник Министерства обороны Д.Эллсберг передал 47 томов этих документов в распоряжение газет New York Times и Washington Post. Администрация Никсона попыталась наложить предварительное ограничение на публикацию документов, но решением Верховного суда по делу «New York Times против Соединенных Штатов» на основании права народа знать правду и конституционной свободы слова и печати правительству было предписано опубликовать эти материалы за исключением отдельных документов и страниц, которые, по мнению Суда, могли бы в случае опубликования нанести ущерб национальной безопасности. В изложении этого документа, появившемся в газете New York Times 13 июня 1971 года под заголовком «Вьетнамский архив», участие США в войне во Вьетнаме рассматривалось как аморальное, а методы информирования общественности о ней – как бесчестные. Эллсберг был отдан под суд по обвинению в шпионаже, но затем оправдан.Суд отметил попытки его компрометации со стороны президентской администрации.– *Примеч. пер.*

2.

Calhoun J.C. A Disquisition on Government. N.Y.: Liberal Arts Press. 1953. P. 25–27.

3.

«Железный закон олигархии» – концепция, согласно которой любая формальная крупная организация, например, политическая партия или профсоюз, неизбежно приходит к олигархическому внутреннему устройству, что, в свою очередь, вызывает замещение основных целей организации на более узкие, включая поддержание сложившегося олигархического устройства.– *Примеч. пер.*

4.

Oppenheimer F. The State.N.Y.:Vanguard Press. 1926.P.24–27,passim.

5.

Nock A.J. On Doing the Right Thing, and Other Essays.N.Y.:Harper and Bros., 1928.P. 145.

6.

Schumpeter J.A. Capitalism, Socialism, and Democracy.N.Y.:Harper and Bros, 1942.P. 198 [Шумпетер Й.Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. М.: ЭКСМО,2008.С.587–588].

7.

Spooner L. No Treason.№ VI.The Constitution of No Authority. 1870.P.17 (репринт: Larkspur,Colo.: Pine Tree Press, 1966).

8.

Calhoun J.C. Op. cit.P.16–18.

9.

«В этом мире неизбежны только смерть и налоги» (Б.Франклин).– *Примеч. пер.*

10.

Burnham J. Congress and the American Tradition. Chicago: Henry Regnery, 1959.P. 6–8.

11.

Ibid.P. 3.

12.

De Jouvenel B. On Power.N.Y.:Viking Press, 1949.P. 22.

13.

Jacobs N. The Origin ofModern Capitalism and Eastern Asia.Hong Kong:Hong Kong University Press, 1958.P.161–163, 185.См.превосходную работу о всех аспектах восточного деспотизма: Wittfogel K.A. Oriental Despotism: A Comparative Study of Total Power. New Haven,Conn.:Yale University Press, 1957.

14.

Mencken H.L. A Mencken Chrestomathy. N.Y.: Alfred A.Knopf, 1949.P. 145.

15.

См.:*Liggio L.P.*Why the Futile Crusade? N.Y.: Center for Libertarian Studies, 1978.P.41–43.

16.

Kennan G.F. Realities of American Foreign Policy.Princeton, N.J.:Princeton University Press, 1954.P.95–96.

17.

Needham J. Review of Karl A.Wittfogel “Oriental Despotism” // Science and Society. 1958.P. 65.О подходе, противоположном подходу Нидхема, см.: *Lukacs J.* Intellectual Class or Intellectual Profession? // The Intellectuals / Ed. by G.B.deHuszar.Glencoe, Ill.: The Free Press, 1960.P. 522.

18.

Neustadt R. Presidency at Mid-Century // Law and Contemporary Problems. 1956.Autumn.P.609–645;Hoopes T. The Persistence of Illusion: The Soviet Economic Drive and American National Interest // Yale Review. 1960.March. P. 336.

19.

Цит.по:Hess K., *Reeves T.* The End of the Draft.N.Y.: Vintage Books, 1970. P.64–65.

20.

Raskin M. The Megadeath Intellectuals // The New York Review of Books. 1963.November 14.P. 6–7.См.также: *Nicolaus M.* The Professor, the Policeman, and the Peasant // Viet-Report. 1966. June–July.P.15–19.

21.

О типичном процессе образования государства см.: *Oppenheimer F.* Op. cit., гл. II. Хотя такие ученые, как Лоуи и Виттфогель (*Wittfogel K.A.* Op. cit. P. 324–325),оспаривают тезис Гумпловича–Оппенгеймера–Рюстова, согласно которому государство *всегда* возникало в результате завоевания, они признают, что завоевание часто играло важную роль во внутреннем развитии государств. Более того, есть свидетельства, что в первой великой цивилизации – шумерской – процветающее, свободное и незнающее государства общество существовало до тех пор, пока необходимость дать военный *отпор* завоевателям не привела к становлению постоянной военной и государственной бюрократии. Ср.: *Kramer S.N.* The Sumerians.Chicago:University of Chicago Press, 1963.P. 73 ff.

22.

De Jouvenel B. Op. cit.P. 27.

23.

Black Ch.L., jr. The People and the Court. N.Y.: Macmillan, 1960.P.42–43.

24.

24. Ibid.P.32–33.

25.

Прямой противоположностью самоуспокоенности Блэка была острая критика Конституции и полномочий Верховного суда, предложенная политологом Дж.Алленом Смитом. Он писал:«Нет сомнений, что здравый смысл требует, чтобы никакой орган правительства не мог определять границы его полномочий» (*Smith J.A.* The Growth and Decadence of Constitutional Government.N.Y.: Henry Holt, 1930.P. 87).Нет сомнений, что здравый смысл и «чудо» диктуют совсем разные взгляды на правительство.

26.

Ibid.P. 64;курсив автора.

27.

Ibid.P. 65.

1.

Договор об образовании конфедерации тринадцати штатов США, действовавший до принятия Конституции.– *Примеч. пер.*

2.

Kenyon C.M. Men of Little Faith: The Anti-Federalists on the Nature of Representative Government // William and Mary Quarterly. 1955. January.P. 3–43.

1.

Есть одно исключение: наказание преступников, которые сами порабощали свои жертвы или нападали на них. В либертарианской системе такое наказание будет включать в себя принудительный труд преступников, чтобы возместить их жертвам хотя бы часть ущерба.

2.

Примечательно, что Тринадцатая поправка делает единственное исключение для наказания осужденных преступников, отмеченное в предыдущем примечании:«Не должно существовать ни рабства, ни подневольных работ, кроме случаев наказания за преступление, за совершение которого лицо было должным образом осуждено».

3.

Ср.:*Miller J.C. III.* Why the Draft? Baltimore: Penguin Books, 1968.

4.

Ekirch A.A., jr. The Civilian and the Military.N.Y.: Oxford University Press, 1956.P. 28.Об отважной атаке джефферсоновского теоретика на руководителя исполнительной власти как главнокомандующего вооруженными силами Америки см.:*Taylor J.* [*John Taylor of Caroline*] An Inquiry into the Principles and Policy of the Government of the United States. 1814. P. 175 ff. (репринт: New Haven, Conn.: Yale University Press, 1950). О существенном влиянии на американскую революцию английских либертарианских теоретиков XVII века и об их враждебности к регулярной армии см.: *Bailyn B*. The Ideological Origins of the American Revolution. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1967.P. 61–64.См.также: *Higgenbotham D.* The War of American Independence.N.Y.: Macmillan, 1971. P. 14–16.

5.

О деле Келлемс см.: *Kellems V.* Toil, Taxes and Trouble.N.Y.: E.P.Dutton, 1952.

6.

Schafer S. Restitution to Victims of Crime. Chicago: Quadrangle Books, 1960.P. 7–8;TallackW. Reparation to the Injured and the Rights of the Victims of Crime to Compensation. London,1900.P.11–12.

7.

Оживленную критику правовых привилегий полицейских и тюремных властей см. в работе: *Mencken H.L.* The Nature of Liberty // Mencken H.L. Prejudices: A Selection.N.Y.:Vintage Books,1958.P.138–43.

8.

Один из наиболее мрачных эпизодов войны во Вьетнаме, в ходе которого отряд американских солдат под командованием капитана Э. Мединии и лейтенанта У.Колли 16 марта 1968 года напал на небольшую южновьетнамскую деревню Ми Лай в провинции Сонгми и под предлогом того, что деревня якобы служила базой вьетконговцев, убил около 300 жителей, в том числе стариков, женщин и детей. Эти события были признаны Министерством обороны лишь 16 ноября 1969 года. В марте 1971 года состоялся суд, но из всех организаторов резни военный трибунал осудил только лейтенанта Колли, который, кстати, не признал себя виновным, заявив, что всего лишь исполнял приказ. Он был приговорен к пожизненному тюремному заключению, но решением военно-апелляционного суда этот срок был сокращен до 20 лет. После 10 лет каторги Колли был освобожден.– *Примеч. пер.*

9.

Цит. по: *ScarfM.* Dr.Thomas Szasz… // New York Times Magazine. 1971.October 3.P. 42, 45.Помимо других работ, см.: *Szasz T.S.* Law, Liberty, and Psychiatry. N.Y.: Macmillan, 1963.

1.

Критику критерия «явно существующей опасности» как недостаточного для четкого разграничения между пропагандой и самим деянием см. в книге: *Meiklejohn A.* Political Freedom. N.Y.: Harper and Bros., 1960. P. 29–50; а также: *Rogge O.J.* The First and the *Fifth.N.Y.*: Thomas Nelson and Sons, 1960.P. 88 ff.

2.

Решения по делам Hoover vs. Intercity Radio Co., 286 Fed.1003 (Appeals D.C., 1923) и United States vs.Zenith Radio Corp., 12 F.2d 614 (ND. Ill., 1926).См. превосходную статью Рональда Коуза: *Coase R.H*. The Federal Communications Commission // Journal of Law and Economics.1959.October.P.4–5 [*Коуз Р*.Федеральная комиссия по связи // Экономическая политика. 2007. № 3.С.114–115].

3.

Ibid.P. 31 [Там же.С. 138].

4.

Warner H.P.Radio and Television Law. 1958.P. 540.Цит. по: *Coase R.H.* Op. cit. P. 32 [*Коуз Р.Указ. соч.С.*139].

5.

Decisions of the FRC,Docket № 967, June 5, 1931.Цит. по: *Coase R.H.* Op. cit. P. 9 [*Коуз Р.Указ.соч.С.*118].

6.

Лучшее описание того, как можно утвердить права частной собственности в сфере радио- и телевещания, см.в работе: *DeVany A.* et al.A Property System for Market Allocation of the Electromagnetic Spectrum: A Legal-Economic-Engineering Study // Stanford Law Review. 1969. June.См. также: *Meckling W.H.* National Communications Policy:Discussion // American Economic Review,Papers and Proceedings. 1970. May.P.222–223. С тех пор развитие отрасли и кабельного телевидения дополнительно повысило избыточность имеющихся частот и расширило возможности для конкуренции.

7.

Экспериментальная установка для исследования условных рефлексов, представляющая собой закрытую клетку с механизмом для манипуляций, которые может проделывать находящееся там животное, и механизмом для выдачи животному положительного стимула в случае выполнения им поставленной задачи. – *Примеч. пер.*

8.

Вид ежедневной нелегальной лотереи, в которой ставки делаются на непредсказуемую цифру, например ежедневную биржевую котировку.– *Примеч. пер.*

9.

Kates D.B., jr.Handgun Control: Prohibition Revisited // Inquiry. 1977.December 5.P. 21.Распространение жестких методов борьбы, в частности необоснованных обысков, уже имеет место. Не только в Британии и многих других странах, где стал обычным осмотр людей в поисках оружия, не только в Малайзии, Родезии, на Тайване и Филиппинах, где владение оружием наказывается смертной казнью, но и в Миссури, где полиция Сент-Луиса за последние годы провела обыски у тысяч чернокожих, поскольку в тех краях считается, что если темнокожий едет в новой машине, то при нем непременно должно быть оружие, разрешения на которое он не имеет. Такая же ситуация сложилась и в Мичигане, где апелляционные суды отклонили 70% исков за незаконное ношение оружия на том основании, что обыски были проведены незаконно. Уже и представители полиции Детройта выступили за отмену Четвертой поправки, чтобы сделать возможными необоснованные сплошные обыски в ходе поиска нарушителей планируемого запрета на короткоствольное оружие (Ibid.P. 23).

10.

Ibid.P. 21.

11.

Ibid. Экстремистская идея отправлять людей в тюрьму за владение пистолетом или револьвером – это не надуманное пугало, а реальная цель либералов: в Массачусетсе конституционная поправка, к счастью, отвергнутая большинством голосов в 1977 году, предусматривала не менее года тюрьмы за владение короткоствольным оружием.

12.

Ibid.P. 22.Та же ситуация была и в Британии: в 1971 году результаты исследования Кембриджского университета показали, что за последние пятнадцать лет в условиях запрета короткоствольного оружия уровень убийств вырос вдвое. Более того, до запрета короткоствольного оружия в 1920 году преступники намного реже использовали оружие при совершении преступлений, чем в наши дни.

1.

См.: *Goodman P.* Compulsory Mis-education and the Community of Scholars. N.Y.: Vintage Press,1964; а также многочисленные работы Гудмана, Джона Холта, Джонатана Козола, Герберта Коля, Ивана Иллича и многих других.

2.

См.: *Nock A.J.* The Theory of Education in the United States. Chicago: Henry Regnery, 1949; и его же: *Nock A.J.* Memoirs of a Superfluous Man.N.Y.: Harper and Bros., 1943.

3.

См.:*Perrin J.W.* The History of Compulsory Education in New England. 1896.

4.

Twentyman A.E. Education; Germany // Encyclopaedia Britannica / 14th ed. Vol. VII. 1929.P.999–1000.

5.

См.:*Perrin J.W.* Op. cit.

6.

Новоозаренные – религиозная секта в колониальной Новой Англии, основанная в 1740 году Дж.Уайтфилдом. Деятельность секты в значительной мере способствовала так называемому Великому пробуждению. В 1742 году в Коннектикуте, где новоозаренные были особенно активны, был принят закон, во многом ограничивавший их деятельность. – *Примеч. пер.*

7.

См.:*Curti M.* The Social Ideas of American Educators. N.Y.: Charles Scribner's Sons, 1935.

8.

The Papers of Archibald D. Murphey. Vol. II. Raleigh: University of North Carolina Press, 1914.P.53–54.

9.

Mises L. von. The Free and Prosperous Commonwealth. Princeton, N.J.: D.Van Nostrand, 1962.P.114–115.

10.

Stowe C.E. The Prussian System of Public Instruction and its Applicability to the United States.Cincinnati, 1830. P. 61 ff.Об элитистской мотивации реформаторов образования см.: *Katz M.B.* The Irony of Early School Reform.Boston:Beacon Press, 1970.

11.

Цит.по:Kirkland E.C. Dream and Thought in the Business Community, 1860–1900.Chicago:Quadrangle Books,1964.P. 54.

12.

См.: *Jorgenson L.P.* The Oregon School Law of 1922:Passage and Sequel // Catholic Historical Review. 1968.October. P.455–460.

13.

Группа, состоявшая из наиболее консервативных, экстремистски настроенных землевладельцев-федералистов из округа Эссекс, штат Массачусетс, и из числа сторонников А.Гамильтона, выступавших против массачусетских радикалов в период Войны за независимость. Впервые собралась в апреле 1778 года с целью обсуждения проекта конституции Массачусетса. У членов группы возникли планы выхода Новой Англии из Союза штатов, и они увидели в вице-президенте Бэрре возможного союзника, который, в свою очередь, надеялся, победив на выборах на пост губернатора штата Нью-Йорк, вывести его из состава Союза в новую северную конфедерацию. В 1804 году Эссекской группе было предъявлено обвинение в организации заговора, направленного на отделение Новой Англии от Союза.– *Примеч. пер.*

14.

См.:*Fischer D.H.* The Myth of the Essex Junto // William and Mary Quarterly. 1964. April.P. 191–235.См.также: *Rothbard M.N.* Economic Thought: Comment // The Growth of the Seaport Cities, 1790–1825 / Ed.by D.T. Gilchrist. Charlottesville: University Press of Virginia, 1967.P.178–79.

15.

West E.G. Education and the State. London: Institute of Economic Affairs, 1965.P.13–14.

16.

Read H. The Education of Free Men. London: Freedom Press, 1944.P.27–28.

17.

Spencer H. Social Statics. London: John Chapman,1851.P.332–333.

18.

Paterson I. The God of the Machine. N.Y.: G.P.Putnam,1943.P.257–58.

19.

Школьный округ – территория в составе штата, включающая один или несколько населенных пунктов, в которых находятся подведомственные школьному совету муниципальные школы. Администрации школьных округов независимы от других местных органов власти в административном, финансовом и политическом отношении. В США насчитывается около 16 тыс.школьных округов.– *Примеч. пер.*

20.

Friedman M. Capitalism and Freedom. Chicago: University of Chicago Press, 1962.P. 85–107 [Фридман М. Капитализм и свобода.М.:Новое издательство, 2005.С.110–133].

21.

О либертарианской критике ваучерного подхода см.: *Pearson G.Another* Look at Education Vouchers. Wichita, Kan.: Center for Independent Education.

22.

Stinchcombe A.L. Rebellion in a High School. Chicago: Quadrangle Books, 1964.P. 180.Цит. по: *Banfield E.C.* The Unheavenly City. Boston: Little, Brown, 1970.P. 136.

23.

Ibid.P. 292.

24.

Ibid.P. 149 ff.

25.

Колледжи низшей ступени с двухлетним, а иногда трехлетним сроком обучения.– *Примеч. пер.*

26.

Hansen W.L., Weisbrod B.A. Benefits, Costs, and Finance of Public Higher Education. Chicago:Markham,1969. P. 78.О Висконсине и его сопоставлении с Калифорнией см.: *Hansen W.L.* Income Distribution Effects of Higher Education // American Economic Review, Papers and Proceedings. 1969. May.P.335–340.В целом о проблеме перераспределения от бедных к богатым в современном «государстве всеобщего благосостояния» см.: *Ross L.* The Myth that Things are Getting Better // New York Review of Books.1971.August 12.P. 7–9.

27.

Об истории Marjorie Webster Junior College см.: *Koerner J.D.* The Case of Marjorie Webster // The Public Interest. 1970.Summer.P.40–64.

28.

Buchanan J.M., *Devletoglou N.E.* Academia in Anarchy: An Economic Diagnosis.N.Y.: Basic Books, 1970. P. 32–33.

1.

Данные по стране в целом см. в издании «Статистический обзор США», а данные по регионам и анализ см. в книге:*Hazlitt H.* Man vs. the Welfare State. New Rochelle,N.Y.: Arlington House, 1969.P.59–60.

2.

См.: *Freeman R.A.* The Wayward Welfare State // Modern Age. 1971.Fall. P.401–402.Проведя детальное сопоставление по штатам, профессоры Брем и Сейвин выяснили, что в 1951 году число получателей пособий определялось величиной выплат в соответствующем штате более чем на 60%,а к концу 1950-х годов – уже на 80% и более (*Brehm C.T., Saving T.R.* The Demand for General Assistance Payments // American Economic Review. 1964.December. P. 1002–1018).

3.

Негритянские волнения в районе Уоттс Лос-Анджелеса в августе 1965 года были частью кампании против расовой дискриминации, охватившей гетто калифорнийских городов в середине 1960-х годов. Поводом для волнений послужили арест 21-летнего М. Фрая и грубость полиции. Бунт, спровоцированный при участии «Черных мусульман», привел к гибели 35 человек, около 1 тыс. человек получили ранения и увечья, 4 тыс. были арестованы. Материальный ущерб превысил 40 млн долларов. В подавлении бунта участвовали 20 тыс. солдат Национальной гвардии. В связи с этими событиями президент Л.Джонсон заявил о необходимости не только подавлять беспорядки, но и устранять их причины.– *Примеч. пер.*

4.

Governor’s Commission on the Los Angeles Riots, Violence in the City: An End or a Beginning? 1965. December 2.P. 72.Цит.по: *Banfield E.C.* Op. cit. P. 288.

5.

Kristol I. Welfare: The Best of Intentions, the Worst of Results // Atlantic Monthly. 1971.August.P. 47.

6.

Charity Organization Society,15ht Annual Report. 1883.P. 54.Цит. по: *Mowat C.L.* The Charity Organisation Society,1869–1913.London:Methuen, 1961.P. 35.

7.

Charity Organisation Society,2ndAnnual Report. 1870.P. 5.Цит. по: Ibid. P. 36.

8.

Welfare Plan of the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints.The General Church Welfare Committee, 1960.P. 1.

9.

Ibid.P. 4.

10.

Ibid.

11.

Ibid.P. 5.

12.

Ibid.P. 19.

13.

Ibid.P. 22.

14.

Ibid.P. 25.

15.

Ibid.P. 25, 46.

16.

Ibid.P. 46, 48.

17.

New York Times. 1970.April 13.

18.

New York Times. 1972.February 14.

19.

Rosenblatt D. Barriers to Medical Care for the Urban Poor // New Perspectives on Poverty / Ed.by A. Shostak and W. Gomberg. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1965.P.72–73.Цит.по: *Banfield E.C.* Op. cit.P.286–287.

20.

См.: *Banfield E.C.* Op. cit.P.210–216, 303.О сопоставлении уровней детской смертности см.: *Anderson O.W.* Infant Mortality and Social and Cultural Factors:Historical Trends and Current Patterns // Patients, Physicians, and Illness / Ed.by E.G. Jaco.N.Y.: The Free Press, 1958.P.10–22;об обследовании семи городов см.: *Woodbury R.M.* Causal factors in Infant Mortality: A Statistical Study Based on Investigation in Eight Cities, U.S. Children's Bureau Publication № 142.Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1925.P. 157.Об ожидаемой продолжительности жизни ирландцев и евреев см.:*Walsh J.J.* Irish Mortality in New York and Pennsylvania // Studies: An Irish Quarterly Review.1921.December. P. 632.О том, что понизить детскую смертность можно только изменив ценности и стиль жизни, см.: *Rothney W.B., Willie C.V.* Racial, Ethnic and Income Factors in the Epidemiology of Neonatal Mortality // American Sociological Review.1962.August.P.526.

21.

Piore M.J. Public and Private Responsibilities in On-the-Job Training of Disadvantaged Workers // M.I.T. Department of Economics Working Paper № 23. 1968. June.Цит. по: *Banfield E.C.* Op. cit.P. 105, 285.

22.

Doeringer P.B. Ghetto Labor Markets: Problems and Programs // Harvard Institute of Economic Research, Discussion Paper № 33 (June 1968). P. 9. Цит. по: *Banfield E.C.* Op. cit. P. 112,285–286.

23.

Ibid.P. 105, 112.

24.

Gouldner A.W. The Secrets of Organizations // The Social Welfare Forum, Proceedings of the National Conference on Social Welfare. N.Y.: Columbia University Press, 1963.P. 175.Цит. по: *Banfield E.C.* Op. cit.P.221–222,305.

25.

Ibid.P. 221.

26.

Mackay T. Methods of Social Reform. London: John Murray, 1896.P. 13.

27.

Ibid.P.38–39.

28.

Ibid.P.259–260.

29.

Ibid.P.268–269.

30.

Mowat C.L. Op. cit.P. 1–2.

31.

James E. Review of “The Economics of Vocational Rehabilitation” // American Economic Review. 1966. June.P. 642; см.также: *Brozen Y.* Welfare Without the Welfare State // The Freeman.1966. December.P.50–51.

32.

Poet and Agency at Odds Over His Day-Care Center // New York Times. 1978. April 17.P. 82.

33.

См.,например: *Brozen Y., Friedman M.* The Minimum Wage: Who Pays? Washington, D.C.:Free Society Association, 1966; а также: *Peterson J.M., Stewart C.T., jr.* Employment Effects of Minimum Wage Rates. Washington, D.C.: American Enterprise Institute, 1969.

34.

Brozen Y. Op. cit.P.48–49.

35.

Ibid., а кроме того см.: *Brozen Y.* The Untruth of the Obvious // The Freeman. 1968. June.P.328–340.См.также: *Brozen Y.* The Revival of Traditional Liberalism // New Individualist Review. 1965.Spring.P. 3–12;Peltzman S. CAB: Freedom from Competition // New Individualist Review. 1963.Spring. P. 16–23;Anderson M. The Federal Bulldozer.Cambridge,Mass.: MIT Press, 1964.О ценах на нефть см.: *Houthakker H.S.* No Use for Controls // Barrons. 1971.November 8.P. 7–8.

36.

См.: *Pechman J.A.* The Rich, the Poor, and the Taxes They Pay // Public Interest. 1969.Fall.P. 33.

37.

Herriott R.A., Miller H.P. The Taxes We Pay // The Conference Board Record. 1971.May.P. 40.

38.

См.: *Chapman W.* Study Shows Taxes Hit Poor // New York Post. 1971.February 10; U.S.News. 1968.December 9; *Manis R.* Poverty: A Libertarian View. Los Angeles: Rampart College, [s.a.]; *Brozen Y.* Welfare Without the Welfare State…

39.

Brozen Y. Op. cit.P. 47.

40.

Harper F.A. The Greatest Economic Charity // On Freedom and Free Enterprise / Ed.by M. Sennholz. Princeton, N.J.: D.Van Nostrand, 1956. P. 106.

41.

Paterson I. The God of the Machine. N.Y.: G.P. Putnam's Sons, 1943. P. 248–250.

42.

О массовом вовлечении ученых и инженеров в правительственные проекты см.: *Nieburg H.L.* In the Name of Science. Chicago: Quadrangle, 1966; о свойственной военно-промышленному комплексу неэффективности см.: The War Economy of the United States / Ed.by S.Melman.N.Y.: St. Martin's Press, 1971.

43.

См.: *Jacobs J.* The Economy of Cities. N.Y.:Random House, 1969.P.225–228.

44.

По данным неопубликованного исследования: *Mellor E.F.* Public Goods and Services: Costs and Benefits, A Study of the Shaw-Cardozo Area of Washington, D.C. (Institute for Policy Studies, Washington, D.C. 1969. October 31).

45.

Brozen Y. Op. cit.P. 52.

46.

46. Блестящую теоретическую критику гарантированного годового дохода, отрицательного подоходного налога и планов Никсона см. в работе: *Hazlitt H.* Op. cit.P.62–100. Окончательную и очень современную эмпирическую критику всех схем гарантированного годового дохода и соответствующих экспериментов, включая предложенный президентом Картером план реформы системы социального обеспечения см. в книге: *Anderson M* Welfare: the Political Economy of Welfare Reform in the United States. Stanford, Calif.: Hoover Institution, 1978.

1.

Кейнсианцы – создатели макроэкономики и ученики лорда Кейнса, состоятельного и харизматического экономиста Кембриджского университета, автора «Общей теории занятости, процента и денег» – книги, ставшей краеугольным камнем кейнсианской экономической теории (*Keynes J.M.* General Theory of Employment, Interest, and Money.N.Y.: Harcourt Brace, 1936 [*Кейнс Дж.М.* Общая теория занятости, процента и денег. Избранное. М.: ЭСКМО, 2009]).

2.

Краткое введение в австрийскую теорию делового цикла см.: *Rothbard M.N.* Depressions: Their Cause and Cure. Lansing, Mich.: Constitutional Alliance,1969.О Великой депрессии 1929–1930 годов и стагфляции 1970-х годов см.: *Rothbard M.N.* America's Great Depression / 3rd ed. Kansas City, Kans.: Sheed and Ward, 1975. Лучшей работой по австрийской теории денег остается основополагающий труд Мизеса: *Mises L. von.* Theory of Money and Credit / 3rd ed. Irvingtonon, N.Y.: Foundation for Economic Education,1971. В качестве введения в теорию денег см.: *Rothbard M.N.* What Has Government Done to Our Money? Los Angeles: Libertarian Publishers, 1974 [*Ротбард М.* Государство и деньги: Как государство завладело денежной системой общества. Челябинск: Социум,2008].

3.

Подробнее см.: *Rothbard M.N.* Depressions… P.13–26.

1.

Критику Почтовой службы США см.: *Haldi J.* Postal Monopoly. Washington, D.C.:American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1974.

1.

См.: *Wooldridge W.C.* Uncle Sam the Monopoly Man. New Rochelle, N.Y.: Arlington House, 1970.P. 111 ff.

2.

Ibid.P.115–117.См. криминологическое исследование: *Shalloo J.P.* Private Police. Philadelphia: Annals of the American Academy of Political and Social Science, 1933. Вулридж замечает, что упоминание о хорошей репутации железнодорожной полиции «контрастирует с нынешним статусом полиции многих крупных городов, которая настолько неэффективно борется с правонарушениями, что, вообще говоря, они могли бы и вовсе ничего не делать» (*Wooldridge W.C.* Op.cit.P.117).

3.

См.: *Kirkland E.C.* Industry Comes of Age: Business, Labor, and Public Policy, 1860–1897.N.Y.:Holt,Rinehart, and Winston, 1961.P.48–50.

4.

Из неопубликованного исследования: *Vickrey W.* Transit Fare Increases a Costly Revenue.

5.

О сходных результатах столь же иррационального ценообразования на услуги принадлежащих государству аэропортов см.: *Eckert R.D.* Airports And Congestion. Washington, D.C.: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1972.

6.

Burchard H. U.S. Highway System: Where to Now? // Washington Post. 1971.November 29.Или, как пишет Джон Дикман: «Что касается условий движения… чем лучше дороги, тем более плотным становится движение на них. Открытие бесплатной скоростной автотрассы, предназначенной для ликвидации пробок, может привести к такому росту движения, что из-за пробок время проезда станет больше, чем было до строительства скоростной дороги» (*Dyckman J.W.* Transportation in Cities // Economics of Urban Problems: Selected Readings / Ed. by R. Clemmer, P. Gatons and A. Schreiber. Boston: Houghton Mifflin, 1971.P. 143).Превосходное доказательство того, что улучшение дорог не может покончить с пробками, если цены остаются ниже рыночного уровня, см.: *Meiburg C. O.* An Economic Analysis of Highway Services // Quarterly Journal of Economics. 1963.November.P.648–656.

7.

Профессор Уолтерс добавляет, что если этот метод будет внедрен и спрос на счетчики километража станет достаточно большим, такой счетчик будет обходиться примерно в 10 долларов. См.: *Walters A.A.* The Theory and Measurement of Private and Social Cost of Highway Congestion // Econometrica. 1961.October.P. 684.См. также: *Meiburg C.O.* Op. cit. P. 652; *Vickrey W.* Op. cit.; *Dyckman J. W.* Op.cit.P.135–151; *Kain J.F.* A Reappraisal of Metropolitan Transport Planning // Economics of Urban Problems…P.152–166; *Meyer J.R.* Knocking Down the Straw Men // City and Suburb / Ed. by B. Chinitz. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1964. P. 85–93;Nelson J.C. The Pricing of Highway, Waterway, and Airway Facilities // American Economic Review, Papers and Proceedings. 1962.May.P.426–432.

8.

Miller R.L, North D.C. The Economics of Public Issues. N. Y.: Harper and Row, 1971.P. 72.

9.

См., например: *Kain J.F., Meyer J.R., Wohl M.* The Urban Transportation Problem. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1965.

10.

См.: *Ashton T.S.* An Economic History of England: The 18th Century. N. Y.: Barnes and Noble, 1955.P.78–90. О мощной сети частных каналов, построенных в Англии в тот же период, см.: Ibid.P.72–90.

11.

См.: *Taylor G.R.* The Transportation Revolution,1815–1860.N.Y.: Rinehart, 1951.P.22–28.См.также: *Wooldridge W.C.* Op. cit.P.128–136.

1.

См.: *Wooldridge W.C.* Op. cit.P. 111 ff.

2.

Ср.: *Molinari G. de.* The Production of Security.N.Y.: Center for Libertarian Studies, 1977.

3.

Wooldridge W.C. Op. cit. P. 96.См.также: Ibid.P.94–110.

4.

Leoni B. Freedom and the Law. Los Angeles: Nash Publishing, 1972.P. 87 [*Леони Б.* Свобода и закон. М.: ИРИСЭН, 2008.С.106].

5.

Ibid.P. 23–24 [Там же. С. 39–40].

6.

Ibid.P. 188 [Там же. С. 209–210].

7.

Ibid.P. 84–85 [Там же. С.102–103].

8.

Ibid.P. 183 [Там же. С. 205].

9.

См. лучшее введение к описанию древних анархических институтов Ирландии: *Peden J.R.* Property Rights in Celtic Irish Law // Journal of Libertarian Studies. Vol. I (Spring 1977).P. 83; см.также: Ibid.P.81–95.Краткое изложение см.: *Peden J.R.* Stateless Societies: Ancient Ireland // The Libertarian Forum.1971.April.P. 3–4.

10.

Ibid.P.4.

11.

Ibid.

12.

Профессор Чарльз Донахью из Фордэмского университета (Бронкс, Нью-Йорк) утверждает, что основа древнего ирландского права – это не случайно возникшая традиция, а сознательное развитие стоической концепции естественного права. См.: *Donahue C.* Early Celtic Laws. P. 13 ff.(неопубликованная статья, представленная на семинаре по истории правовой и политической мысли в Колумбийском университете, осень 1964 года).

13.

Peden J.R. Op. cit. P. 4.

14.

Ibid.P.3; см. также: *Hughes K.* Introduction // Otway-Ruthven A.J.A History of Medieval Ireland. N. Y.: Barnes and Noble, 1968.

1.

Любопытно, что консервативный экономист д-р Джордж Терборг, поколением ранее написавший книгу в опровержение теории стагнации («The Bogey of Economic Maturity», 1945), теперь выпустил работу в опровержение очередного поветрия («The Automation Hysteria», 1966).

2.

Schumpeter J. A. Capitalism, Socialism, and Democracy. N .Y.: Harper & Bros., 1942.P. 144 [*Шумпетер Й.* Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. М.: ЭКСМО,2008.С.526].

3.

Ср.: *Tucker W.* Environmentalism and the Leisure Class // Harper's. 1977. December. P. 49–56, 73–80. К счастью, черные активисты начинают понимать смысл либеральных призывов к прекращению роста. В январе 1978 года Совет директоров Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения выступил против энергетической программы президента Картера и призвал к отмене регулирования цен на нефть и природный газ. Объясняя новую позицию Ассоциации, председатель ее Совета директоров Маргарет Буш Уилсон заявила: «Нас тревожит предполагаемая энергетической программой президента Картера политика замедления экономического роста. Вопрос в том, какого рода энергетическая политика будет способствовать… не замедлению, а ускорению экономического роста, потому что в условиях медленного роста черные страдают больше, чем кто-либо еще» (*Delaney P.* NAACP in Major Dispute on Energy View // New York Times. 1978. January 30).

4.

Meadows D. et al. The Limits to Growth. N. Y.: Universe Books, 1972; *Passell P., Roberts M., Ross L.* Review of *The Limits to Growth* // New York Times Book Review. 1972. April 2.P. 10.

5.

Ibid.P. 12.

6.

Ibid.

7.

Об этих ошибочных предсказаниях см.: *Nolan T.B.* The Inexhaustible Resource of Technology // Perspectives on Conservation / Ed. by H. Jarrett. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1958. P. 49–66.

8.

О лесах и сохранении ресурсов вообще см.: *Scott A.* Natural Resources: The Economics of Conservation. Toronto: University of Toronto Press, 1955.P.121–125,passim.О том, как само федеральное правительство не сохраняло, а губило леса в ходе дорожного строительства, строительства дамб и реализации других проектов с участием инженерных войск, см.: *Dolan E.G.* TANSTAAFL.N.Y.: Holt,Rinehart and Winston, 1971.P. 96.

9.

См.: *Poole R., jr.* Reason and Ecology // Outside, Looking In / Ed.by D. James. N. Y.: Harper and Row, 1972.P.250–251.

10.

Hays S.P. Conservation and the Gospel of Efficiency. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1959.P.50–51. См. также: *Peffer E.L.* The Closing of the Public Domain. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1951. P. 22–31, passim.

11.

Miller R.L. ,North D.C. The Economics of Public Issues. N. Y.: Harper and Row, 1971.P. 107.

12.

Ibid.P. 108.См.также: *Crutchfield J.A., Pontecorvo G.* The Pacific Salmon Fisheries: A Study of Irrational Conservation. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1969. О сходной ситуации в добыче тунца см.: *Christy F.T., jr.* New Dimensions for Transnational Marine Resources // American Economic Review, Papers and Proceedings. 1970. May. P. 112; о добыче палтуса в Тихом океане см.: *Crutchfield J.A., Zellner A.* Economic Aspects of the Pacific Halibut Industry. Washington, D. C.: U. S. Department of the Interior, 1961.Об изобретательных предложениях установления в океане режима частной собственности еще до изобретения электронного огораживания см.: *Tullock G.* The Fisheries: Some Radical Proposals. Columbia: University of South Carolina Bureau of Business and Economic Research, 1962.

13.

Christy F.T., jr. Op. cit. P. 112.

14.

Ibid.P.112–113.Об экономических, технологических и правовых проблемах океанского рыболовства и использования океана см.: *Christy F.I., jr., Scott A.* The Common Wealth in Ocean Fisheries. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1965.

15.

Существующие в западных штатах законы о «присвоении» собственности образуют основу для получения полноценной частной собственности на реки. См. об этом: *DeHaven J.C., Hirshleifer J., Milliman J.W.* Water Supply; Economics, Technology, and Policy. Chicago: University of Chicago Press, 1960, гл. IX.

16.

Dolan E.G. Capitalism and the Environment // Individualist. 1971. March. P. 3.

17.

См.: *Roberts E.F.* Plead the Ninth Amendment! // Natural History. 1970. August–September. P. 18 ff. Историю и анализ изменений законов и ослабления защиты прав собственности в первой половине XIX века см.: *Horwitz M.J.* The Transformation of American Law,1780–1860. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1977.

18.

Цит. по: *Katz M.* The Function of Tort Liability in Technology Assessment. Cambridge, Mass.: Harvard University Program on Technology and Society, 1969.P. 610.

19.

Bubb F. The Cure for Air Pollution // The Libertarian Forum.1970.April 15. P.1.См.также: *Dolan E.G.* Op. cit. P. 37–39.

20.

См.: *Jacobs J.* The Economy of Cities. N. Y.: Random House, 1969.P. 109 ff.

21.

Poole R., jr. Op cit.P.251–252.

22.

Ibid.P. 245.

23.

См.: *Dolan E.G.* Op. cit.P. 39; *Katz M.* Op. cit. Passim.

24.

Poole R., jr.Op cit.P.252–253.Скандальный совет Фридмана см.: *Maiken P.* Hysterics Won't Clean Up Pollution // Human Events. 1970.April.P. 13,21–23. Более полное изложение позиции Фридмана см.: *Crocker T. D., Rogers III A.J.* Environmental Economics. Hinsdale, Ill.: Dryden Press, 1971; сходные взгляды можно найти в работах: *Dales J.H.* Pollution, Property, and Prices. Toronto: University of Toronto Press, 1968; Ruff L.E. The Economic Common Sense of Pollution // Public Interest. 1970. Spring.P.69–85.

25.

Garvin G. Killing Fire Ants With Carcinogens // Inquiry.1978.February 6.P. 7–8.

1.

См.: *Dawson W. H.* Richard Cobden and Foreign Policy. London: George Allen and Unwin, 1926.

2.

Veale F. J. P. Advance to Barbarism. Appleton, Wisc.: C. C. Nelson Publishing, 1953.P. 58.

3.

Политика «стратегических деревень» во Вьетнаме предполагала изоляцию населенных пунктов в местах активности партизан, введение внешней и внутренний охраны, ограничения перемещений жителей и др.— *Примеч. пер.*

4.

Liggio L.P. Why the Futile Crusade? N.Y.: Center for Libertarian Studies, 1978.P. 3.

5.

В связи с «новыми левыми» ревизионистами помимо работ самого Уильямса см. труды Габриэля Колко, Ллойда Гарднера, Стивена Э. Амброуза, Н. Гордона Левина-мл., Уолтера Лафебера, РобертаФ. Смита, Бартона Бернштейна и Рональда Радоша. К сходным выводам пришли исходившие из другой ревизионистской традиции Чарльз А. Берд и Гарри Элмер Барнс, либертарианец ДжеймсД. Мартин и классические либералы Джон Т. Флинн и Гарет Гарретт.

Рональд Радош со знанием дела отразил консервативную изоляционистскую оппозицию участия Америки во Второй мировой войне (см.: *Radosh R.* Prophets on the Right: Profiles of Conservative Critics of American Globalism. N. Y.: Simon and Schuster, 1975). Джастус Д. Доенеке в многочисленных статьях тщательно и с симпатией проанализировал чувства изоляционистов периода Второй мировой войны в первые годы холодной войны (см.в особенности: *Doenecke J.D.* Not to the Swift: The Old Isolationists in the Cold War Era. Lewisburg, Pa.: Bucknell University Press, 1978).Призыв к общей борьбе против интервенционизма и империализма см.в работе: *Oglesby C., Shaull R.* Containment and Change. N. Y.: Macmillan, 1967.Аннотированную библиографию работ сторонников изоляционизма см.: *Doenecke J.D.* The Literature of Isolationism. Colorado Springs, Colo.: Ralph Myles, 1972.

6.

Morgenstern G. The Past Marches On // Human Events. 1953.April 22.Ревизионистская работа о Пирл-Харбор: *Morgenstern G.* Pearl Harbor: Story of a Secret War. N. Y.: Devin-Adair, 1947. Подробнее о консервативных изоляционистах и их критике холодной войны см.: *Rothbard M. N.* The Foreign Policy of the Old Right // Journal of Libertarian Studies. 1978. Winter.

7.

Kennedy J. P. Present Policy is Politically and Morally Bankrupt // Vital Speeches. 1951. January 1.P.170–173.

8.

Garrett G. The People's Pottage. Caldwell, Idaho: Caxton Printers, 1953. P. 158–159,129–174.Дополнительно об антиимпериалистической критике холодной войны со стороны консерваторов и либералов см.: *Doenecke J.D.* Not to the Swift...P. 79.

9.

Подробнее о либертарианской теории внешней политики см.: *Rothbard M. N.* War, Peace and the State // Egalitarianism as a Revolt Against Nature and other Essays. Washington, D. C.: Libertarian Review Press, 1974. P. 70–80.

10.

Такое истолкование истории Америки XX века было недавно предложено многочисленными ревизионистскими историками. В частности, см. работы Габриэля Колко, Джеймса Вайнштейна, Роберта Вибе, Роберта Д. Каффа, Уильяма Э. Лехтенбурга, Элли Хоули, Мелвина Юрофски, Джоан Хофф Уилсон, Рональда Радоша, Джерри Израэла, Дэвида Икинса и Пола Конкина, написанные, как и в случае пересмотра внешней политики, под влиянием Уильяма Эпплмана Уильямса. Ряд эссе, использующих этот подход, см.в книге: A New History of Leviathan / Ed.by R. Radosh, M.N. Rothbard. N. Y.: Dutton, 1972.

11.

Об экономических перекосах, создаваемых военно-промышленным комплексом, см.: The War Economy of the United States / Ed. by S. Melman. N. Y.: St.Martin's Press, 1971.

12.

Flynn J.T. As We Go Marching. N. Y.: Doubleday, Doran, 1944. P. 193–194.

13.

Ibid. P. 198, 201, 207.

14.

Ibid. P. 212–213, 225–226.

15.

Dos Passos J. The Grand Design. Boston: Houghton Mifflin, 1949.P. 416–418.

16.

Об этом военном конфликте см.: *Jakobson M.* The Diplomacy of the Winter War. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1961.

17.

Cohen S. F. Why Detente Can Work // Inquiry. 1977. December 19.P.14–15.

18.

18. Цит. по: *Barnet R.J.* The Present Danger: American Security and the U.S.- Soviet Military Balance // Libertarian Review. 1977. November. P. 12.

19.

См.: *Maxwell N.* India's China War. N. Y.: Pantheon Books, 1970.Даже повторный захват Тибета и подавление там национального восстания не опровергают нашего тезиса. Ведь Чан Кайши и все остальные китайцы на протяжении многих поколений рассматривали Тибет как часть Великого Китая, и Китай здесь руководствовался той же консервативной заботой об интересах нации-государства, что и Советы.

20.

Критику недавней попытки деятелей холодной войны возродить пугало советской военной угрозы см.в работе: *Barnet R.J.* Op. cit.

21.

The Woman's Home Companion.1936. September. P. 4.Переиздано: *Hallgren M.A.* The Tragic Fallacy. N. Y.: Knopf, 1937.P. 194.

22.

О деталях постыдного поведения западных политиков на этих переговорах см.:Noel-*Baker P.* The Arms Race. N. Y.: Oceana Publications, 1958.Эти детали позволяют взглянуть на историю этого эпизода иначе, чем он был подан в американской прессе.

23.

Принцип «открытого неба» предполагал, что с целью взаимного контроля над военным строительством и т.п.США и СССР смогут вести авианаблюдения и аэрофотосъемку на территории друг друга. — *Примеч. пер.*

24.

Buckley W. F., jr., Hamowy R. “National Review”: Criticism and Reply // New Individualist Review. 1961. November. P. 9, 11.

1.

Hayek F.A. The Intellectuals and Socialism // Hayek F.A. Studies in Philosophy, Politics, and Economics. Chicago: University of Chicago Press, 1967.P. 194.

2.

Read L.E. I'd Push the Button. N. Y.: Joseph D. McGuire, 1946.P. 3.

3.

Цит. по: The Antislavery Argument / Ed.by J. H. Pease, W. H. Pease. Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1965.P.XXXV.

4.

Российские социал-демократы начала XX века, выступавшие за ликвидацию нелегальных организаций РСДРП и ее превращение в парламентскую партию.— *Примеч. пер.*

5.

Активная и влиятельная деловая и культурная элита восточных штатов, особенно Массачусетса и Нью-Йорка.— *Примеч. пер.*

6.

Так, Фриц Редлих пишет: «… чаще всего почва [для триумфа идеи] должна быть подготовлена событиями. Можно вспомнить, как трудно было до кризиса 1907 года убеждать людей в том, что Америке нужен Центральный банк, и как сравнительно легко пошло это дело после кризиса» (*Redlich F.* Ideas: Their Migration in Space and Transmittal Over Time // Kyklos. 1953. P. 306).

7.

Stone L. The Causes of the English Revolution,1529–1642.N.Y.:Harper and Row, 1972.P. 9.Ленин дает похожий анализ особенностей «революционной ситуации»:«…тот или иной кризис „верхов“, кризис политики господствующего класса, создающий трещину, в которую прорывается недовольство и возмущение угнетенных классов. Для наступления революции обычно бывает недостаточно, чтобы „низы не хотели“, а требуется еще, чтобы „верхи не могли“ жить по-старому» (*Lenin V. I.* The Collapse of the Second International (June 1915) // Lenin V. I. Collected Works. M.: Progress Publishers, 1964. Vol. 21.P. 213–214 [*Ленин В.И.* Крах II Интернационала // Ленин В.И.Полн.собр.соч. / 5-е изд. М.: Политиздат, 1977. Т. 26.С.218]).

8.

Подробнее об этом см.: *Rothbard M.N.* Left and Right: The Prospects for Liberty // Rothbard M. N. Egalitarianism as a Revolt Against Nature, and Other Essays. Washington, D. C.: Libertarian Review Press, 1974.P.14–33.

9.

В 1977 году директор Административно-финансового управления администрации Дж. Картера и один из его ближайших друзей Берт Ланс был обвинен в финансовых махинациях. Выступив в его защиту, Картер поставил под сомнение свой образ честного и неподкупного президента.— *Примеч. пер.*

10.

The Baron Report. 1978. February 3. P. 2.